

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://mandelshamjoseph.ru/> Приятного чтения!

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам

«Нет, никогда, ничей я не был современник...»

О судьбе и поэзии Осипа Мандельштама

Читая стихи Осипа Мандельштама, легко заметить, что излюбленными образами его поэзии были пчелы, стрекозы и ласточки. Особенно ласточки...

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть...
И – в том же стихотворении:

И медленно растет, как бы шатер иль храм:
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам...
И – там же:

Всё не о том прозрачная твердит,
Все – ласточка, подружка, Антигона...
Пчел, стрекоз и ласточек объединяет непредсказуемость полета. Постороннему глазу он кажется сумбурным, капризным, а порой и бессмысленным. На самом деле он подчинен строгой дисциплине. Не зря летает пчела от цветка к цветку, не зря чертит ласточка свои штрихи в небе, не зря долго зависает стрекоза над гладью озера, чтобы потом неожиданно сорваться с места и исчезнуть. Все это неукоснительно сочетается с законами природы.

Это очень созвучно поэзии Мандельштама, одновременно капризной и дисциплинированной, непредсказуемой и строго организованной. На первый взгляд его причудливый синтаксис, метафоры, произвольная постановка в один ряд слов и понятий, которые никто не решился бы поставить рядом, – все это кажется... поэтическим бредом. Талантливым, завораживающим, но все-таки – бредом. Не случайно критики – современники Мандельштама (например, А.А. Измайлов) называли его стихи «сущей ерундой», вовсе отказывая им в разумном смысле.

Но сам Мандельштам в своих критических и теоретических работах, которые составляют не менее значимую часть его творчества, чем поэзия, неустанно твердил о необходимости «узды» для поэта. Одним из любимых его понятий было «целомудрие». Всякое произвольное, анархическое отношение к слову в его глазах было нецеломудренным, а значит, и непоэтическим. Из всех искусств, кроме поэзии, он, кажется, больше всего ценил архитектуру и сравнивал поэзию с архитектурой, а стихотворение – с готическим собором.

Вот стихи о соборе Парижской Богоматери («Notre Dame») из первой его книги «Камень» (1913), которое можно считать программным:

Где римский судья судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.
Только Мандельштам имел право сравнить таран, орудие для пробивания крепостных стен, со сводом готического собора. Это кажется поэтическим капризом. Между тем,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
всё стихотворение о том, «как строить стихи», если перефразировать знаменитое выражение Маяковского «Как делать стихи?».

Если символист Александр Блок искал в поэзии «музыки» в ее то ли ницшевском («Рождение трагедии из духа музыки»), то ли гоголевском понимании (музыка мчащейся Руси-тройки), отвергая всякое рассудочное отношение к искусству, если футурист Владимир Маяковский предлагал «делать» стихи и даже поставить это «дело» на промышленную основу, то Мандельштам считал необходимым стихи «строить», тщательно возводя здание каждого стихотворения.

Многие области науки он считал искусством не более виртуозным, чем само искусство. Оттого мог позволить себе такие высказывания: «Дант произвел головную разведку для всего нового европейского искусства, главным образом для математики и музыки»; «Дант может быть понят лишь при помощи теории квант» (черновые наброски к «Разговору о Данте»).

Оттого и стихи Мандельштама требуют очень внимательного прочтения, а не только мгновенного восприятия на слух, подобно тому, как сам поэт внимательно изучал твердыню Notre Dame, пытаясь перенести архитектурное искусство постройки этого собора в искусство стихотворения.

Или правильнее сказать: стихостроения.

К жизненной судьбе Мандельштама лучше всего подходит слово «бездомный». Но это была не принципиальная и сознательная «бездомность», например, Ивана Бунина, единственной собственностью которого был «чемодан», а главной страстью после писательства страсть к путешествиям. Это была органическая, чуть ли не врожденная бездомность человека, который не мог быть до конца «своим» ни в одном литературном кругу. Тем более не мог он стать советским поэтом, хотя какое-то время пытался искусственно воспитать в себе «советское» отношение к действительности:

Я должен жить дыша и большевея...

К счастью или к несчастью, это было невозможно. И его конец (гибель в 1938 году в пересыльном лагере под Владивостоком при невыясненных обстоятельствах) был предопределен, что, впрочем, не снимает с власти вины за смерть одного из самых значительных русских поэтов XX века. И положение его в русской поэзии – исключительно одинокое. Если Николай Гумилев посмертно и «подпольно» повлиял на многих известных советских поэтов (особенно – на Николая Тихонова), то влияние Мандельштама «аукнулось» только спустя несколько десятилетий после его гибели в новейшей поэзии. Но и это влияние нельзя признать безоговорочно. Следовать поэтическим приемам Мандельштама так же бесполезно, как подражать поздней прозе Бунина. В этом случае все вылезет наружу и каждая строчка как бы «закричит»: «Я – Мандельштам! Только слабее, только беднее...»

Мандельштам может быть только один.

Одинокость преследовала его всю жизнь. Это была какая-то тотальная одинокость. Например, Корней Чуковский в 1920 году заметил, что в комнате Мандельштама в Доме искусств (своеобразная писательская гостиница, организованная стараниями М. Горького) «не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос – ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту – безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада». О том же пишет в своих воспоминаниях современник Мандельштама поэт Георгий Иванов. Он рисует пронзительный образ поэта, оказавшегося в Крыму совершенно без денег:

«С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишней раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклопоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы «свиное ухо». Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит, но надо же поддержать молодого человека – такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот – флюс. Иногда Мандельштам получал от

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделъштам mandel'shtamjoseph.ru нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному – коробке печенья или плитке шоколада, – добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: «Извиняюсь, господин Манделъштам, это вам не по средствам».

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед – может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, – видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...»

Осип Эмильевич Манделъштам родился в Варшаве 3 (15) января 1891 года в семье курляндского еврея, выпускника талмудической школы, «мастера перчаточного дела и сортировщика кож», а затем купца 1-й гильдии Эмиля Вениаминовича Манделъштама и флоры Осиповны Вербловской, музыкантши из интеллигентской семьи, бывшей в родстве с историком русской литературы Семеном Афанасьевичем Венгеро-вым. Такая разительная «смесь» в происхождении, а также переезд семьи Манделъштам в Павловск и Петербург не могли не отразиться на мироощущении будущего поэта. Невероятный контраст между холодным «классическим» Петербургом и специфическими чертами быта еврейской религиозной диаспоры оказал влияние на развитие личности Манделъштама и отразился в его поэзии.

Образование сына разительно отличалось от образования отца. Осип закончил одно из самых престижных учебных заведений столицы – Тенишевское училище, которое чуть позже закончит Владимир Набоков. Любимым учителем был преподаватель литературы В.В. Гиппиус – первый, кто серьезно повлиял на литературные вкусы Манделъштама.

Дальнейшая судьба обещала сложиться так же блистательно. С 1907 по 1908 год Манделъштам жил в Париже и посещал лекции на словесном факультете Сорбонны, а в 1909 – 1910 годах провел семестр в Гейдельбергском университете. Жил в Берлине, путешествовал по Италии и Швейцарии.

С 1911 года до февральской революции Манделъштам учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

Менее успешно складывалась его творческая судьба. К сознательному литературному творчеству он обратился в 1907 – 1908 гг. в Париже в период увлечения «проклятыми» французскими поэтами (особенно Бодлером и Верленом). В это же время увлекался русским символизмом и послал свои стихи Брюсову, который отозвался о них пренебрежительно, отрицая их оригинальность. Через некоторое время этот отзыв повторил Блок, с которым Манделъштам познакомится в 1911 г.

Тем не менее ранние шаги Манделъштама, как и Гумилева, связаны с символизмом. Он – нередкий посетитель «Башни» Вячеслава Иванова, где впервые слушают в авторском исполнении его стихи. Отношение к ним диаметрально противоположное: от одобрения и даже восхищения (Андрей Белый, Владимир Пяст) до резко отрицательного. Но все отметили особый («качающийся») ритм его стихотворений, завораживающий, заставляющий забыть о содержании:

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая, –
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

Уже в этом стихотворении Манделъштама, написанном в 1909 году, можно обнаружить главные приметы его поэзии. Туманность, размытость содержания (вплоть до бессмысленности) странным образом не сближает автора с символистами, а, напротив, отталкивает от них. Свои туманные образы символисты создавали, нагружая и даже перегружая мистическим содержанием. В системе символистской

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
поэзии образ не равен самой вещи. Важна не вещь, а ее мистический смысл.

В стихотворении Мандельштама туманность содержания вовсе не намек на слишком высокий, недоступный для смертного смысл. Цветочная ваза остается просто вазой, красное вино – вином, а бисквит – бисквитом. И даже два «огромных глаза» печали – лишь дерзкий образ, обозначающий вполне конкретное состояние человеческой души. И так по-детски доверчиво смотрят эти глаза, что все стихотворение приобретает живой и земной смысл.

Это детская, наивная точка зрения на окружающий «маленький» мир, где комната не просто комната, но «маленькое царство», где вещи оживают («выплеснула свой хрусталь»), где отдельные детали предметов и человека важнее целого, так как именно они занимательнее для детского зрения. Не весь человек важен, а его тончайшие пальцы, и не просто пальцы, но как они ломают бисквит, как сыплются из-под них крошки в майском солнечном свете, как просвечивает тонкая белая кожа, становясь розовой, и т. п. Все стихотворение, вопреки началу, наполняется безотчетной радостью, поет о живой, конкретной жизни, за которой не надо искать никаких метафизических высот.

Ранняя поэзия Мандельштама ближе не символистской образности, но полотнам французских импрессионистов Моне, Дега, Ренуара...

Свое временное пристанище Мандельштам обрел в акмеизме, став одной из ведущих фигур гумилевского «Цеха поэтов». Акмеисты: Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, М.А. Зенкевич, Г.И. Иванов, Е.Ю. Кузьмина-Караваева и др. – заявили о себе в 10-е годы XX века почти одновременно с футуристами. Они отличались от футуристов тем, что, отталкиваясь от символизма, как исчерпавшего свой исторический срок поэтического течения, акмеисты, тем не менее, продолжали считать себя наследниками символизма.

Своего рода «промежуточными» фигурами между символизмом и акмеизмом оказались И.Ф. Анненский, обозначивший своей смертью в 1909 году начало конца символизма как поэтического течения и серьезно повлиявший на становление Гумилева и Ахматовой, а также поэт, прозаик и критик Михаил Кузмин. В 1910 году он выступил со статьей «О прекрасной ясности», в которой подверг язвительной критике главные грехи символизма: туманность образов, небрежное отношение к законам литературных жанров.

«Наиболее причудливые, смутные и мрачные вымыслы Эдгара По, необузданные фантазии Гофмана нам особенно дороги именно потому, что они облечены в кристальную форму. Что же сказать про бытовую московскую историйку, которая была бы одета в столь непонятный, темный космический убор, что редкие вразумительные строчки нам казались бы лучшими друзьями после разлуки? Не сказал ли бы подозрительный человек, что автор пускает туман, чтобы заставить не понять того, в чем и понимать – то нечего? Это несоответствие формы с содержанием, отсутствие контуров, ненужный туман и акробатский синтаксис могут быть названы не очень красивым именем. Мы скромно назовем это безвкусием».

Михаил Кузмин предлагал иное отношение к искусству: «Пусть ваша душа будет цельна или расколота, пусть миропостижение будет мистическим, реалистическим, скептическим или даже идеалистическим... но, умоляю, будьте логичны... в замысле, в постройке произведения, в синтаксисе...» Такой подход он назвал «кларизмом» (от лат. «clarus» – ясный), по существу предвосхитив теоретические манифесты акмеизма.

Идея преемственности, а не разрыва особенно ясно выражена в программной статье вождя акмеистов Николая Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» (1913). В самом начале статьи он давал понять, что новаторство акмеистов не имеет ничего общего с хулиганскими выходками футуристов, предлагавших сбросить Пушкина и Толстого с «парохода современности». По заявлению Гумилева, футуристы – это «гиены, всегда следующие за львом».

Акмеизм пришел «на смену символизма», который «закончил свой круг развития и теперь падает». Но для того, «чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

Более радикальное мнение о проблеме «символизм – акмеизм» высказал Мандельштам в статье «Утро акмеизма» (написана в 1912 или 1913 году, но впервые напечатана в 1919-м). Мандельштам считал, что между акмеизмом и символизмом существует глубокое различие. «Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по себе в клетке своего организма... Для того чтобы успешно строить, первое условие – искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как на обузу или на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить. Строить можно только во имя «трех измерений», так как они есть условие всякого зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими...»

Статья Мандельштама написана образным, ассоциативным языком, но легко догадаться, что спор акмеизма с символизмом не был только спором о поэтической форме. Он касался сущностных категорий бытия. Символисты были «плохими домоседами», так как в своей поэзии стремились к запредельным смыслам, вслед за Платоном и Соловьевым полагая, что здешний мир «только отблеск, только тени от незримого очами» (Владимир Соловьев), то есть – от ирреального мира идей, «сущностей». Но – по убеждению Мандельштама – они тем самым вступали в противоречие с Высшей волей, создавшей этот мир с его «тремя измерениями». Они искали четвертое, не существующее в реальности измерение и на его основе пытались построить свое поэтическое здание. Это было архитектурной ошибкой, и потому здание символизма рассыпалось. Не сумев выразить «запредельное» на простом человеческом языке, они в то же время прошли мимо подлинной красоты здешнего мира.

В более мягкой форме Гумилев также указывал на роковые ошибки символистов. Он высоко оценивал их за то, что «они указали нам на значение в искусстве символов». Но не соглашался «приносить ему в жертву прочих способов поэтического воздействия». И опять: разногласия Гумилева с символистами не исчерпывались только вопросом о поэтической форме. «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа». Однако «непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать». Но – самое главное: «все попытки в этом направлении – нецеломудренны...»

В понятии «целомудрия» – основной нерв разногласий акмеистов с символистами. Родство взглядов Гумилева и Мандельштама на акмеизм проявилось еще и в том, что оба полагали свое направление более трудной поэтической задачей, чем символизм. Особенно отчетливо это звучало в статье Гумилева. Акмеизм не отказывался от символа как поэтического способа отражения мира, но не исключал и реализма. Акмеистический образ более предметен, он вбирал в себя черты повседневной реальности вплоть до мелких деталей быта. Задача нового течения, по Гумилеву, «всегда идти по линии наибольшего сопротивления». Об этом же писал и Мандельштам, говоря: «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить».

Акмеизм был естественной реакцией на расплывчатость, беспредметность символистской поэзии; недостаток, который начинали осознавать и наиболее крупные символисты (прежде всего – А. Блок). Заслугой акмеизма был акцент на целомудренности поэзии: это возвращало поэзию начала века от декадентских увлечений, от модернистской «зауми» к изящной и аскетической ясности русского поэтического стиля, каким он был создан гениальными поэтами XIX века. В сущности, акмеизм, как и символизм, оказался лишь новым витком в развитии русской поэзии по принципу спирали: делая новый поворот и возвышаясь над непосредственными предшественниками (главным образом символистами), он в своем движении возвращал поэзию к лучшим достижениям прошлого, XVIII и XIX веков. Акмеизм не сказал принципиально нового слова в русской поэзии; но сдвинул поэтическую ситуацию начала века с точки покоя, дал ей новый импульс.

Акмеисты оказались чрезвычайно энергичны в своей литературной деятельности. В 1911 – 1914 годах они объединились в группу «Цех поэтов». А сначала примкнули к журналу «Аполлон», где перед смертью сотрудничал Иннокентий Анненский, которого Гумилев почитал своим учителем. В 1912 – 1913 гг. основали собственный журнал «Гиперборей» (редактор – переводчик «Божественной комедии» М.Л. Лозинский).

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Выпустили также несколько альманахов «Цеха поэтов».

«Цех поэтов» являлся поэтической организацией с очень строгими внутренними правилами и твердо соблюдаемой дисциплиной (это позволило Блоку заподозрить Гумилева в диктаторстве и написать о «Цехе поэтов» резкую критическую статью «Без божества, без вдохновенья...», в которой он обвинял акмеистов в том, что они пытаются внести в поэзию «школьнический» принцип, тем самым извращая понятие «учитель и ученик»). Каждый член «Цеха» имел какой-то статус и должен был подчиняться требованиям цеховых авторитетов. Все это действительно напоминало средневековое строение ремесленного цеха, где отношения строились по линии «мастер и подмастерье». Новобранцы принимались в «Цех» в результате строгого отбора и выполняли задания старших, предлагавших стихотворные темы и жанры, в которых те были обязаны проявить себя.

Попасть в «Цех» было непросто. Например, в него не приняли уже известного скандальными стихами Игоря Северянина, которого привел туда в 1912 году Георгий Иванов, вспоминая через много лет: «По дороге в Цех Северянин, свежесбрившийся, напудренный, тщательно причесанный, в лучшем своем костюме и новом галстуке, сильно волновался и все повторял, что едет в Цех только для того, чтобы увидеть эту бездарь... и показать им себя – настоящего гения.

Гумилев, синдик Цеха поэтов, принял его со свойственным ему высокомерием и важной снисходительностью и слушал его стихи холодно и строго. Северянин начал читать их преувеличенно распевно, но под холодным, строгим взглядом Гумилева все больше терял самоуверенность. Вдруг Гумилев оживился:

– как? как? Повторите!

Северянин повторил:

И, пожалуйста, в соус
Положите анчоус.

– А где, скажите, вы такой удивительный соус ели?

Северянин совершенно растерялся и покраснел:

– в буфете Царскосельского вокзала.

– Неужели? А мы там часто под утро, возвращаясь домой в Царское, едим яичницу из обрезков – коронное их блюдо. Я и не предполагал, что там готовят такие гастрономические изыски. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще что-нибудь!

Но от дальнейшего чтения Северянин резко отказался и, не дожидаясь баллотировки, ушел.

Ушел в ярости на Гумилева...»

«Цех поэтов» просуществовал до Первой мировой войны. Попытка его возобновления в 1920-м была прервана политикой большевиков в области литературы. Но главным образом конец «Цеха» был связан с расстрелом Гумилева в 1921 году.

По свидетельству Георгия Адамовича, близкого к школе акмеистов, Анна Ахматова говорила о Мандельштаме: «конечно, наш первый поэт». Правда, в отличие от Гумилева и Городецкого, Мандельштам сначала не принимал непосредственного участия в борьбе. Первая подборка его стихотворений, напечатанная в «Аполлоне» (1910), не была подкреплена участием в критической полемике вокруг акмеизма и символизма. Мандельштам в то время жил за границей особняком. Зато его поздняя статья «Утро акмеизма» оказалась теоретически куда глубже известного гумилевского манифеста, многих удивившего своей беспомощностью в выборе исторических параллелей.

Можно сказать, что честь создания теории акмеизма больше принадлежит Мандельштаму, а не Гумилеву. Он взял от Гумилева понятие «целомудренности». Но разработал идею глубже.

В статье «Утро акмеизма» Мандельштам парадоксально противопоставляет понятия «бытие» и «действительность». Действительность есть материальная плоскость

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
земного пространства, видимая глазом. В отличие от действительности бытие есть осмысленное существование в земном мире, который видится художником как целостное творение.

«Существовать – высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства».

Однако задача художника не творить «иные миры», а отражать подлинную реальность, возводя действительность на более высокую ступень – уровень бытия: «поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно-уплотненной реальности, которой оно обладает».

Целомудрие поэта в том, что он не делает вид, будто прозревает какие-то другие, ирреальные миры, но с достоинством скульптора и архитектора уважает «здесьшний», земной материал для творчества. Именно в «тяжести» земного материала он прозревает свои воздушные пути, создавая из него легчайшее произведение искусства. Как древний скульптор в бесформенном куске мрамора видит облик богини, которая еще только возникнет под ударами его резца, так поэт «освобождает» земной материал (прежде всего само Слово) от посторонней тяжести и делает его легким произведением искусства. Но делает он это не произвольно, не путем насилия над материалом, а как бы «сотрудничая» с ним, строго соблюдая его собственные законы.

С огромным презрением Мандельштам писал о футуристах, которые, преодолев туманность символистского запредельного смысла, вовсе отказались от смысла и ввергли поэзию в хаос бессмысленности: «футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и по существу повторил грубую ошибку своих предшественников». Другими словами, футуристы возвратились к символистской бессмысленности, только на низменном материальном уровне. Они не нашли золотого союза между реальной вещью и вещью в искусстве, между материалом для творчества и самим творчеством.

В качестве главных предтеч акмеизма Мандельштам указывал средневековую архитектуру и музыку Баха. В них он увидел «мощь доказательства» и «пафос строения». Бах так же гениально «строил» свою музыку, исходя из незыблемых законов музыкального ряда, как строитель Notre Dame строил великий собор, повинувшись законам архитектурного творчества (сопротивление материала, соотносимость различных частей и т. д.).

Сложно сказать, в какой степени поэтическая теория акмеизма Мандельштама обрела «мощь доказательства» в его стихах. Как и все поэтические теории, она одновременно и больше и меньше живой стихотворной практики. Но при более пристальном прочтении стихотворений поэта они после своей внешней музыкальности поражают именно искусством добротнейшего строения. При всей своей зыбкости образы Мандельштама настолько прочно сцеплены один с другим, что их невозможно разнять или заменить один образ на другой: стихотворение тотчас утратит свою упругую силу и рухнет, как свод собора, в который забыли заложить одну-единственную несущую балку или, допустим, сделали ее не из положенного материала, перепутав дерево и камень. При внешней капризности эти образы нанизаны друг на друга достаточно жестко, а их повторяемость необходима для целостного впечатления, как в симфонии необходима повторяемость отдельных музыкальных тем.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, –

На головах царей божественная пена, –

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,

что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

и море черное, витийствуя, шумит

и с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Это стихотворение надо сначала принять слухом, качаясь на волнах его ритма, а

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
затем увидеть глазами, поразившись, как плавно, спокойно, но, главное, закономерно корабли греческих царей из «Илиады» Гомера, отправляющихся на войну с Троей, превращаются в журавлиный косяк, сухие страницы книги становятся тугими парусами, а бессонница, незаметно перетекая в сон, оказывается морем, шумящим у изголовья поэта. Только так можно оценить самоценное искусство строения стиха, очень важное для Мандельштама.

Мандельштаму принадлежит самая точная поэтическая формула рубежа веков, времени катастрофического разрыва между старой и новой Россией:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Критики советского времени часто обвиняли Мандельштама в нежизненности его поэзии, якобы отвлеченной от современности, от общественных тем. В конце жизни, оказавшись в творческом одиночестве, сосланный властью в Воронеж за дерзкие стихи о Сталине, он и сам пытался на уровне не слишком убедительных деклараций доказать свое советское поэтическое подданство и тем самым влиться в новую жизнь страны:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный..
Но куда убедительней звучит другое его поэтическое заявление:

Нет, никогда, ничей я не был современник..
В этой строке заключена и общественная позиция Мандельштама, который никогда не шел на сделку со временем, не пытался шагать с ним в ногу или угодливо забегать вперед, чем нередко грешили модернисты, особенно из футуристического лагеря. Задача его было иной: соединить достижения русской поэзии XVIII и XIX веков с новыми открытиями искусства и науки. Он понимал, что наивного, чистого творчества в XX веке быть не может. Но и в новых условиях русская поэзия может и должна сохранить свое лицо.

«Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему».

Этой парадоксальной формулой из статьи «Слово и культура» он выразил сущность своего отношения к наследию прошлого, совпадавшего с идеей Мережковского о том, что классическая русская литература нам, по сути, еще неизвестна, ее еще надо заново прочитать. Мандельштам отвергал ложный прогрессизм в понимании развития искусства. «Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества» («О природе слова»). Новатор в области поэтической формы, он был принципиальным консерватором в отношении к высшим задачам творчества.

Поэзия должна быть не просто стихами, но – организованной стихией, а слово в поэзии – Словом...

П. Басинский

Стихотворения

Автопортрет

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый;
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, –
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!
Ранние стихи (1906)

* * *

Среди лесов, унылых и заброшенных,

Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Мы ждем гостей!
Пускай гниют колосья перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам, честные и смелые,
Своих голов!
Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!
Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
Ни детский плач!..
Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Своих детей!
* * *

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплакав слезы обильные,
Спит и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.
Вот задрожали березы плакучие
И встрепенулися вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...
С гордой осанкою, с лицами сытыми...
Ноги торчат в стремянах.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.
Нет им конца. Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят...
Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадуют вас новоселием,
Хлебом и солью, крестьянским изделием...
Крепче нажать стремяна!
Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!
Камень (1908 – 1915)

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...
* * *

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
О, вещь моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!
* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,

Всё большое далёко развеять,
Из глубокой печали восстать.
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.
Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.
* * *

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твое –
От неизбежного.
От неизбежного –
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.
* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.
Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, –
Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.
* * *

Есть целомудренные чары:
Высокий лад, глубокий мир;
Далёко от эфирных лир
Мной установленные лары.
У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.
Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!
Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.
* * *

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло,
Запечатлеется на нем узор,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Неузнаваемый с недавних пор.
Пускай мгновения стекает муть –
Узора милого не зачеркнуть!
* * *

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая –
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна...
* * *

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.
* * *

Когда удар с ударами встречается,
И надо мною роковой
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,
Торопится, и грубо остановится,
И упадет веретено, –
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.
Узоры острые переплетаются,
И всё быстрее и быстрее
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей...
* * *

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.
Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;
И если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь – трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.
Silentium
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазуревом сосуде.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

* * *

Слух чуткий – парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.
Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.
Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

* * *

Как тень внезапных облаков,
Морская гостья налетела
И, проскользнув, прошелестела
Смущенных мимо берегов.
Огромный парус строго реет;
Смертельно-бледная волна
Отпрянула – и вновь она
Коснуться берега не смеет;
И лодка, волнами шурша,
Как листьями, – уже далёко..
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

* * *

Из омота злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретную жизнью дыша.
И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.
Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

* * *

В огромном омуте прозрачно и темно,
И томное окно белеет;
А сердце, отчего так медленно оно
И так упорно тяжелеет?
То всю тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То, как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.
С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай,
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой.

* * *

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.
А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.
Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

* * *

Скудный луч, холодной мерою,
Сеет свет в сыром лесу.

я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несущу;
Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола,
И стоит осиротелая
И немая высота –
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина.
Утро, нежностью бездонное, –
Полу-явь и полу-сон,
Забвенье неутоленное –
Дум туманный перезвон...
* * *

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек:
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!
Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.
Небо тусклое с отцветом странным –
Мировая туманная боль –
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь!
* * *

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень –
Мрачней гробовых плит.
Мелькающих стрел звон
И вещей ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За миготом летит миг.
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клетку,
И яростный гимн грянь –
Бунтующих тайн медь!
О, маятник душ строг –
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь, к нам...
* * *

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит,
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.
Тихо спорят в сердце ласковом
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучом.
И над лесом вечеряющим
Встала медная луна;
Отчего так мало музыки
И такая тишина?
* * *

Отчего душа – так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?
Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвою,

И совсем не вернется – или
Он вернется совсем другой...
О широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края –
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».
Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?
Раковина

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.
Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.
Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризю своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;
И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...
* * *

На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок!
Приливы и отливы рук –
Однообразные движенья,
Ты заклинаешь, без сомненья,
Какой-то солнечный испуг, –
Когда широкая ладонь,
Как раковина, пламенея,
То гаснет, к теням тяготея,
То в розовый уйдет огонь!
* * *

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
* * *

Я вздрагиваю от холода –
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото –
Приказывает мне петь.
Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!
Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!
Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?
* * *

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред –
Башни стрельчатой рост!
Кружевом, камень, будь

И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!
Будет и мой черед –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?
Или, свой путь и срок,
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...
* * *

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
* * *

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».
Пешеход
М.Л. Лозинскому

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!
И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю – как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.
Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листьях,
И подлинно во мне печаль поет;
Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа – в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!
Казино
Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно;
Мне, в опьянении легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.
Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.
Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;
И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, –
Люблю следить за чайкою крылатой!
Царское Село
Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!
Казармы, парки и дворцы,

А на деревьях – клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...
Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки – а не дома!
Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, –
Не сомневаюсь – это князь...
И возвращается домой –
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой –
Что возвращается домой...
Золотой

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске;
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темном кошельке!
И, дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал;
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!
Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны...
За прилавком щупает червонцы
Человек, – и все они пьяны.
– Будьте так любезны, разменяйте, –
Убедительно его прошу, –
Только мне бумажек не давайте –
Трехрублевок я не выношу!
Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, боже мой?
Если я на то имею право –
Разменяйте мне мой золотой!
Лютеранин

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье,
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волнение.
Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.
А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забила, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.
Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.
Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.
И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.
Айя-София
Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!

Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.
И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.
Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?
Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела – прекраснее всего.
И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.
Notre Dame
Где римский судья судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь –

ответс.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.
Старик
Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлена,
Теперь твоя пора!
В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек;
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.
Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова;
Он исповедоваться хочет –
Но согрешить сперва.
Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот –
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.
А дома – руганью крылатой,
От ярости бледна, –
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена!
Петербургские строфы
Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна – как броненосец в доке –
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба –
Онегина старинная тоска;
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка.
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход –
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
* * *

Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.
Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь – Петра создание,
Медный всадник и гранит?
Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.
И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.
Бах
Здесь прихожане – дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом, Себастьяна Баха,
Лишь цифры значатся псалмов.
Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исая,
О рассудительнейший Бах!
Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?
Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик –
Лишь воркотня твоя, не боле,
О несговорчивый старик!
И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей!
* * *

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.
Мелькают женщины в платках,
И твякают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.
* * *

Мы напряженного молчанья не выносим –
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: «Просим!»

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо!

Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье – суета, и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.
О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятаю свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!

* * *

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка;
Монахи выпили вино.
На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.
На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок:
Он осыпается с телеги –
Не хватит на мешки рогож –
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!
Кинематограф
Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.
Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.
А он скитается в пустыне,
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.
И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.
В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.
И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется.
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.
В дорожном платье, с саквояжем,

В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.
Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему – отцовское наследство,
А ей – пожизненная крепость!
Теннис
Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,
Как волшебная приманка.
Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?
Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный!
Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!
Май. Грозовых туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Всё моторы и гудки –
И сирень бензином пахнет.
Ключевую воду пьет
Из ковша спортсменов веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!
Американка
Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.
В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.
И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.
Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.
Домби и сын
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык –
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.
Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.
В конторе сломанные стулья;
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.
А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле –

И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

* * *

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.
Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня, – события
Рассеивается туман;
И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

* * *

Летают валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

* * *

На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки –
Из соломы плетет
Легкие корзинки.
На луне – полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома –
Просто голубятни,
Голубые дома –
Чудо-голубятни...

Ахматова

Вполоборота – о, печаль! –
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос – горький хмель –
Души расковыивает недра:
Так – негодующая Федра –
Стояла некогда Рашель.

* * *

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.
На стук в железные ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,
Когда с дряхлеющей любовью,
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

* * *

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг –
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.
А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рошу портиков идешь;
И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

* * *

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.
Как бы цезурию зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

* * *

«Морожено!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть –
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка –
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

* * *

Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде роши.
Природа – тот же Рим! И, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить –
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

* * *

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.
Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны;
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари!

* * *

Я не слышал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
И переключка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!
Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство

Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

Европа

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.
Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.
Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля;
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Посох

Посох мой, моя свобода –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.
А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.
Снег растает на утесах –
Солнцем истины палим..
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

Ода Бетховену

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять –
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

.....

.....

.....

Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,

.....

.....

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить;
Кто может, ярче пламенея,
Усиле воли освятить;
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?
О Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!

С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!
Тебе монашеские кельи –
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтители, неизвестный бог!
О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер –
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего, –
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

* * *

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.
Оно легко и грубо;
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

* * *

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!
Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.
Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

* * *

«hier stehe ich –

ich kann nicht anders...»

«Здесь я стою – я не могу иначе»:

Не просветлеет темная гора –
И кряжистого Лютера незрячий
Витают дух над куполом Петра.
Аббат
О, спутник вечного романа,
Аббат флобера и Золя –
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличие,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились богу в старину.
Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.
* * *

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст – одна стрела.
И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.
* * *

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, –
Верность плакала в ночи, –
Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...
– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи –
На головах царей божественная пена –
Куда поплывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
* * *

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.
Топча по осени дубовые листья,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты –
Сей профиль женственный с коварною

горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли

Державным яблоком катящиеся годы.
Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.
* * *

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
– Как эти покрывала мне постылы..
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит:
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданием крепнет

ГОЛОС,

И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог..
Я опоздал на празднество Расина..
Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры..
Из других редакций «Камня»
* * *

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали –
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг..
* * *

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь..
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.
* * *

Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты –
И камень отрицает иго праха?
И деревянной поступью монаха
Мощный двор когда-то мерил ты,
Булыжники и грубые мечты –
В них жажда смерти и тоска размаха..
Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!
Немногие для вечности живут;
Но если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
* * *

Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.
На Авентине вечно ждут царя –
Двунадесятых праздников кануны –
И строго-канонические луны

Не могут изменить календаря.
На дольный мир бросает пепел бурый
Над форумом огромная луна,
И голова моя обнажена –
О, холод католической тонзуры!
* * *

Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.
И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.
Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явление Озерова –
Последний луч трагической зари.
* * *

Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?
Или римские перуны –
Гнев народа – обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;
Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?
Epcyctuca
Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.
И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma!
Он только сердце веселит.
Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!
* * *

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадые ночи в капюшонах тьмы.
Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.
Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища, и овин.
На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.
* * *

– Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею, –
Чуть не в слезах мне говорили вы.
Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?

Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.
И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет – нет римлянки, увы!
Я Тинотину смуглую жалею –
Девичий Рим на берегу Невы.
Tristia (1916 – 1920)
* * *

– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!
– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда

.....
.....

И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.
О, если б ненависть в груди моей кипела –
Но, видите, само признание с уст слетело.
– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит;
Федра-ночь тебя сторожит
Среди белого дня.
– Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала.
– Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.
Зверинец
Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.
Пока ягнята и волю
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, –
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.
А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!
Петух и лев, широкохмуры
Орел и ласковый медведь –
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен –
Источник речи италийской,

И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лён!
Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи, –
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Холодный камень не годится?
В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей –
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

* * *

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи –
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече –
И никогда он Рима не любил.
Нырjali сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело –
И рыжую солому подожгли.

* * *

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

* * *

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, –
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

* * *

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы,
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы

..... : :

..... : :

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться – значит, быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю: он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
* * *

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло!
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее –
Баю-баюшки-баю –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.
* * *

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин –
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.
А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли –
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.
О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо –
Целый лес незваных кораблей.
Соломинка

И
Когда, соломинка, не спишь в огромной

спальне

И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью – что может быть

печальней –

На веки чуткие спустился потолок,
Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.
В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина, –

Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.
Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка – Лигейя, умиранье, –
Я научился вам, блаженные слова.

II

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.
Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.
В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та – Соломинка, быть может – Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

Декабрист

– Тому свидетельство языческий сенат –
Сии дела не умирают! –
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.
Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.
Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.
– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.
Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, лета, Лорелея.

* * *

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка

– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба

Мы совсем не скучаем, – и через плечо

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, – идешь, никого

Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса – не поймешь,

После чаю мы вышли в огромный коричневый

Как ресницы, на окнах опущены темные

Мимо белых колонн мы пошли посмотреть

успела:

занесла,

поглядела.

не заметишь.

не ответишь.

сад,

шторы.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
виноград,

Где воздушным стеклом обливаются сонные

горы.

я сказал: виноград, как старинная битва,

живет,

Где курчавые всадники бьются в кудрявом

порядке,

В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну а в комнате белой, – как прялка, стоит

тишина.

Пахнет уксусом, краской и свежим вином

из

подвала.

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми

жена –

Не Елена – другая – как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях

полотно,

Одиссей возвратился, пространством

и временем полный.

* * *

Еще далёко асфodelей
Прозрачно-серая весна,
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг;
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.
Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!
Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.
И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет –
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет;
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

* * *

А.В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская стучалась над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.
Он говорил: «Небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!»
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.
Он с нами был, когда, на берегу ручья,

Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

* * *

Твое чудесное произношенье –
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.
«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.
Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленное стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.
И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоём,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

* * *

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка –
Это красный шелк горит.
Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно –
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.
Что на крыше дождь бормочет –
Это черный шелк горит.
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.
Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

* * *

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.
Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.
Им только снится воздух юга –
Чужого неба волшебство,
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.
Кассандре
Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре – торжественное бденье –
Воспомянье мучит нас!
И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...
Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...
Но если эта жизнь – необходимость бреда

И корабельный лес – высокие дома, –
Лети, безрукая победа,
Гиперборейская чума!
На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями –
Свобода, равенство, закон!
* * *

В тот вечер не гудел стрелчатый лес органа,
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.
Старинной песни мир – коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокошующие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.
И сила страшная ночного возвращения
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник – пустое привиденье –
Бессмысленно глядит в холодное окно!
* * *

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О, если ты звезда, – воде и небу брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет –
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
Прозрачная весна над черною Невою
Сломалась. Воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.
* * *

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям –
Протекает по улицам пыльным
Оживленье ночных похорон:
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.
Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт.
И как новый встает Геркуланум,
Спящий город в сияньи луны:
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол.
* * *

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы –
О солнце, судия, народ!
Прославим роковое время,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное время,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть – тот должен слышать,

время,

Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети – сумерки густые –
Не видно солнца и земля плывет.
Ну что ж, попробуем: огромный,

неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.
Tristia
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских.
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.
Кто может знать при слове – расставанье,
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снуёт челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая делия летит!
О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь. Всё повторится снова.
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск – что для мужчины медь,
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.
* * *

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.
Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапужок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек.
Высокий дом построил плотник дюжий.
На свадьбу всех передружили кур,
И растянул сапужник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.
Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва, беспалая, ползет.
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну кто ее такую приласкает,

Кто спящую ее перевернет –
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.
Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.
* * *

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.
С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, святого духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.
Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.
Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве

изумленном,

Как Палестрины песнь, нисходит благодать.
* * *

Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши

приметы.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут;
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
Ах, тяжелые соты и нежные сети!
Легче камень поднять, чем имя твое повторить.
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.
Словно темную воду, я пью помутившийся

воздух.

Время вспахано плугом, и роза землю была.
В медленном водовороте тяжелые нежные

розы,

Розы тяжесть и нежность в двойные венки

заплела.

* * *

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.
Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.
Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия – не Елена,
Не потому наречена,
Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой, –
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем – и бог с тобой.
* * *

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло:
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.
И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.
Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.
Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.
Только в пальцах роза или склянка –
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?
Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.
Феодосия
Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегашь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамáки.
На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя –
Оно пропало, больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.
О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи, у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.
Идем туда, где разные науки
И ремесло – шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.
Мужской сюртук – без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг – явление
Небесных прачек – тяжести улыбка.
Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.
* * *

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, –

Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.
Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.
Кто держит зеркальце, кто баночку духов,
Душа ведь – женщина, ей нравятся безделки! –
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.
И в нежной сутолке, не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачных дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.
* * *

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.
Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.
И медленно растет, как бы шатер иль храм:
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зеленой.
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья:
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья!
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется!
Но я забыл, что я хочу сказать, –
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Всё не о том прозрачная твердит,
Всё – ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.
* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.
Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.
Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» –
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.
Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на рядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.

Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

* * *

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Всё космато: люди и предметы,
И горячий снег хрустит.
Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки.
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.
Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пеня итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.
Пахнет дымом бедная овчина.
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна;
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга», –
И живая ласточка упала
На горячие снега.

* * *

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.
Над Курюю есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов!
Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, –
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое:
Одному не надо пить!
В самом маленьком духане
Ты обманщика найдешь,
Если спросишь «Телиани» –
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.
Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

* * *

Мне жалко, что теперь зима
И комаров не слышно в доме,
Но ты напомнила сама
О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,
И ласточкой кружится мода,
Корзиночка на голове –
Или напыщенная ода?
Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.
Ты всё толкуешь наобум,
От этого ничуть не хуже,
Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.
И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой,
Он побелел, он изнемог –
И все-таки еще немножко.
И право, не твоя вина –
Зачем оценки и изнанки, –
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.
В тебе всё дразнит, всё поет,
Как итальянская рулада,
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.
Так не старайся быть умней,
В тебе всё прихоть, всё минута.
И тень от шапочки твоей –
Венецианская баута.
* * *

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки.
Не услышать в меха обутой тени.
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята..
Возьми ж на радость дикий мой подарок –
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших

в солнце!

* * *

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать –
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко.
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.
Как мог я подумать, что ты возвратишься,

как

смел?

Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.
Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ

пошла,

и трижды приснился мужам соблазнительный

образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов

И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.
Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся

вол,

На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

* * *

Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,
И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир

бездыханный,

Тихонько шевелит огромные спицы теней
И желтой соломой бросает на пол

деревянный...

* * *

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.
Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несую я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь,
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.
Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.
Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И всё, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

* * *

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался...
Но всё растаяло – и только слабый звук
В туманной памяти остался.
Сначала думал я, что имя – серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.
И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.
А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,

Ладонью воздух рассекая.
И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга;
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленатые туго.
Из других редакций «Tristia»

* * *

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи –
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

* * *

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

* * *

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озираю на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русскому имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

* * *

О, этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля!
Качают шаткий мир смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.
Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез,
А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.
Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, –

Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

* * *

Люблю под сводами седья тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин – ему же все должны –
У Исаака отпеванье.
Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе генисаретский мрак
Великопостных седмицы.
Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирий,
Смиренник царственный – снег чистый

на плечах

И одичалые порфиры.
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового завета.
Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопастурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.
Стихи 1921 – 1925 годов

Концерт на вокзале
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами, –
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.
И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

* * *

Умывался ночью на дворе –
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, –
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.
Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

* * *

Кому зима – арак и пунш голубоглазый,

Кому – душистое с корицею вино,
Кому – жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.
Немного теплого куриного помета
и бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, –
и спичка серная меня б согреть могла.
Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.
Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
как яблоня зимой, в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
и шарить в пустоте, и терпеливо ждать.
Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарю овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу,
Кому – крутая соль торжественных обид.
О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
и с петухом в горшке прийти на двор

к гадалке.

А белый, белый снег до боли очи ест.

* * *

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
фыркает, гребли не любит – женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.
Изредка выскочит дельфина колесо
да повстречается морской колючий еж.
Нежные руки Европы, берите всё!
Где ты для выи желанней ярмо найдешь?
Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск
и соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.
О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
и за высокой кормою мельканье рыб!
С нею безвёсельный дальше плывет гребец.

* * *

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг –
и меня срезает время,
как скосило твой каблук.
Жизнь себя перемогает;
Понемногу тает звук;
Всё чего-то не хватает,
что-то вспомнить недосуг.
А ведь раньше лучше было,
и, пожалуй, не сравнишь,
как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.
Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
и вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

* * *

Как растёт хлебов опара,
Поначалу хороша,
и беснуется от жару
Домовитая душа.
Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Подымают купола.
Чтобы силой или лаской

Чудный выманить припек,
Время – царственный подпасок –
Ловит слово-колобок.
И свое находит место
Черствый пасынок веков –
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.
* * *

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась –
Не по ней ли шуршит вор,
Комаринный звенит князь?
Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь – разбудить.
Раскидать бы за стогом стог –
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная, нашлась
Через век, сеновал, сон.
* * *

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, –
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?
Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь,
И растет, и звенит опять.
Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...
Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем,
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.
Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад –
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.
Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна – скрепясь,
А другая – в заумный сон.
* * *

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слудяной перепончатый лес.
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,

Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.
Московский дождик
Он подает куда как скупю
Свой воробьиный холодок –
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.
И в темноте растет кипенье –
Чаинюк легкая возня, –
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях;
И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, –
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!
Век
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И свою кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.
Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоскою,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.
И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горячей рыбой мещет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.
Нашедший подкову
Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе.
Под соленюю пятою ветра устоит отвес, пригнанный

к пляшущей палубе,

И мореплавателю,
В необузданной жажде пространства,

геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.
А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку
корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим –
Отцом путешествий, другом морехода, –
Говорим:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку

соли

Свой благородный груз.
С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.
Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других –
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного

одуряющего запаха,

Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.
Воздух бывает темным, как вода, и всё живое

в нем плавает как рыба.

Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, –
Хрусталь, в котором движутся колеса

и шарахаются лошади,

Влажный чернозем Нееры, каждую ночь

распаханный заново

Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля:
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.
Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.
Дети играют в бабки позвонками умерших

животных.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит

к концу.

Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» или «Я не дам тебе яблока»,
И лицо его точный слепок с голоса, который

произносит эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге

Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром

иноходца.
Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит.
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры

из

кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраниют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался, пока

его

несли домой.
То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой

пшеницы.

Одни
на монетах изображают льва,
Другие –
голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые

лепешки

С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои

зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.
Сыновья Аймона
(по старофранцузскому эпосу)
Пришли четыре брата, несхожие лицом,
В большой дворец-скворешник с высоким

потолком.

Так сухи и поджары, что ворон им каркнет

«брысь».
От удивленья брови у дамы поднялись.
«Вы, господа бароны, рыцари-друзья,
Из кающейся братья, предполагаю я.
Возьмите что хотите из наших кладовых –
Из мяса или рыбы иль платьев шерстяных.
На радостях устрою для вас большой прием:
Мы милостыню Богу, не людям подаем.
Да хранит Он детей моих от капканов и ям,
В феврале будет десять лет, как я томлюсь

по сыновьям!»

– «Как это могло случиться?» – сказал Ричард

с крутым лбом.

– «Я сама не знаю, сударь, как я затмилась

умом.

Я отправила их в Париж, где льется вежливая

молвь.

Им обрадовался Карл, почуя рыцарскую кровь.
Королевский племянник сам по себе хорош,
Но бледнеет от злости, когда хвалят молодежь.
Должно быть, просто зависть к нему закралась

в грудь,

Затеял с ними в шахматы нечистую игру.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Они погорячились, и беда стряслась:
Учили его, учили, пока не умер князь.
Потом коней пришпорили и скрылись

И с ними семьсот рыцарей, что толпились

в зеленях,

в сенях.

Спаслись через Меузу в Арденнской земле,
Выстроили замок укрепленный на скале.
На все четыре стороны их выгнал из Франции

Карл,

Аймон от них отрекся, сам себя обкорнал.
Он присягнул так твердо, как алмаз режет

стекло,

Что у него останется одно ремесло:
Пока дням его жизни Господь позволит течь,
Четырем негодьям головы отсечь».
Когда Рено услышал, он вздрогнул и поник,
Княгиня прикусила свой розовый язык,
И вся в лицо ей бросилась, как муравейник,

кровь.

Княгиня слышит крови старинный переплеск,
Лицо Рено меняется, как растопленный воск,
Тавро, что им получено в потешный турнир,
Ребьяческая метка от молодых рапир.
У матери от радости в боку колотье:
«Ты – Рено, если не обманывает меня чутье,
Заклинаю тебя Искупителем по числу

гвоздильных ран,

Если ты – Рено, не скрывай от меня иль

продлить дай обман».

Когда Рено услышал, он стал совсем горбат,
Княгиня его узнала от головы до пят,
Узнала его голос, как пенье соловья,
И остальные трое с ним – тоже сыновья.
Ждут – словно три березки чтоб ветер

поднялся.

Она заговорила, забормотала вся:
«Дети, вы обнищали, до рубища дошли,
Вряд ли есть у вас слуги, чтоб вам помогли».
– «У нас четыре друга, горячие в делах,
Все в яблоках железных, на четырех ногах».
Княгиня понимает по своему чутью
И зовет к себе конюха, мальчика Илью.
«Там стреножена лошадь Рено и три других,
Поставьте их в конюшнях светлых и больших
И дайте им отборных овсов золотых».
Илья почуял лошадь, кубарем летит,
Мигом срезал лестницы зеленый малахит.
Не жалеет горла, как в трубле Роланд,
И кричит баронам маленький горлан:
«Делать вам тут нечего, бароны, вчетвером,
Для ваших лошадей у нас найдется корм».
Как ласковая лайка на слепых щенят,
Глядит княгиня Айя на четырех княжат.
Хрустит душистый рябчик и голубиный хрящ,
Рвут крылышки на части так, что трещит

в ушах;

Пьют мед дремучих пасек, и яблочный кларет,
И темное густое вино, ублюдок старых лет.
Тем временем Аймона надвинулась гроза,
И стянутых ремнями борзых ведут назад,
Прокушенных оленей на кухню снесли
И слезящихся лосей в крови и пыли.
Гремя дубовой палкой, Аймон вернулся в дом
И видит у себя своих детей за столом.
Плоть нищих золотится, как золото святых,
Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих.
Каленые орехи не так смуглы на вид,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Сукно, как паутина, на плечах у них висит –
Где родинка, где пятнышко – мерезит

И СКВОЗИТ.

Грифельная ода
Мы только с голоса пойдем,

Что там царапалось, боролось...

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок –
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.
Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.
Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,
И все-таки еще гряда –
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время –
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.
Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором,
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!
Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует:
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот –
Изнанка образов зеленых –
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.
И как паук ползет ко мне –
Где каждый стык луной обрызган.
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подолше гор на твердой почве!
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,

И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая встык –
Кремень с водой, с подковой перстень.
* * *

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские – событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки –
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох...
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома – зубов молочных ряд
На деснах старческих – как близнецы стоят.
Здесь клички месяцам давали, как котят,
А молоко и кровь давали нежным лъвьятам,
А подрастут они – то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые – там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу,
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!
* * *

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.
Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:
«Не забывай меня: казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини!»
1 января 1924
Кто время целовал в измученное темя –
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось

время

В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших, –
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать,
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь, –
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.
Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей:
«Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».
Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.
А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед.
Всё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?
Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумашь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш –
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина –
Лишь тень сонат могучих тех.

* * *

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник –
То был не я, то был другой.
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я с веком поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.
Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,

И странно вытянулось глиняное тело –
Кончался века первый хмель.
Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.
И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом –
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем!
* * *

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская

И торчат, как шуки ребрами, незамерзшие

И еще в прихожих слепеньких валяются

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом

Продавал с гранитной лесенки добросовестный

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.
И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду

Электрической мельницей смолот мокко

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская

И приемные с роялями, где, по креслам

Доктора кого-то потчуют ворохами старых

После бани, после оперы – все равно, куда

–

Бестолковое, последнее трамвайное тепло!
* * *

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу – изба, вошел в сенцы:
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...
У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок;
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».
Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба – еж брюхатый;
Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – дугой пошли
Через окно на двор горбатый.
И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.
Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно

несуровая зима!

катки,

коньки.

гончар,

товар!

домой:

золотой.

несуровая зима!

рассадив,

«НИВ».

ни шло,

Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.
* * *

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной

За капором снега, за вечным, за мельничным

Я только запомнил каштановых пряжей осечки,
Придымленных горечью – нет, с муравьиной

От них на губах остается янтарная сухость.
В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой

И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...
Но всё же скрипели извозчичьих санок

В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам

И только и свету, что в звездной колючей

А жизнь проплывет театрального капора

И некому молвить: «Из табора улицы темной...»
Стихи 1930 – 1934 годов

* * *

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом –
Да, видно, нельзя никак...
Армения
Как бык шестикрылый и грозный

Здесь людям является труд,

И, кровью набухнув венозной,

Предзимние розы цветут.

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечью осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.
Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

2

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик

И почему-то мне начало утро армянское снится,
Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани

Как нагибается булочник, с хлебом играющий

жмурки,

Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?
Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.

карете,

шумом.

кислинкой;

светлой;

полозья,

мерзлым.

неправде!

пенной,

да хрипящая охра.

синица,

в

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
я бестолковую жизнь, как мулла свой коран,

замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.
Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
я не хочу твоего замороженного винограда!

3

Ты красок себе пожелала –
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.
Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.
Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.
И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.
Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба...

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Всё утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.
И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых Востока –
И вот лежишь на москательном ложе,
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный

ШИПОВНИК,

В самую гущу его целлулоидных терней,
Смело, до хруста, ее погрузи...
Добудем розу без ножниц!
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу –
Розовый мусор – муслин – лепесток
соломоновый –
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство –
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая –
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая –
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро
раздаривающая –
Армения, Армения!

7

Не развалины – нет! – но порубка могучего

циркульного леса,

Якорные пни поваленных дубов звериного

и басенного христианства,

Рулоны каменного сукна на капителях – как товар

из языческой разграбленной лавки,

Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих

рогов

И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще

не оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:

на Севане снег в три аршина..
Вытащил горный рыбак расписные лазурные

сани,

Сытых форелей усатые морды
несут полицейскую службу
на известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине

весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад..

9

Какая роскошь в нищенском селеньи
Волосная музыка воды!
Что это? Пряжа? Звук? Предупреждение?
Чур-чур меня! Далёко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

10

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.
А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и бога,
Каждому воздавши половину.

11

Лазурь да глина, глина да лазурь.
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем

бирюзовым, –

Над книгой звонких глин, над книжною

землей,

Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

12

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну, прищурясь,
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

* * *

На полицейской бумаге верже
Ночь наглotalась колючих ершей.
Звезды живут – канцелярские птички, –
Пишут и пишут свои рапортчики.
Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать –
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

* * *

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь –
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь..
Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,

При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.
Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.

* * *

Колючая речь Араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.
А близорукое шахское небо –
Слепорожденная бирюза –
Всё не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

* * *

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.
Твое пограничное ухо –
Все звуки ему хороши,
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши!

* * *

Дикая кошка – армянская речь
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь –
О, лихорадка, о, злая моруха!
Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.
Страшен чиновник – лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей.
Командированный – мать твою так! –
Без подорожной в армянские степи.
Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху ни духу,
Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.
Грянет ли в двери знакомое: «Ба!
Ты ли, дружище?» Какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
Были мы люди, а стали людье,
И суждено – по какому разряду? –
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

* * *

И по-звериному воеет людье,
И по-людски куролесит зверье..
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке осторожной, –
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилков, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

* * *

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревочку собери –
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

* * *

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за твою рабу...
В Петербурге жить – словно спать в гробу.

* * *

С миром державным я был лишь ребячески

связан,

Устриц боялся и на гвардейцев глядел

исподлобья –

И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.
С важностью глупой, накупившись, в митре

бобровой

Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рева событий

мятежных

я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейков

нежных,

Сколько я принял смущенья, насады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, молодежавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

* * *

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет – хорошо озорует,
Любишь – не любишь – ни с чем

не сравнишь...

Любишь – не любишь, поймешь –

не поймешь...

Не потому ль, как подкидыв, дрожишь,
что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

* * *

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне – соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Пустота,

Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,
Всё равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.
* * *

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет, и будет – гроза.
Что-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся

звук,

Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
* * *

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, –
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...
Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Всё равно!
Пушкой там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит –
Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...
Всё, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Всё равно!
* * *

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей –
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей –
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой

грязцы,

Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, –
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный уьёт.
* * *

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав –
И да хранит тебя Бог!
* * *

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.
Я – трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.
И едва успеваешь, грозит из угла –
«Ты как хочешь, а я не рискну!» –
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Неправда
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу –
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
– Захочу, – говорит, – дам еще...
Ну а я не дышу, сам не рад...
Шасть к порогу – куда там... В плечо
Уцепилась и тащит назад.
Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма.
– Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.
* * *

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского

дня,
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских
я пью за бискайские волны, за сливок альпийских
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний

бензин,
картин.
кувшин,

хинин.
Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю

одно –

Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.
Рояль
Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал,
Не идет Гора на Жиронду
И не крепнет сословий вал.
Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.
– Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.
Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюрнбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

* * *

– Нет, не мигрень, но подай карандашик

ментоловый, –
Ни поволоки искусства, ни красок пространства

веселого!

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою

И продолжалась она керосиновой мягкой

шёпотью,
копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете

шагреновом

Вдруг разгорелась она почему-то огромным

пожаром сиреневым...

– Нет, не мигрень, но подай карандашик

ментоловый, –

Ни поволоки искусства, ни красок пространства

веселого!

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь,
мучительно вижу я:

Небо как палица грозное, земля словно

плешина рыжая...

Дальше – еще не припомню – и дальше как

будто оборвано:

Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою

ворванью...

– Нет, не мигрень, – но холод пространства

Свист разрываемой марли да рокот гитары

бесполого,
карболовой!

* * *

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь

и дыма,
труда.

Как вода в новгородских колодцах должна быть

черна и сладима,

чтобы в ней к Рождеству отразилась семья

плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой

я – непризнанный брат, отщепенец в народной

грубый,
семье –

Обещаю построить такие дремучие срубы,
чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи –
Как, прицелясь насмерть, городки зашибают

в саду,

–

Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорнице найду.

Канцона

Неужели я увижу завтра –
слева сердце бьется – слава, бейся! –

вас, банкиры горного ландшафта,

вас, держатели могучих акций гнейса?

Там зрачок профессорский орлиный, –

Египтологи и нумизматы –

это птицы сумрачно-хохлатые

с жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла –
Прозорливцу дар от псалмопевца.
Он глядит в бинокль прекрасный Цейса –
Дорогой подарок царь-Давида,
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.
Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села» начальнику евреев
За его малиновую ласку.
Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колетса щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.
Я люблю военные бинокли
С ростовщической силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой – зависть, в красной –

нетерпенье.

* * *

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы
в чоботах узких, железных,
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь: где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели – Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются

длинном,

Где арестованный медведь гуляет –
Самой природы вечный меньшевик,
И пахло до отказу лавровишней!..
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно-скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.
Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!

Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим

ни хищи, ни поденщины,

ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда

я умру.

Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна!
Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
И до чего им нужен кислород!
Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!

Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Я говорю с эпохой, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется – и в цинковую ванну, –
Изобрази еще нам, Марь Иванна!
Пусть это оскорбительно – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чаёт –
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И, словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской,
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты...

Отрывки уничтоженных стихов

1

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Захочешь пить – там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

2

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!
Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!

Больше светотени!

Еще, еще! Сетчатка голодна!

4

Я больше не ребенок!

Ты, могила,

Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.
* * *

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:

Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, –
Но в глубине ничуть не изменяюсь...
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильма воровской.
Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «Дзенькуе, пани!»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.
Всё думаешь: к чему бы приохотиться
Посередине хлопушек и шутих;
Перекипишь – а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица –
Пожалуйста, прикуривай у них!
То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.
Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотоаппаратам пойду,
И в пять минут – лопаткой из ведерка –
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой шах-горы.
А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.
Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.
Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь –
За тысячу крикливых попугаев.
И до чего хочу я разыгаться –
Разговориться – выговорить правду –
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, –
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, –
Сказать ему, – нам по пути с тобой...
* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер франсуа.
Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.
Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.
Я постепенно скорость разовью –
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

* * *

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали –
Было страшно, как во сне.
Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм, –
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.
То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо» –
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.
Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.
И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы –
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!
Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

* * *

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленную армадой
Ровно в голову плывет:
Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними – кораблями –
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

* * *

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий –
Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! стыдно!
Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город –
Купальщички-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?

Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слышали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно! Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...
Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскачу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду...
Мне с каждым днем дышать всё тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.
И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.
Ей некогда – она сегодня в няньках,
Всё мечется – на сорок тысяч люлек
Она одна – и пряжа на руках...
Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической полоской на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы...

Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!..
Ламарк

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.
Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

* * *

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убежал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.
Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,
Была пора Тараса Бульбы
И наступающей грозы.
Самоуправство, своеволие,
Поход троянского коня,
А над пленницей посольство
Эфира, солнца и огня.
Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница на дворе,
И Петропавловску-Цусиме –
«Ура» на дровяной горе...
К царевичу младому Хлору –
И – Господи, благослови! –
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли.
Я пережил того подростка,
И широка моя стезя,
Другие сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

* * *

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.
Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.
Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод –
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

* * *

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый,
И всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

* * *

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.
И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятиях:
Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.
Импрессионизм
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени

На холст, как стружья, положил.
Он понял масла густоту;
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень – всё лиловей!
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.
* * *

С.А. Клычкову

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.
Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы,
У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.
На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Батюшков

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы...
И никогда – этот говор валов...
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...
Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...
Стихи о русской поэзии

I

Сядь, Державин, развалился,
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.
Дай языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом –
Что ему до наших бед? –
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет городом, потопом,
Нет – жасмином, нет – укропом,
Нет – дубовою корой!

II

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.
Катит гром свою тележку
По торговой мостовой
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.
И угодливо-поката
Кажется земля – пока,
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

III

С.А. Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена – перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.
Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.
Там живет народец мелкий,
В желудевых шапках все,
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.
Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.
Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.
И еще грибы-волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг поднимутся с опушки
Так – немного погодя...
Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды,
Кто кого? Пошел развал...
И деревья – брат на брата –
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

* * *

Дайте Тютчеву стрекóзу –
Догадайтесь, почему.
Веневитинову – розу,
Ну а перстень – никому.
Баратынского подошвы

Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.
А еще над нами волен
Лермонтов – мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.
К немецкой речи
Б.С. Кузину

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.
Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Почтимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства.
Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.
Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?
И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб – ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.
Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
Когда я спал без облика и склада,
Я дружкой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.
Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.
Ариост
Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.
И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет – туда-сюда, не зная сам, как быть, –
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.
На языке цикад – пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.
И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще – тебя нам слишком мало.
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.
О город ящериц, в котором нет души –
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!
В Европе холодно. В Италии темно.

Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится всё лучше, всё хитрее
И улыбается в крылатое окно –
Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.
А я люблю его неистовый досуг,
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.
Любезный Ариост, быть может, век пройдет –
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше Черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...
* * *

Не искушай чужих наречий, но постарайся их

забыть:

Ведь всё равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!
О, как мучительно дается чужого клеткота почет:
За незаконные восторги лихая плата стережет!
Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя

не спасет.

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных

глаз?

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.
* * *

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг –
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!
* * *

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.
Всё так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.
* * *

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей,
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю

И грозное баушки-бау
Колхозному баю пою.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель
Такую ухлопает моль.
И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.
Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать –
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому

в глаз.

Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.
Восьмистишия

1

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок –
Не знавшее люльки дитя.

2

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

3

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся –
Жизняночка и умирашка,
Такая большая – сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь!

4

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка –
И на нее немедленно ответить...

5

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, –
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.

6

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

7

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

8

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые –
И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

9

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот –
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

10

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит –
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

11

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
и твой, бесконечность, учебник
читаю один, без людей –
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

* * *

Как из одной высокогорной щели
Течет вода – на вкус разноречива –
Полужестка, полусладка, двулична, –
Так, чтобы умереть на самом деле,
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вздоха и сознанья цели...

Из Петрарки

I

Valle che de'lamenti miei se' piena...

Petrarca[1]

Речка, распухая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;
Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:
Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
Где я ищу следов красоты и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

II

Que'l rosignuol, che si soave piagne...

Petrarca[2]

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких, ночью синей,
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,
И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне, –
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!
О, радужная оболочка страха! –
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха –
Исполнилось твоё желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

III

Or che'l ciel et la terra e'l vento tace...

Petrarca[3]

Когда уснет земля и жар отпышет,
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет, –
Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,
В неудержимой близости всё та же:
Целую ночь, целую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.
Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужестока, полусладка. Ужели
Одна и та же милая двулична?
Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле,
И воскресая так же сверхобычно.

IV

I di miei più leggier' che nessun cervo...

Petrarca[4]

Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.
По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жметя. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.
Но то, что в ней едва существовало, –
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.
И я догадываюсь, брови хмуря, –
Как хороша – к какой толпе пристала –
Как там клубится легких складок буря...
* * *

Голубые глаза и горячая лобная кость –
Мировая манила тебя молодящая злость.
И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель,

Как снежок, на Москве заводил кавардак

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк...
Собиратель пространства, экзамены сдавший

Сочинитель, щегленок, студентик, студент,

Конькобежец и первенец, веком гонимый

Под морозную пыль образуемых вновь

Часто пишется – казнь, а читается

Может быть, простота – уязвимая смертью правильно – песнь.

Прямизна нашей мысли не только пугач

Не бумажные дести, а вести спасают людей.
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.
На коленях держали для славных потомков

Рисовали, просили прощенья у каждой черты.
Меж тобой и страной ледяная рождается

Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно

Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте,

в чистоте-сироте...

Утро 10 января 1934 года

I
Меня преследуют две-три случайных фразы, –
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна...
Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,
Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги,
С голуботвердой чокаясь рекой?

дурак!

гоголек, –

птенец,

бубенец.

взашей

падежей.

болезнь?

для детей?

листы,

связь –

прямясь.

Он дирижировал кавказскими горами
И, машучи, ступал на тесных Альп тропы
И, озираючись, пустынными берегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.
Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венки.

II
Когда душе столь торопкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой –
Но смерти ей тропина не ясна.
Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес смычка.
И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

III
Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось.
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.
А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовый перенести на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.
Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий, и тянувшийся весь, –
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.
* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч.
Усмирен мужской опасный нором,
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.
Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...
Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария, – гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.
Воронежские тетради (1935 – 1937)
Первая тетрадь
* * *

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.

Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.
Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.
И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится –
Только смерть да лавочка близка.
* * *

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...
Ну как метро?.. Молчи, в себе таи...
Не спрашивай, как набухают почки...
И вы, часов кремлевские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки...
* * *

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож...
* * *

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...
* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.
Чернозем
Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, –
Комочки влажные моей земли и воли...
В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа –
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.
И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, –
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен,

глазаст...

Черноречивое молчание в работе.
* * *

Ливив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета –
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
* * *

Да, я лежу в земле, губами шевеля,

Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,
На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,
Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.
* * *

I

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.
Упиралась вода в сто четыре весла –
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

II

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буюк.
И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.
И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.
Стансы

1

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки –
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покроей,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

2

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

3

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, –
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки –
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок.
И я в уме.

4

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока...

5

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла...

6

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

7

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен..
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружие,
Сухая влажность черноземных га!

* * *

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что

сон был больше, чем слух, слух был старше, чем

чуток,

А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса –
Расширеньем аорты могущества в белых ночах –

Глаз превращался в хвойное мясо.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только

ушко,

чтобы двойка конвойного времени парусами неслась

хорошо.

Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам

Грамотеет в шинелях с наганами племя

Молодые любители белозубых стихов,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только

ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой –
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего.

* * *

От сырой простыни говорящая –
Знать, нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...
Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последней выточки –
На равнины зияющий пах...

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла...
Измеряй меня, край, перекраивай –
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева –
Помоги, развяжи, раздели!..

* * *

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых лапчатых материй
Китайчатые платица и блузы.

росло на дрожжах.

сон, – слитен,

нет, в ножах –

дармоедов,

пушкиноведов –

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.
Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

* * *

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно –
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

* * *

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчуждении и в силе –
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле..
И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.
И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея..
Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

* * *

На мертвых ресницах Исаакий замерз,
И барские улицы сини –
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине..
Уже выгоняет выжлятник пожар –
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – меблированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.
Площадками лестниц – разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман –
Движенье, движенье, движенье..

* * *

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.
Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой –
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –
Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.
Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты – четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!

* * *

Бежит волна – волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.
А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.
* * *

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники –
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат,
Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.
* * *

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну –
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.
Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки, –
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!
Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.
И зенитных тысячи орудий –
Карих то зрачков иль голубых –
Шли нестройно – люди, люди, люди, –
Кто же будет продолжать за них?
Вторая тетрадь
* * *

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов –
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.
Гуди, старик, дыши сладко,
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко, –
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.
Рождение улыбки
Когда заулыбается дитя
С развилкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье.
Ему непобедимо хорошо:
Углами губ оно играет в славе –
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.
На лапы из воды поднялся материк –
Улитки рта наплыв и приближение –
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.
* * *

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,
Но улыбка неподдельна, как дорога,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Непослушна, не слуга.

* * *

Мой щегол, я голову закину –
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?
Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?
Что за воздух у него в надлобьи –
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит –

в обе! –

Не посмотрит – улетел!

* * *

Нынче день какой-то желторотый –
Не могу его понять,
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня..
Тихий, тихий по воде линиялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней..
* * *

Не у меня, не у тебя – у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, –
И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их – в приливах и отливах.
* * *

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.
Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.
Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человеческий..
* * *

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель –
И посоха усталый яшень,
И меди нищенскую цвель.
* * *

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: ничего, отец, –
Уж мы сошьем тебе такое..
* * *

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но всё же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,

Жалея ствол, жалея сил;
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневая.
* * *

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять –
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.
Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины –
Честь Рюисдалевых картин,
И на почин – лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.
Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.
Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.
А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,
Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...
* * *

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов
Или Цны – реки обычной –
Белый, белый бел-покров?
Или я в полях совхозных –
Воздух в рот и жизнь берет
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?
Кроме хлеба, кроме дома,
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...
Анна, Россошь и Гремячье –
Процветут их имена –
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..
* * *

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка,
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес – еловый?
Не еловый, а лиловый, –
И какая там береза,
Не скажу наверняка –
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...
* * *

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола...
Это мачеха Кольцова...
Шутишь – родина щегла!

Только города немного
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор,
В гуще воздуха степного
Переключка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков...

* * *

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского уголья
В океанское ядро.
Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло...
Смотришь: небо стало выше –
Новоселье, дом и крыша –
И на улице светло!

* * *

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.
Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц –
И всё на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц.

* * *

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима –
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.
Хороша она испугом,
Как начало грозных дел, –
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.
Но сильнее всего непрочно –
Выпуклых голубизна –
Полукруглый лед височный
Речек, баюющих без сна...

* * *

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий –
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.
Там, где огненными щами
Угощается Кашей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей –
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.
У него в покоях спящих
Кот живет не для игры –
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих –
Шароватых искр пиры...

* * *

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.
Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране,
Омут ока удивленный, –

Кинь его вдогонку мне!
Он глядит уже охотно
В мимолетные века –
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

* * *

Улыбнись, ягненок гневный – с Рафаэлева холста, –
На холсте уста вселенной, но она уже не та...
В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль –
В синий, синий цвет синели океана въелась соль...
Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.
На скале черствее хлеба – молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

* * *

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей, –
Не хочет петь линючий,
Ленивый богатырь –
И малый, и могучий
Зимующий снегирь, –
Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей...

* * *

Я около кольцова
Как сокол закольцован –
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.
К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник, без указа,
Распахнут кругозор.
В степи кочуют кочки –
И всё идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки –
Как бы слепых везут...

* * *

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды –
Ударенья дождевые
Закипающей беды,
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?
В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, –
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом –
И слепой, и поводырь...

* * *

Влез бесенок в мокрой шерстке –
Ну, куды ему, куды? –
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы –
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы...
Брызжет в зеркальцах дорога –
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брызжит отлого:
Улеглось – и полбеда!
Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось –

По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось...

* * *

Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

* * *

В лицо морозу я гляжу один:
Он – никуда, я – ниоткуда,
И всё утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.
А солнце шуруется в крахмальной нищете –
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса – почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,

безгрешен.

* * *

О, этот медленный, одышливый простор!
Я им пресыщен до отказа, –
И отдышавшийся распахнут кругозор –
Повязку бы на оба глаза!
Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.
Я б с ней сработался – на век, на миг один –
Стремнин осадистых завистник,
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый...

* * *

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим –
И всё растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, –
Пространств несозданных Иуда?

* * *

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнотворца голос.

* * *

Я нынче в паутине световой –
Черноволокой, светло-русой, –
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.
И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.
Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрю, каштановой волной –
Его звучаньем – умывался...

* * *

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца:

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Неумолимое – находка для творца,
Не может быть другим, никто его не судит.

* * *

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.
С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.
Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,
Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,
Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,
И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

* * *

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков

и скрепок...

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы –
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы...
И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке, –
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

* * *

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признание:
Я – это я; явь – это явь...
И мальчик, красный, как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.
И я – в размолвке с миром, с волей –
Заразе саночек мирволю –
В серебристых скобках, в бахромах –
И век бы падал векши легче
И легче векши к мягкой речке –
Полнеба в валенках, в ногах...

* * *

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях,
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.
Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки –
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.
Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.
Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,

И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.
Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...
Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы –
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...
А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке...
И к нему – в его сердцевину –
я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

* * *

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей – скалы подспорье и пособие?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?
Тому не быть – трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы –
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.
Он эхо и привет, он вежа, – нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех –
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

* * *

Как светотени мученик Рембрандт,
я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.
Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми, –
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Межами сумрака взволнованное племя.

* * *

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен, –
я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг – горька морей трава,
Ложноволосая, – и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край – вот все мои права,
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

* * *

Пою, когда гортань сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется, без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыханье,
И в горных ножнах слух, и голова глуха...
Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.
Песнь одноглазая, растущая из мха, –
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,

Держа дыханье вольно и открыто,
Забываясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха...

* * *

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе...
И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.
О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

* * *

Были очи острее точимой косы –
По зегзице в зенице и по капле росы, –
И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

* * *

Еще он помнит башмаков износ –
Моих подметок стертое величье,
А я – его: как он разногос, –
Черноволос, с Давид-горой граница.
Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон – наклон – подкова – конь – балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...
И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, –
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

* * *

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры –
Их быстроходная, взволнованная бронь,
И любопытные ковры людского говора...
И в бой меня ведут понятные слова –
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем

сова...

Стекло Москвы горит меж ребрами

гранеными.

Необоримые кремлевские слова –
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.
И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть

рабой, –

И хор поет с часами рука об руку.

* * *

Как дерево и медь фаворского полет –
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.
И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.
Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми

глазами...

Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

* * *

Я в львиный ров и крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.
Как близко, близко твой подходит зов –
До заповедей рода, и в первины –
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины..
Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего – праматери – мизинца.
Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

Третья тетрадь

Стихи о неизвестном солдате

1

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках, всеядный и деятельный,
Океан без окна – вещество.
До чего эти звезды изветливы!
Всё им нужно глядеть – для чего? –
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество..
Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.
Будут люди, холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать –
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать,
И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

2

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры –
Золотые созвездий жиры..

3

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте –
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.
Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей –
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте –
За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил, –
Развороченных – пасмурный, оспенный

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
и придымленный гений могил.

4

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка –
Эй, товарищество, – шар земной!

5

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец...

6

Ясность ясенева, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.
И сознание свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?
Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?
Чуешь, мачеха звездного табора,
Ночь, – что будет сейчас и потом?

7

Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом...
– Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

* * *

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,
Правды горлинок твоих и кривды

карликовых

Виноградарей в их разгородках марлевых...
В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет – денежный, обиженный...
Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти

в безбрежности! –

Свищет песенка – насмешница, небрежница,
Где бурлила, королей смывая,

Улица июльская кривая...

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли –
В океанском котелке с растерянною

ТОЧНОСТЬЮ

На шарнирах он куражится с цветочницей...
Там, где с розой на груди в двухбашенной

испарине

Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, –
Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.
* * *

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.
Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги – недруги других невоскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг, –
И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И среди ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.
* * *

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной –
Втридорога снегом напоенный
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженный,
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая
Карличья в ушастых шапках стая, –
И, меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую
влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая...
* * *

Я скажу это начерно, шепотом –
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...
И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом.
* * *

Небо вечера в стену влюбилось –
Всё изрублено светом рубцов, –
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.
Вот оно – мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю –
И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны –
Неоконченной вечности мгла...

* * *

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь..
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Не разнять меня с жизнью – ей снится
Убивать – и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски..
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отзвук неба во всю мою грудь!

* * *

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! –
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть..
Если я не вчерашний, не зряшный –
Ты, который стоишь надо мной, –
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной..
Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы –
Лед весенний, лед высший, лед вешний,
Облака – обаянья борцы, –
Тише: тучу ведут под уздцы!

* * *

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия..
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.
Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,
Только здесь – на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем..
То, что я говорю, мне прости..
Тихо, тихо его мне прочти..

* * *

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я согласился с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.
Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий..
Где больше неба мне – там я бродить
готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят –
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, –
Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, –
Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, –
Превратили в убийства питомник
Вы – коричневой крови наемники –
Италийские чернорубашечники –
Мертвых цезарей злые щенки..
Все твои, Микель-Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и в рабстве молчит.
И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек, –
Чтоб звучали шаги как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.
Ямы форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода –
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

* * *

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.
Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного праха истец.
Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи
Мир, который как череп глубокий, –
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть –
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть...

* * *

Гончарами велик остров синий –
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь подземных
Плавников могучий удар?
Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,

И сосуда студеная власть
Раскололась на море и глаз.
Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд...
Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».
Выздоровливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба – случайность,
И вода, говорящая «да».

* * *

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды:
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.
Флейты свищут, клянутся и злятся,
Что беда на твоём ободу
Черно-красном – и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

* * *

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.
А ты в кругу лучись –
Другого счастья нет –
И у звезды учись
Тому, что значит свет.
А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

* * *

Нереиды мои, нереиды!
Вам рыданья – еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

* * *

Флейты греческой тэта и йота –
Словно ей не хватало молвы, –
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы...
И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не разнять...
А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин...
Звонким шепотом честлюбивых,
Вспоминающих шепотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки – опрятен и скуп...
Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем –
Мором стала мне мера моя...
И свои-то мне губы не любы –
И убийство на том же корню –
И невольню на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню...

* * *

Как по улицам Киева-Вия

Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще – разумеете...»
* * *

Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.
Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?
А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочной выдумкой пар.
* * *

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась –
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.
– Подожди, – шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
– Мне бы только сына...
Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.
Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...
Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.
Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже, –
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.
Спросит гром своих знакомых:
– Вы, громá, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?
Да из свежих одиночеств
Леса – крики пташьи:
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.
И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.
Все ее торопят часто:
– Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!
* * *

На меня нацелилась груша да черемуха –
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Кисти вместе с звездами, звезды вместе

Что за двоевластье там? В чьем соцветьи

с кистями, –

истина?

С цвету ли, с размаха ли – бьет

воздушно-цельми

В воздух, убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.
* * *

I

К пустой земле неволью припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – прама-терь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье...
Что было – поступь – станет недоступно...
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И всё, что будет, – только обещанье.

Проза

Шум времени

Музыка в Павловске

Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате» и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, – девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни.

Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осинные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды: мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и «а-ля кок».

В двух словах – в чем девяностые годы. Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в центре мира.

В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы.

Вышло так, что мы сделались павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечьем городе, в российском полу-Версале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов (жить в Павловске считалось здоровее) – и взяточников, скопивших на

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
дачу-особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки: на одной половинке поет, а на другой затыкает уши, когда «Нива», «Всемирная новь» и «Вестники иностранной литературы», бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек!

Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти «Всемирные панорамы» и «Нови» были настоящим источником познания мира. Я любил «смесь» о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие, во весь лист: малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам; таинственный опыт господина Фуко: металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородами. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложения, необъятную, расплывшуюся тогда литературу приложений к «Ниве» и проч. Интересы наши вообще были одинаковы, и я семи-восемью лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «fin de siècle», «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто, оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл.

У меня впечатленье, что мужчины исключительно были поглощены делом Дрейфуса, денно и ночью, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам.

На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок – рёге Лагранж. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек, боннами к детям в порядочные дома. К рёге Лагранжу дамы приходили за советом прямо с покупками из Гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной ряске, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендация рёге Лагранжа ценилась очень высоко.

Знаменитая контора по найму кухарок, бонн и гувернанток, на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников. Чайвших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестаций. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральши, считалась достаточно веской, иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркнуло ей в лицо и отворачивалось. Тогда выбегала посредница по торговле этими рабынями, извинялась и говорила об упадке нравов.

Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркетные вокзала, где за ночь намело на пол-аршина конфетти и серпантина, – следы бури, которая называлась «galà» или «бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались дон-кихотовские коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка» – самый древний вид петербургского общественного экипажа; только по Невскому, гремя звонками, носились новые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях.

Ребяческий империализм

Конный памятник Николаю I против Государственного совета неизменно, по кругу, обхаживал замшелый от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана.

Мы, дети, заговаривали с дряхлым часовым. Он нас разочаровывал, что он не двенадцатого года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они – караульные, последние из николаевской службы и во всей роте их не то шесть, не то пять человек.

Вход в Летний сад со стороны набережной, где решетки и часовня, и против Инженерного замка охранялся вахмистрами в медалях. Они определяли, прилично ли одет человек, и гнали прочь в русских сапогах, не пускали в картузах и в мещанском платье. Нравы детей в Летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шаркнув или присев, пищала: «Девочка (или мальчик, – таково было официальное обращение),

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
не хотите ли поиграть в «золотые ворота» или «палочку-воровочку?»»

Можно себе представить, после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл, и самый способ знакомства казался мне натянутым.

Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и, право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы.

Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки.

Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа.

Тут, на зеленой, никогда не езженной мостовой, муштровали морских гвардейцев, и медные литавры и барабаны потрясали тихую воду канала. Мне нравился физический отбор людей: все ростом были выше обыкновенного. Нянька вполне разделяла мои вкусы. Так мы облюбовали одного матроса – «черноусого» и приходили на него лично посмотреть и, уже отыскав его в строю, не сводили с него глаз до конца учения. Скажу и теперь, не обинуясь, что, семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами, памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным.

Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом.

Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош.

Это место было тоже необычайное, но о нем после. Подкова каменной колоннады и широкий тротуар с цепочками предназначались для бунта, и, в воображении моем, место это было не менее интересно и значительно, чем майский парад на Марсовом поле. Какая будет погода? Не отменят ли? Да будет ли в этом году?.. Но уже раскидали доски и планки вдоль летней канавки, уже стучат плотники по Марсову полю; уже горой пухнут трибуны, уже клубится пыль от примерных атак и машут флажками расставленные вешками пехотинцы. Трибуна эта строилась дня в три. Быстрота ее сооружения казалась мне чудесной, а размер подавлял меня, как коллизей. Каждый день я навещал постройку, любовался плавностью работы, бегал по лесенкам, чувствуя себя на подмостках участником завтрашнего великолепного зрелища, и завидовал даже доскам, которые наверно увидят атаку.

Если бы спрятаться в Летнем саду незаметно! А там – столпотворение сотни оркестров, поле, колосющееся штыками, чресполосица пешего и конного строя, словно не полки стоят, а растут гречиха, рожь, овес, ячмень. Скрытое движение между полков по внутренним просекам! И еще серебряные трубы, рожки, вавилон криков, литавр и барабанов... Увидеть кавалерийскую лаву.

Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное.

Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. Военные разводы у Александровской колонны, генеральские похороны, «проезд» были моими ежедневными развлечениями.

«Проездами» тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо наострился распознавать эти штуки. Как-нибудь у Аничкова, как усатые рыжие тараканы, выползали дворцовые пристава: «Ничего особенного, господа. Проходите, пожалуйста, честью просят...» Но уже дворники деревянными совками рассыпали желтый песок, но усы околоточных были нафабрены и, как горох, по Караванной или по Конюшенной была рассыпана полиция.

Меня забавляло удручать полицейских расспросами – кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать. Нужно признать, что промельк гербовой кареты с

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысачками в сетке всегда меня разочаровывал. Тем не менее игра в проезд представлялась мне довольно забавной.

Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский праздник на Благовещенье.

Помню также спуск броненосца «Ослябя», как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга.

Весь этот ворох военщины и даже какой-то полицейской эстетики пристал какому-нибудь сынку корпусного командира с соответствующими семейными традициями и очень плохо вязался с кухонным чадом средне-мещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами.

Бунты и француженки

Дни студенческих бунтов у Казанского собора всегда заранее бывали известны. В каждом семействе был свой студент-осведомитель. Выходило так, что смотреть на эти бунты, правда на почтительном расстоянии, сходилась масса публики: дети с няньками, маменьки и тетеньки, не смогшие удержать дома своих бунтарей, старые чиновники и всякие празднующиеся. В день назначенного бунта тротуары Невского колыхались густою толпою зрителей от Садовой до Аничкова моста. Вся эта орава боялась подходить к Казанскому собору. Полицию прятали во дворах, например во дворе Екатерининского костела. На Казанской площади было относительно пусто, прохаживались маленькие кучки студентов и настоящих рабочих, причем на последних показывали пальцами. Вдруг со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящий в грозное завывание, все ближе и ближе. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошаадьми. «Казачи, казаки», – проносилось молнией, быстрее, чем летели сами казаки. Собственно «бунт» брали в оцепленье и уводили в Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели.

Мрачные толпы народа на улицах были первым моим сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно три года. Год был 94-й, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: «Когда же они поедут?», говорят – «Завтра». Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки мимо шоколадного здания Итальянского посольства. Вдруг – там двери распахнуты и всех свободно впускают, а пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход и стены, обставленные серебром и тропическими растениями, очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого? Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшний день.

Обычная жизнь города была бедна и разнообразна. Ежедневно к часам пяти происходило гулянье на Большой Морской – от Гороховой до арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Сюда же бонны и гувернантки, моложавые француженки, приводили детей: вздохнуть и сравнить с Елисейскими Полями.

Ко мне нанимали стольких француженок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно. По разумению моему, все эти француженки и швейцарки от песенок, прописей, хрестоматий и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война двенадцатого года, затем следовала Жанна д'Арк (одна швейцарка, впрочем, попала к кальвинисткам), и сколько я ни пытался, будучи любознателен, выведать у них о франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна. У француженок ценилось искусство много и быстро говорить, у швейцарок знание песенок, из которых коронная – «песенка о Мальбруке». Эти бедные девушки

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru были проникнуты культом великих людей: Гюго, Ламартина, Наполеона и Мольера. По воскресеньям их отпускали слушать мессу, никаких знакомств им не полагалось.

Где-нибудь в Иль-де-Франсе: виноградные бочки, белые дороги, тополя, винодел с дочками уехал к бабушке в Руан. Вернулся – все «scellé»[5], прессы и чаны опечатаны, на дверях и погребках – сургуч. Управляющий пытался утаить от акциза несколько ведер молодого вина. Его накрыли. Семья разорена. Огромный штраф, – и в результате суровые законы Франции подарили мне воспитательницу.

Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красоты пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами, текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора Миллионной?

Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и бежал, всегда бежал.

Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушения, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг Бытия, заброшенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже Гете и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала.

Крепкий румяный русский год катился по календарю, с крашеными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабром, вейками и дачей. А тут же путался призрак – новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом-Кипур.

Книжный шкаф

Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? И это пахнет не только кухня, но люди, вещи и одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на Ключевой улице, в немецкой Риге, у бабушки и бабушки. Уже отцовский домашний кабинет был непохож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он вводил в чужой мир, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой. Прежде всего – дубовое кустарное кресло с балалайкой и рукавицей и надписью на дужке «Тихе едешь – дальше будешь» – дань ложнорусскому стилю Александра III; затем турецкий диван, набитый гроссбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем. Сначала я думал, что работа отца заключается в том, что он печатает свои папиросные письма, закручивая пресс копировальной машины. До сих пор мне кажется запахом ярма и труда проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкурки лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши – все это, и мещанский письменный стол с мраморным календариком, плавают в табачном дыму и обкурено кожами. А в черствой обстановке торговой комнаты – стеклянный книжный шкафчик, задернутый зеленой тафтой. Вот об этом книгохранилище хочется мне поговорить. Книжный шкаф раннего детства спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкафу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкафу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка.

Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось, а существовало розно, и, в разрезе своем, этот шкафчик был историей духовного напряженья целого рода и прививки к нему чужой крови.

Нижнюю полку я помню всегда хаотической: книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаянья наняли ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей Торговой улицы и учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко. Грамотная русская речь звучала фальшиво. Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах – с кошкой, книжкой, ведром, лейкой одного и того же мальчика в картузе с очень

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя и всем существом восставал на книгу и науку. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно, – чувство еврейской народной гордости. Он говорил об евреях, как французенка о Гюго и Наполеоне. Но я знал, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил.

Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гете, Кернер – и Шекспир по-немецки – старые лейпцигско-тюбингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей.

Еще выше стояли материнские русские книги – Пушкин в издании Исакова – семьдесят шестого года.

Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего: шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы включительно по тридцать седьмой. Цвет Пушкина? Всякий цвет случаен – какой цвет подобрать к журчанию речей? У, идиотская цветовая азбука Рембо!

Мой исаковский Пушкин был в ряске никакого цвета, в гимназическом коленкором переплете, в черно-бурой, вылинявшей ряске, с землистым песочным оттенком, не боялся он ни пятен, ни чернил, ни огня, ни керосина. Черная песочная ряска за четверть века все любовно впитывала в себя, – духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина так явственно мною ощущается. На нем надпись рыжими чернилами: «Ученице III-го класса за усердие». С исаковским Пушкиным вяжется рассказ об идеальных, с чахоточным румянцем и дырявыми башмаками, учителях и учительницах: 80-е годы в Вильне. Слово «интеллигент» мать и особенно бабушка выговаривали с гордостью. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гете и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе.

А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к «Ниве». Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он «тяжелый»; Тургенев был весь разрешенный и открытый, с Баден-Баденом, «Вешними водами» и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает.

А не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели, от чтения ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница являет черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой? Вглядываясь в лицо вечного юноши – Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? Пошли его в Ниццу, покажи ему Средиземное море, он все будет петь свой идеал и страдающее поколенье, – разве что прибавит чайку и гребень волны. Не смейтесь над надсоновщиной – это загадка русской культуры и в сущности непонятый ее звук, потому что мыто не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. Кто он такой – этот деревянный монах с невыразительными чертами вечного юноши, этот вдохновенный истукан учащейся молодежи, именно учащейся молодежи, то есть избранного народа неких столетий, этот пророк гимназических вечеров? Сколько раз, уже зная, что Надсон плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как слышало поколенье, отбросив поэтическое высокомерие настоящего и обиду за невежество этого юноши в прошлом. Как много мне тут помогли дневники и письма Надсона: все время литературная страда, свечи, рукоплесканья, горящие лица; кольцо поколенья и в середине – алтарь – столик чтеца со стаканом воды. Как летние насекомые под накаленным ламповым стеклом, так все поколенье обугливалось и обжигалось на огне литературных праздников с гирляндами показательных роз, причем сборища носили характер культа и искупительной жертвы за поколенье. Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru поколенья вплоть до гибели, – высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом. В сущности, вся большая русская литература отвернулась от этого чахоточного поколенья с его идеалом и Ваалом. Что же еще оставалось? Бумажные розы, свечи гимназических вечеров и баркаролы Рубинштейна. Восьмидесятые годы в Вильне, как их передает мать. Всюду было одно: шестнадцатилетние девочки пробовали читать Стюарта Милля, маячили светлые личности с невыразительными чертами и с густою педалью, замирая на *agreggio*, играли на публичных вечерах новые вещи львиного Антона. А в сущности происходило следующее: интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, предводимая светлыми личностями, в священном юродстве, не разбирающем пути, определенно поворотила к самосожжению. Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и «учающаяся молодежь», сочувственно тлели, – не должно было остаться ни одного зеленого листика.

Какая скучная жизнь, какие бедные письма, какие несмешные шутки и пародии! Мне показывали в семейном альбоме дагерротипную карточку дяди Миши, меланхолика с пухлыми и болезненными чертами, и объясняли, что он не просто сошел с ума, а «сгорел»: так гласил язык поколенья. Так говорили о Гаршине, и многие гибели складывались в один ритуал.

Семен Афанасьич Венгеров, родственник мой по матери (семья виленская и гимназические воспоминанья), ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но «это» он понимал. У него «это» называлось: о героическом характере русской литературы. Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по Загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую, муравьиную бороду!

Финляндия

Красненький шкаф с зеленой занавеской и кресло – «Тише едешь – дальше будешь» – часто переезжали с квартиры на квартиру. Стояли они в Максимилиановском переулке, где в конце стреловидного Вознесенского виднелся скачущий Николай, и на Офицерской, поблизости от «Жизни за царя», над цветочным магазином Эйлера и на Загородном. Зимой, на Рождество, – Финляндия, Выборг, а дача – Териоки. В Териоках песок, можжевельник, дощатые мостки, собачьи будки купален, с вырезанными сердцами и зазубринами по числу купаний, и близкий сердцу петербуржца, домашний иностранец, холодный финн, любитель Ивановых огней и медвежьей польки на лужайке народного дома, небритый и зеленоглазый, как его называл Блок. Финляндией дышал дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьева до Блока, пересыпая в ладонях ее песок и растирая на гранитном лбу легкий финский снежок, в тяжелом бреде своем слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная. И я любил страну, где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов.

Летом в Териоках – детские праздники. До чего это было, как вспомнишь, нелепо! Маленькие гимназистки и кадеты в обтянутых курточках, расшаркиваясь с великовозрастными девицами, танцевали па-де-катр и па-де-патинер, салонные танцы 90-х годов, с сдержанными, бесцветными движениями. Потом игры: бег в мешках и с яйцом, то есть с ногами, увязанными в мешок, и с сырым яйцом на деревянной ложке. В лотерею всегда разыгрывалась корова. То-то была радость француженкам! Только здесь они щебетали, как птицы небесные, и моделили душой, а дети сбивались и путались в странных забавах.

В Выборг ездили к тамошним старожилам, выборгским купцам – Шариковым, из николаевских солдат-евреев, откуда по финским законам повелась их оседлость в чистой от евреев Финляндии. Шариковы, по-фински «Шарики», держали большую лавку разных товаров: «*Seka taavaran kaupa*» [6], где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы. Жили Шариковы в массивном деревянном доме с дубовой мебелью. Особенно гордился хозяин резным буфетом с историей Ивана Грозного. Ели они так, что от обеда встать было трудно. Отец Шариков оплыл жиром, как будда, и говорил с финским акцентом. Дочка-дурнушка, чернявая, сидела за прилавком, а три другие, красавицы, по очереди бежали с офицерами местного гарнизона. В доме пахло сигарами и деньгами. Хозяйка, неграмотная и добрая, гости – армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
После жиденького Петербурга меня радовала эта прочная и дубовая семья. Волей-неволей я попал в самую гущу морозного зимнего флирта высокогорудых выборгских красавиц. Где-то в кондитерской фацера с ванильным печеньем и шоколадом, за синими окнами санный скрип и беготня бубенчиков... Вытряхнувшись прямо из резвых, узких санок в теплый пар сдобной финской кофейной, был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком – носит ли он корсет, и помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать свои ребра. Быстрые санки, пунш, карты, картонная шведская крепость, шведская речь, военная музыка – голубым пуншевым огоньком уплывал выборгский угар. Гостиница «Бельведер», где потом собиралась Первая Дума, славилась чистотой и прохладным, как снег, ослепительным бельем. Все тут было иностранщина – и шведский уют. Упрямый и хитрый городок, с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовии каждой постели, как божий бич, нес ярмо русской военщины; но в каждом доме, в черной траурной рамке, висела картинка: простоволосая девушка Суоми, над которой топорщится сердитый орел с двойной головкой, яростно прижимает к груди книгу с надписью «Lex» – «Закон».

Хаос иудейский

Однажды к нам приехала совершенно чужая особа, девушка лет сорока в красной шляпке, с острым подбородком и злыми черными глазами. Ссылаясь на происхождение из местечка Шавли, она требовала, чтобы ее выдали в Петербурге замуж. Пока ее удалось спровадить, она прожила в доме неделю. Изредка появлялись странствующие авторы: бородатые и длиннополые люди, талмудические философы, продавцы вразнос собственных печатных изречений и афоризмов. Они оставляли именные экземпляры и жаловались на преследования злых жен. Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников; и от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадаются еврейские вывески с быком и коровой, женщины с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семящие в сюртуках до земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений, бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздья семисвечников, высокие бархатные камилавки. Еврейский корабль с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камилавки, и дивное равновесие гласных и согласных, в четко произносимых словах, сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление – скверная, хотя и грамотная, речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь император», какая пошлость все, что он говорит! И вдруг два господина в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей прикасаются к тяжелой книге, выходят из круга и за всех, по доверенности, по поручению всех, совершают что-то почетное и самое главное. Кто это? Барон Гинзбург. А это – Варшавский.

В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери – не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, – но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приbedненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? – Нет. Речь немецкого еврея? – Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? – Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гегеля, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза – это было все что угодно, но не язык, все равно – по-русски или по-немецки.

По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков. Предчувствуется – Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на равнина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу; немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир семидесятых годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной мастерской и на кожевенном заводе проповедует обрюзгим и удивленным клиентам философские идеалы восемнадцатого века.

Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии. Двинулась в путь артиллерия картонок, корзинок с висячими замками, пухлый неудобный багаж. Зимние вещи пересыпали крупной солью нафталина. Кресла стояли, как белевые кони, в попоне чехлов. Невеселыми казались мне сборы на Рижское взморье. Я тогда собирал гвозди: нелепейшая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство. Тут у меня отняли гвозди на укладку.

Дорога была тревожная. Тусклый вагон в Дерпте ночью, с громкими эстонскими песнями, приступом брали какие-то ферейны, возвращаясь с большого певческого праздника. Эстонцы топотали и ломались в дверь. Было очень страшно.

Дедушка – голубоглазый старик в ермолке, закрывавшей наполовину лоб, с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, – улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел – густые брови сдвигались. Он хотел взять меня на руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить.

Она спрашивала: «Покушали? покушали?» – единственное русское слово, которое она знала. Но не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус. Родители ушли в город. Опечаленный дед и грустная суетливая бабушка попробуют заговорить – и нахохлятся, как старые обиженные птицы. Я порывался им объяснить, что хочу к маме, – они не понимали. Тогда я пальцем на столе изобразил наглядно желанье уйти, перебирая на манер походки средним и указательным.

Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подросла мать.

Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность – это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал: «Я прекращаю дело и торговлю – мне больше не нужно денег», ему хватило точь-в-точь по самый день смерти – он не оставил ни одной копейки.

Рижское взморье – это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком (разве в песочных часах такой песочек!) и дырявыми мостками в одну и две доски, перекинутыми через двадцативерстную дачную Сахару.

Дачный размах Рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостики, клумбы, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем, все на желтом, каким играют ребята, измолотом в пшеницу канареечном песке.

Латыши на задворках сушат и вялят камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу. Детский плач, фортепианные гаммы, стоны пациентов бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табль-д'отов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок, и по рельсовой подкове, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые «зайцами», прыгающими на ходу, от

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru немецкого чопорного Бильдерлингсгофа до скученного и пахнущего пеленками еврейского дуббельна. По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры: две трубы калачом, кларнет и тромбон – и, выдвывая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые, то здесь, то там раздражаются лошадиным маршем прекрасной Каролины.

Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В Майоренгофе, у немцев, играла музыка – симфонический оркестр в садовой раковине – «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду.

В дуббельне, у евреев, оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда.

Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желанье Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. Обрывки сильной скрипичной музыки я вылавливал в диком граммофоне дачной разноголосицы. Не помню, как воспиталось во мне это благоговенье к симфоническому оркестру, но думаю, что я верно понял Чайковского, угадав в нем особенное концертное чувство.

Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безвоьем, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке! Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару Дворянского собрания и тщедушному Скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон еще немым полукружием певцов и скрипичным лесом «Прометея», над которым высится, как щит, звукоприемник – странный стеклянный прибор.

Концерты Гофмана и Кубелика

В 1903 – 1904 году Петербург был свидетелем концертов большого стиля. Я говорю о диком, с тех пор не превзойденном безумьи великопостных концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании.

Никакие позднейшие музыкальные торжества, приходящие мне на память, ни даже первины скрябинского «Прометея» не идут в сравнение с этими великопостными оргиями в белоколонном зале. Доходило до ярости, до исступленья. Тут было не музыкальное любительство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой глубины, словно жажда действия, глухое предысторическое беспокойство, точившее тогдашний Петербург – еще не пробил 1905 год, – выливалось своеобразным, почти хлыстовским радением трабантов Михайловской площади. В туманном свете газовых фонарей многоподъездное дворянское здание подвергалось настоящей осаде. Гарцующие конные жандармы, внося в атмосферу площади дух гражданского беспокойства, цокали, покрикивали, цепью охраняя главное крыльцо. Проскальзывали на блестящий круг и строились во внушительный черный табор рессорные кареты с тусклыми фонарями. Извозчики не смели подавать к самому дому – им платили на ходу – и они улепетывали, спасаясь от гнева околоточных. Сквозь тройные цепи шел петербуржец лихорадочной мелкой плотвой в мраморную прорубь вестибюля, исчезая в горящий ледяной дом, оснащенный шелком и бархатом. Кресла и места за креслами наполнялись обычным порядком, но обширные хоры с боковых подъездов – пачками, как корзины человеческими гроздьями. Зал Дворянского собрания внутри широкий, коренастый и почти квадратный. Площадь эстрады охватывает чуть не добрую половину. На хорах июльская жара. В воздухе сплошной звон, как цикады над степью.

Кто такие были Гофман и Кубелик? – Прежде всего, в сознании тогдашнего петербуржца, они сливались в один образ. Как близнецы, они были одного роста и одной масти. Ростом ниже среднего, почти недомерки, волосы чернее вороньего крыла. У обоих был очень низкий лоб и очень маленькие руки. Оба сейчас мне представляются чем-то вроде премьеров труппы лилипутов. К Кубелику меня возили на поклон в «Европейскую» гостиницу, хотя я не играл на скрипке. Он жил настоящим принцем. Он тревожно взмахнул ручкой, испугавшись, что мальчик играет на скрипке, но сейчас же успокоился и подарил свой автограф, что от него и требовалось.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Вот когда эти два маленьких музыкальных полубога, два первых любовника театра лилипутов, должны были пробиться через ломившуюся под тяжестью толпы эстраду, мне становилось за них страшно. Начиналось как вольтовой искрой и порывом набегавшей грозы. Потом распорядители с трудом расчищали дорожку в толпе, и среди неопишемого рева со всех сторон навалившейся горячей человеческой массы, не кланяясь и не улыбаясь, почти трепеща, с каким-то злым выражением на лице, они пробивались к пюпитру и роялю. Это путешествие до сих пор кажется мне опасным: не могу отделаться от мысли, что толпа, не зная, что начать, была готова растерзать своих любимцев. Далее – эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью, от фрейлины до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, – всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука делали все, чтобы сковать и остудить разнузданную, своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слышал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояли, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса; я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные стены, свисавшую гроздьями с хоров, усеявшую рядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу. Такая сила была в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов.

Тенишевское училище

На Загородном, во дворе огромного доходного дома, с глухой стеной, издали видной боком, и шустовской вывеской, десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол. У всех был такой вид, будто их возили в Англию или Швейцарию и там приодели, совсем не по-русски, не по-гимназически, а на какой-то кембриджский лад.

Помню торжество: елейный батюшка в фиолетовой рясе, возбужденная публика школьного вернисажа, и вдруг все расступаются, шушукаются: приехал Витте. Про Витте все говорили, что у него золотой нос, и дети слепо этому верили и только на нос и смотрели. Однако нос был обыкновенный и с виду мясистый.

Что тогда говорилось, я не помню, но зато на Моховой, в собственном амфитеатре, с удобными депутатскими местами, на манер парламента, установился довольно разработанный ритуал, и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда и счастья образцовой школы. Неизбежно на этих собраниях, похожих на палату лордов с детьми, выступал старик, доктор-гигиенист Вирениус. Это был старик румяный, как ребенок с банки «Нестле». Он произносил ежегодно одну и ту же речь: о пользе плавания; так как дело происходило осенью и до следующего плавательного сезона оставалось месяцев десять, то его маневры и демонстрации представлялись неуместными; однако этот апостол плавания каждый год проповедовал свою религию на пороге зимы. Другой гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с ассирийской бородой, на уроках физиологии ходил от парты к парте, заставляя учеников слушать свое сердце через толстый бархатный жилет. Тикало не то сердце, не то золотые часы, но жилет был обязателен.

Амфитеатр с откидными партами, разбитый удобными дорожками на секторы, с сильным верхним светом, в большие дни брался с бою, и вся Моховая кипела, наводненная полицией и интеллигентской толпой.

Все это начало девятисотых годов.

Главным съемщиком тенишевской аудитории был Литературный фонд, цитадель радикализма, собственник сочинений Надсона. Литературный фонд по природе своей был поминальным учреждением: он читал. У него был точно разработанный годичный календарь, нечто вроде святцев, праздновались дни смерти и дни рождения, если не ошибаюсь: Некрасова, Надсона, Плещеева, Гаршина, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Апухтина, Никитина и прочих. Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника.

Начиналось обычно с того, что старик Исая Петрович Вейнберг, настоящий козел с пледом, читал неизменное: «Бесконечной пеленою развернулось предо мною, старый друг мой, море».

Затем выходил александрийский актер Самойлов и, бия себя в грудь, истощным голосом, закатываясь от крика и переходя в зловещий шопот, читал стихотворение

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Никитина «Хозяин».

Дальше следовал разговор дам, приятных во всех отношениях, из «Мертвых душ»; потом «Дедушка Мазай и зайцы» Некрасова или «Размышление у парадного подъезда»; Ведринская щebetала: «Я пришел к тебе с приветом», в заключение играли похоронный марш Шопена.

Это литература. Теперь гражданские выступления. Прежде всего заседания Юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем, где с тихим шипением разливался конституционный яд. Максим Ковалевский, подавляя внушительной фигурой, проповедовал оксфордскую законность. Когда кругом снимали головы, он произнес длиннейшую ученую речь о праве перлюстрации, то есть вскрытия почтовых писем, ссылаясь на Англию, допуская, ограничивая и урезывая это право. Гражданские служения совершались М. Ковалевским, Родичевым, Николаем Федоровичем Анненским, Батюшковым и Овсяннико-Куликовским.

Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и пахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.

От тяжелого, приторного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд.

На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: «O Tannenbaum, o Tannenbaum!» [7] Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков.

Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера Воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие.

Вот краткая портретная галерея моего класса: Ванюша Корсаков, по прозвищу Котлета (рыхлый немец, прическа в скобку, русская рубашечка с шелковым поясом, семейная земская традиция: Петрункевич, Родичев); Барац, – семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»), страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварцах и слюде; Леонид Зарубин – крупная углепромышленность Донского бассейна, сначала динамо-машины и аккумуляторы, потом – только Вагнер. Пржесецкий – из бедной шляхты, специалист по плевкам. Первый ученик Слободзинский – человек из сожженной Гоголем второй части «Мертвых душ», положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому; потом заведовал радиостанцией. Надеждин – разночинец: кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность, потому что нечего терять. Близнецы – братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревший для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы Революции!

Вот и теперь еще разные старые дамы и хорошие провинциалы, желая похвалить кого-нибудь, говорят: «Светлая личность», – а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского иначе нельзя сказать, как на языке того времени, и старомодная напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной. Только первые годы столетия мелькали фалды Острогорского по коридорам Тенишевского училища. Он был близорук, шурился, излучая глазами насмешливый свет, – весь большая обезьяна во фраке, золотушный, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него была именно чеховская невообразимая улыбка. Он не привился в двадцатом веке, хотя хотел в него попасть. Он любил Блока (а в какую рань!) и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru печатал его в своем «Образовании».

Он был никакой администратор, только шурился и улыбался и был очень рассеян; поговорить с ним удавалось редко. Всегда он отшучивался, даже там, где не нужно. «Какой у вас урок?» – «Геология». – «Сам ты геология». Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, держалось его улыбкой.

А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строю, чем в жизни взрослых.

Сергей Иваныч

Тысяча девятьсот пятый год – химера русской Революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине! Уже издали петербуржцы тебя чуяли, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях Военно-медицинской или в длиннейшем «jeu de raume»[8] меншиковского университета, когда рывкнет, бывало, как рассерженный лев, будущий оратор-армянин на тщедушного с.-р. или с.-д. и вытянут птичьей шеи те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился, миг, когда – раз, два, три – моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в крошечную ночь и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками, в приплюснутой студенческой фуражке.

Для меня девятьсот пятый год в Сергее Иваныче. Много их было, репетиторов революции. Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: «Есть люди-книжки и люди-газеты». Бедный Сергей Иваныч остался бы ни при чем при такой разбивке, для него пришлось бы создать третий раздел: есть люди-подстрочники. Подстрочники революции сыпались на него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове, он вытряхивал эфирно-легкую нелегалышину из обшлагов кавалерийской своей, цвета морской воды, тужурки, и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги.

Я не знаю, где и как Сергей Иваныч усваивал. Эта сторона его жизни для меня, по молодости лет, была закрыта. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию. Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу: писали реферат о причинах падения Римской империи. Сергей Иваныч залпами в одну неделю надиктовал мне сто тридцать пять убористых страниц клеенчатой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он выпрыдал, как паук, – из дымка папиросы, что ли, – липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иваныч привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Иваныча. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое, неизвестное вещество, с другим удельным весом и химическими свойствами. И неволью пришла мне на память неаполитанская собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему оказалось ненужным. Дома Сергей Иваныч признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иваныч диктовал, я косился на каменноугольное его белье; каково же я удивился, когда Сергей Иваныч объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерски и гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иваныч сибарит, или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергея Иваныча, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицом грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся.

Я думаю, что сам он был похож на шпика – от постоянных ли размышлений об этом предмете, по закону ли мимикрии, коим птицы и бабочки получают от скалы свой цвет и оперенье. Да, в Сергее Иваныче было нечто жандармское. Он был брезглив,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru он был брюзга, рассказывал, хрипя, генеральские анекдоты, со вкусом и отвращением выговаривал гражданские и военные звания первых пяти степеней. Невыспавшееся и помятое, как студенческий блин, лицо Сергея Иваныча выражало чисто жандармскую брюзгливость. Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.

Так, анекдот звучал в его устах почти теоремой. Генерал бракует по карточке все кушанья и заключает: «Какая гадость!» Студент, подслушав генерала, спрашивает у него все его чины и, получив ответ, заключает: «И только? – Какая гадость!»

Где-то в Седлеце или в Ровно Сергей Иваныч, должно быть нежным мальчиком, откололся от административно-полицейской скалы. Мелкие губернаторы западного края были у него в родне, и сам он, уже революционный репетитор и одержимый шоколадным бесом, сватался к губернаторской дочке, очевидно тоже безвозвратно отколовшейся. Конечно, Сергей Иваныч не был революционер. Да останется за ним кличка: репетитор революции. Как химера, он рассыпался при свете исторического дня. По мере приближенья девятьсот пятого года и часа сгущалась его таинственность и нарастал мрачный авторитет. Он должен был выявиться, должен был во что-нибудь разрешиться – ну хоть показать револьвер из боевой дружины или дать другое вещественное доказательство своего посвящения в революцию.

И вот, в самые тревожные девятьсот пятые дни, Сергей Иваныч становится опекуном сладко и безопасно перепуганных обывателей и, зажмурившись, как кот, от удовольствия, приносит достоверные сведения о неминуемом в такой-то день погроме петербургской интеллигенции. Как член дружины, он обещает прийти с браунингом, гарантируя полную безопасность.

Мне довелось его встретить много позже девятьсот пятого года: он вылинял окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты. Слабая тень прежней брюзгливости и авторитета. Оказалось, он устроился и служит ассистентом на Пулковской вышке в астрономической обсерватории.

Если бы Сергей Иваныч превратился в чистый логарифм звездных скоростей или функцию пространства, я бы не удивился: он должен был уйти из жизни, до того он был химера.

Юлий Матвейч

Пока Юлий Матвейч поднимался на пятый этаж, можно было несколько раз сбегать к швейцару и обратно. Его вели под руку с расстановками на площадках; в прихожей он останавливался и ждал, чтоб с него сняли шубу. Маленький, коротконогий, в стариковской шубе до пят, в тяжелой шапке, он пытел, пока его не освобождали от жарких бобров, и тогда садился на диван, протянув ножки, как ребенок. Появление его в доме означало или семейный совет, или замирение какой-нибудь домашней бучи. В конце концов, всякая семья государство. Он любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения; своей семье у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную.

Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке.

На вопрос Юлий Матвейч издавал странный грудного тембра неопределенный звук, как бы извлеченный из трубы неумелым музыкантом, и лишь издав свой предварительный звук, начинал речь неизменным своим оборотом: «Я же вам говорил» – или: «Я вам всегда говорил».

Бездетный, беспомощно-ластоногий Бисмарк чужой семьи, Юлий Матвейч внушал мне глубокое сострадание.

Он вырос среди южных помещиков-дельцов, между Бессарабией, Одессой и Ростовом.

Сколько подрядов исполнено, сколько виноградных имений и конских заводов продано с участием грека-нотариуса в паршивых номерах кишиневских и ростовских гостиниц!

Все они, и нотариус-грек, и помещик-жох, и губернский секретарь – молдаванин, накинув белые балахоны, тряслись в холерную жару в бричках, на линейках с

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru балдахином по трактам, по губернским мостовым. Там росла многоопытность и округлялись капитал, а с ним вместе и эпикурейство. Уже ручки и ножки отказывались служить и превращались в коротенькие ласты, и Юлий Матвейч, обедая с предводителем и подрядчиком в кишиневских и ростовских гостиницах, подзывал полового тем самым неопределенным трубным звуком, о котором упоминалось выше. Понемногу он превратился в настоящего еврейского генерала. Вылитый из чугуна, он мог бы служить памятником, но где и когда чугун передаст три бисмарковских волоска? Мировоззрение Юлия Матвейча сложилось в нечто мудрое и убедительное. Излюбленным его чтением были Меньшиков и Ренан.

Странное на первый взгляд сочетание, но, если вдуматься, даже для члена Государственного совета нельзя было придумать лучшего чтения. О Меньшикове он говорил «умная голова» и подымал сенаторскую ручку, а с Ренаном был согласен решительно во всем, что касалось христианства. Юлий Матвейч презирал смерть, ненавидел докторов и в назиданье любил рассказывать, как он вышел невредимым из холеры. В молодости он ездил в Париж, а лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже, ни за что не хотел идти ни в какой ресторан, а все искал какой-то «Кок-д'Ор», где его некогда хорошо накормили. Но «Кок-д'Ора» уже не было, оказался «Кок», да не тот, и нашли его еле-еле. Кушанье на карточке Юлий Матвейч принимался выбирать с видом гурмана, лакей не дышал в ожидании сложного и тонкого заказа, и тогда Юлий Матвейч разрешался чашкой бульона. Получить у Юлия Матвейча десять – пятнадцать рублей было дело нелегкое: он более часа проповедовал мудрость, эпикурейство и – «Я же вам говорил». Потом долго семеня по комнате, отыскивая ключи, хрипел и тыкался в потайные ящички.

Смерть Юлия Матвейча была ужасна. Он умер, как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего Бисмарка и позволил прибрать себя к рукам.

Умиравшего Юлия Матвейча выгнали из купеческого кабинета на Разъезжей и сняли ему комнатку в Лесном на маленькой дачке.

Небритый и страшный, он сидел с плевательницей и «Новым временем». Мертвые, синие щеки поросли грязной щетиной, в трясущейся руке он держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражался в пораженных катарактой темных зрачках. Прислуга поставила перед ним тарелку и сейчас же ушла, не спросив, чего ему нужно.

На похороны Юлия Матвейча съехалось чрезвычайно много почтенных и не знакомых друг с другом родственников, и племянник из Азовско-Донского банка семеня коротенькими ножками и покачивал тяжелой бисмаркской головой.

Эрфуртская программа

«Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк? – звучит у меня над ухом голос умнейшего В. В. Г. – Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми «Капитал» Маркса». Ну и взял, и обжегся, и бросил – вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? «Капитал» Маркса – что «Физика» Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку – вот в этом ее назначенье. Из личинки же родится мысль.

Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой «кэпстен», превращалась в анекдоты об американских трестах, как много истории билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!

Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самостоятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский Лицей.

Книжка «Весов» под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода, ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете и недурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь, напрасно тот призывает на помощь своих святителей – Чернова, Михайловского и даже... «Исторические письма» Лаврова. Все, что было мироощущеньем, жадно впитывалось. Повторяю: Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущенья, а Каутского уважали, и наряду с ним протопопа Аввакума, чье «Житие» в павленковском издании входило в

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
нашу российскую словесность.

Конечно, тут не без В. В. Г., формовщика душ и учителя для замечательных людей (только таких под рукой не оказалось). Но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!

Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи, рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накиннутый над бездной.

В тот год в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень, с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде, с Эрфуртской программой в руках, я, по духу, был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.

Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, – и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!

Семья Синани

Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рыжеволосый и весь какой-то узкий, узкий в плечах, с узким мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на англосаксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки и рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы: какая легкая кость! Но взглянув на лоб, скромно-высокий, подивился бы чуть раскосым, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выраженьи маленького, горько-самолюбивого рта. Движенья его, когда нужно, были крупны и размашисты, как у мальчика, играющего в бабки, в скульптуре Федора Толстого, но он избегал резких движений, сохраняя меткость и легкость для игры; походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь: на щеках и на подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу.

Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил вслед за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, к которым он себя готовил, к которым готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног и тонкая жердь предтечи должна была смениться жезлом пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уважением. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушеньем, – Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани – караимы-крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика: и новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru крымского чабана с Яйлы. Борис Синани, с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассуждения ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катаракту, скрывавшую, по его мнению, от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице, против гостиницы «Пале-Рояль». Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящего в выразительную примитивность, семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича, кончая маленькой горбуньей Леночкой. Никто без трепета не переступал порог этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не понравится, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем далеко не всегда ослепленный его личностью, и советник и наперсник тогдашних эсеровских цекистов.

С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверский, умный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался в курчавую редкую бороду, улыбка его была совсем детская и очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжайшим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, нахмутив густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхожденья, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги: мистика, глупость, истерия и хамство: с волками жить – по-волчьи выть.

Авторитет Михайловского, в кругу даже значительных людей того времени, был очевидно громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как яркий рационалист, в силу рокового противоречия, он сам нуждался в авторитете и невольно чтит авторитеты и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос, что скажет Николай Константинович: через некоторое время у Михайловского действительно собирався сенат «Русского богатства» и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уваженья к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош как оракул, но публицистика его – вода, и человек он не почтенный. Михайловского он, в конце концов, не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешехонова считал тряпкой. К Мякотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из этих он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цекиста, старика Натансона. Два-три раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас, детей, приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ: в доме был цекист.

Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье. Чуть-чуть хозяйничала горбатенькая девочка Лена; но такова была стройная воля в доме, что дом сам собой держался.

Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович: он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполненные мистики, истерии и всяческой патологии; он боролся с ними, разделялся, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм – и старик Синани сразу бы осунулся. Позитивизм хорош для рантье, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно. Борису Наумовичу нужны были жертвы во славу позитивизма. Он был Авраамом позитивизма и, не задумываясь, пожертвовал бы ему собственным сыном.

Однажды за чайным столом кто-то упомянул о состояньи после смерти, и Борис Наумович удивленно поднял брови: «Что такое? Помню я, что было до рожденья?»

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Ничего не помню, ничего не было. Ну и после смерти ничего не будет».

Его базаровщина переходила в древнегреческую простоту. И даже одноглазая кухарка заражена была общим строем.

Главной особенностью дома Синани было то, что я назвал бы эстетикой ума. Обычно позитивизму чуждо эстетическое любованье, бескорыстная гордость и радость умственных движений. Для этих же людей ум был одновременно радостью, здоровьем, спортом и почти религией. Между тем круг умственных интересов был весьма ограничен, поле зрения сужено, и, в сущности, жадный ум глодал скудную пищу: вечные споры с.-д. и с.-р., роль личности в истории, пресловутая гармоническая личность Михайловского, аграрная травля с.-д., – вот и весь небогатый круг. Скучая этой домашней мыслью, Борис зачитывался судебными речами Лассалю, чудесно построенными, прелестными и живыми, – это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот, в подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией ad hoc. Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени. Некоторые из них, произнесенные в пустоту, были прямо блестящи. Я сейчас помню, как Борис, мальчиком, на одной сходке забил и вогнал в пот старого опытного меньшевика Клейнборта, сотрудника толстых журналов. Клейнборт только отдувался и вопросительно оглядывался: умственное изящество спорщика, видимо, казалось ему неожиданным и новым орудием спора. Разумеется, все это лишь было демосфеновым камушком, но не дай бог никакой молодежи таких учителей, как Н. К. Михайловский! Что это за водолей! Что это за маниловщина! Пустопорожняя, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава, лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей.

По конституции дома тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной из «Войны и мира». Из посетителей розовой комнаты – их было очень немного – мне запомнилась некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. Будучи эллинисткой, она напечатала роман из жизни Юлия Цезаря на римском курорте Байи, причем Байи поразительно смахивали на Сестрорецк. (Наташа была здорово богата.)

В розовой комнате, как во всякой диванной, происходил сумбур. Из чего составлялся сумбур означенной диванной начала текущего века? Скверные открытия – аллегии Штука и Жукова, «открытие-сказка», словно выскочившая из Надсона, простоволосая, с закрученными руками, увеличенная углем на большом картоне. «Чтецы-декламаторы», всякие «Русские музы» с П. Я. Михайловым и Тарасовым, где мы добросовестно искали поэзии и все-таки иногда смущались. Очень много внимания Марку Твену и Джерому (самое лучшее и здоровое из всего нашего чтения).

Дребедень разных «Анатэм», «Шиповников» и сборников «Знания». Все вечера заgroundованы смутной памятью об усадьбе в Луге, где гости опять на полукруглых диванчиках в гостиной и орудут сразу шесть бедных теток. Затем еще дневники, автобиографические романы: не достаточно ли сумбура?

Родным человеком в доме Синани был покойный Семен Акимыч Анский, то пропадавший по еврейским делам в Могилеве, то заезжавший в Петербург, ночуя под Щедриным, без права жительства. Семен Акимыч Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым. В нем одном помещалась тысяча местечковых раввинов – по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч, анекдотов и т. д. В жизни Семену Акимычу нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча в неторопливых, чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимыч, еще не старик, дедовски состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества: губернаторы, торы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности в невероятной обстановке минских и могилевских сатрапий, начертанные как бы искусной гравировальной иглой. Все сохранил, все запомнил Семен Акимыч – Глеб Успенский из талмудторы. За скромным чайным столом, с мягкими библейскими движениями, склонив голову набок, он сидел, как еврейский апостол Петр на вечере. В доме, где все тыкались в истукана Михайловского и щелкали аграрный орех-крепкотук, Семен Акимыч казался нежной геморроидальной психеей.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновщиной и стишками из «Русского богатства». Блок уже прочтен, включая «Балаганчик», и отлично уживался с гражданскими мотивами и всей этой тарбарской поэзией. Он не был ей враждебен, ведь он сам из нее вышел. Толстые журналы разводили такую поэзию, что от нее уши вяли, а для чудаков, неудачников, молодых самоубийц, для поэтических подпольщиков, очень мало разнившихся от домашних лириков «Русского богатства» и «Вестника Европы», сохранялись преинтереснейшие лазейки.

На Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир, по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика «Поэт».

Гольдберг, обрюзглый буржуа, считал себя немецким поэтом и вступал со своими клиентами в следующее соглашение: он печатал их стихи безвозмездно в журнале «Поэт», а за это они должны были выслушивать его, Гольдберга, сочинения немецкую философскую поэму под названием «Парламент насекомых» – по-немецки, а в случае незнания языка – в русском переводе.

Всем своим клиентам Гольдберг говорил: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей. Составлять номера Гольдбергу помогал наемный юноша, небесно-поэтической наружности. Этот старый банкир-неудачник с шиллерообразным своим помощником (он же переводчик «Парламента насекомых» на русский язык) бескорыстно трудился над милым уродливым журналом. Толстым пальцем Гольдберга водила странная банкирская муза. Состоявший при нем Шиллер, видимо, его морочил. Впрочем, в Германии в хорошие времена Гольдберг отпечатал полное собрание своих сочинений и сам мне его показывал.

Как глубоко понимал Борис Синани сущность эсерства и до чего он его, внутренне, еще мальчиком перерос, доказывает одна пущенная им кличка: особый вид людей эсеровской масти мы называли «христосиками» – согласитесь, очень злая ирония. «Христосики» были русачки с нежными лицами, носители «идеи личности в истории», – и в самом деле многие из них походили на нестеровских Иисусов. Женщины их очень любили, и сами они легко воспламенялись. На политехнических балах в Лесном такой «христосик» отдувался и за Чайльд-Гарольда, и за Онегина, и за Печорина. Вообще революционная накипь времен моей молодости, невинная «периферия», вся кишела романами. Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем, и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те, и другие считали невозможным дышать без доблести. «Война и мир» продолжалась, – только слава переехала. Ведь не с семеновским же полковником Мином и не с свитскими же генералами в лакированных сапогах бутылками была слава! Слава была в ц. к., слава была в б. о., и подвиг начинался с пропагандистского искусства.

Поздняя осень в Финляндии, глухая дача в Райволе. Все заколочено, калитки забиты, псы волкодавы ворчат возле пустых дач. Осенние пальто и старенькие пледы. Жар керосиновой лампы на холодном балконе. Лисья мордочка молодого Т., живущего отраженной славой отца-ценкиста. Не хозяйка, а робкое, чахоточное существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По-одному из дачной темени подходят в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх не ходить. Проходя через кухню, заметил большую стриженую голову Гершуни.

«Война и мир» продолжается. Намокшие крылья славы бьются в стекло: и честолюбие, и та же жажда чести! Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица! Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клад. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея.

Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом перебежали странные токи – от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца. Только что мрачным зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов, и грязные, волосатые руки торговцев жизнью и смертью делали противным самое имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь! Литераторы в косоворотках и черных блузах торговали, как лабазники, и богом, и дьяволом, и не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из «Жизни человека», сделавшуюся символом мерзкого, уличного символизма. Слишком

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. Теперь ее тошнило мировыми
вопросами: та же самая философия от пивной бутылки!

Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы, коммунистических
манифестов и аграрных споров. Здесь были свой протопоп Аввакум, свое двоеперстие
(например, о безлошадных крестьянах). Здесь, в глубокой страстной расправе с.-р. и
с.-д., чувствовалось продолжение старинного раздора славянофилов и западников.

Эту жизнь, эту борьбу издавека благословляли столь разделенные между собой
Хомяков и Киреевский и патетический в своем западничестве Герцен, чья бурная
политическая мысль всегда будет звучать, как бетховенская соната.

Те не торговали смыслом жизни, но духовность была с ними, и в скудных партийных
полемиках было больше жизни и больше музыки, чем во всех писаниях Леонида
Андреева.

Комиссаржевская

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием
времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы
только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и
Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими
домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и
работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Разночинцу не
нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и
биография готова. Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и
хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров,
наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива.
Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рожденья, – а между
тем у ней было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет
косноязычье рожденья. Мы учились не говорить, а лепетать – и лишь прислушиваясь
к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

Революция – сама и жизнь, и смерть и терпеть не может, когда при ней судачат о
жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли
влаги из чужих рук. Природа – революция – вечная жажда, воспаленность (быть
может, она завидует векам, которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду,
отправляясь на овечий водопой. Для революции характерна эта боязнь, этот страх
получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам
бытия).

Но что сделали для нее эти «источники бытия»? Куда как равнодушно текли их
круглые волны! Для себя они текли, для себя соединялись в потоки, для себя
закипали в ключ! («Для меня, для меня, для меня», – говорит революция. «Сам по
себе, сам по себе, сам по себе», – отвечает мир.)

У Комиссаржевской была плоская спина курсистки, маленькая голова и созданный для
церковного пения голосок. Бравич был ассессор Брак, Комиссаржевская была Геддой.
Ходить и сидеть она скучала. Получалось, что она всегда стоит; бывало, подойдет
к синему фонарю окна профессорской гостиной Ибсена и долго-долго стоит,
показывая зрителям чуть сутулую, плоскую спину. В чем секрет обаянья
Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк? Почему Савина
рядом с ней казалась умирающей барыней, разомлевшей после Гостиного двора?

В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской
интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра. Недаром она
тянулась к Ибсену и дошла до высокой виртуозности в этой
протестантски-пристойной профессорской драме. Интеллигенция всегда не любила
театра и стремилась справить театральный культ как можно скромнее и пристойнее.
Комиссаржевская шла навстречу этому протестантизму в театре, но зашла слишком
далеко и вышла из пределов русского почти в европейский. Для начала она выкинула
всю театральную мишуру: и жар свечей, и красные грядки кресел, и атласные гнезда
лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна – чисто, как на яхте, и
голо, как в лютеранской кирке. Между тем у Комиссаржевской были все данные
большой трагической актрисы, но в зародыше. В отличие от всех тогдашних русских
актеров, да, пожалуй, и теперешних, Комиссаржевская была внутренне музыкальна,
она подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханьем словесного
строения; ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми
необходимыми скупыми движениями, и те были все наперечет, вроде заламыванья рук

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru над головой. Создавая театр Ибсена и Метерлинка, она нащупывала европейскую драму, искренне убежденная, что лучшего и большего Европа дать не может.

Румяные пироги Александрийского театра так мало походили на этот бестелесный, прозрачный мирок, где всегда был великий пост. Сам театрик Комиссаржевской был окружен атмосферой исключительно сектантской приверженности. Не думаю, чтобы отсюда раскрывалась какая-нибудь театральная дорога. Из маленькой Норвегии пришла к нам эта комнатная драма. Фотографы. Приват-доценты. Ассессоры. Смешная трагедия потерянной рукописи. Аптекарю из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства Гедды и Брака. Ибсен для Комиссаржевской был иностранной гостиницей, не больше. Комиссаржевская вырвалась из российского театрального быта, как из сумасшедшего дома, – она была свободна, но сердце театра останавливалось.

Когда Блок склонился над смертным ложем русского театра, он вспомнил и назвал Кармен, то есть то, от чего бесконечно далека была Комиссаржевская. Дни и часы ее маленького театра всегда были сочтены. Здесь дышали ложным и невозможным кислородом театрального чуда. Над театральным чудом зло посмеялся Блок в «Балаганчике», и Комиссаржевская, сыграв «Балаганчик», посмеялась над собой. Среди хрюканья и рева, нытья и декламации мужал и креп ее голос, родственный голосу Блока. Театр жил и будет жить человеческим голосом. Петрушка прижимает к небу медную створку, чтоб изменить голос. Лучше Петрушка, лучше Кармен и Аида, чем свиное рыло декламации.

«В не по чину барственной шубе»

К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах и подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотаньем и звоном цикад.

Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот.

Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек.

Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры-берлоги, из квартиры-пещеры с зеленой близорукой лампой и тахтой-колодой, с кабинетом, где скупо накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, – спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в не по чину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско-монгольское лицо.

Он не подозвал, а рывкнул извозчика таким властным морозным зыком, словно целая зимняя псарня с тройками, а не ватная лошаденка дожидалась его окрика.

Ночь. Злится литератор-разночинец в не по чину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец! Под пленкой вощеной бумаги к сочиненьям Леонтьева приложенный портрет: в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия? Зябнет и злится писатель-разночинец в не по чину барственной шубе.

Новгородцы и псковичи – вот так же сердились на своих иконах: ярусами, друг у друга на головах, стояли миряне, справа и слева, спорщики и ругатели, удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы на коротких шеях. Мясистые лица и жесткие бороды спорщиков, обращенные к событию с злобным удивлением. В них чудится мне прообраз литературной злости.

Как новгородцы злобно голосуют бородами на Страшном суде, так литература злится столетие и косится на событие – пламенным косоглазием разночинца и неудачника, злостью мирянина, разбуженного не вовремя, призванного, нет, лучше за волосья притянутого в свидетели-понятые на византийский суд истории.

Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль?

Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! Вот почему мне так любо гасить

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом? Развеселится ли на морозной некрасовской улице? Если настоящая – то да.

Вместо живых лиц вспоминать слепки голосов. Ослепнуть. Осязать и узнавать слухом. Печальный удел! Так входишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки.

А ведь то были не друзья, не близкие, а чужие, далекие люди! И все же лишь масками чужих голосов украшены пустые стены моего жилища. Вспоминать – идти одному обратно по руслу высохшей реки!

Первая литературная встреча непоправима. То был человек с пересохшим горлом. Давно выкипели фетовские соловьи: чужая барская затея. Предмет зависти. Лирика. «Конный или пеший», – «Рояль был весь раскрыт», – «И горящую солью нетленных речей».

Больные, воспаленные веки фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах. Пять–шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину; среди них большая рыба: «Бытие».

Ими нельзя было накормить голодное время, и пришлось выбросить из корзины весь пяток, и с ними большую дохлую рыбу: «Бытие».

Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипенье хороших русских стихов.

Рывкнувший извозчика был В. В. Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку – литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота?

Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочадцы ее: ну хотя бы разные пушкинианцы и пр. Потом узнал некоторых. До чего они пресны в сравнении с В. В.!

От прочих свидетелей литературы, ее понятых, он отличался именно этим злобным удивленьем. У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить.

Прийти к В. В. домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку «Весов» или «Северные цветы» «Скорпиона», отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве», товарищ Коневского и Добролюбова – воинственных молодых монахов раннего символизма.

Спячка В. В. была литературным протестом, как бы продолженьем программы старых «Весов» и «Скорпиона». Разбуженный, он топорщился, с недоброй усмешечкой расспрашивал о том, о другом. Но настоящий его разговор был простым перебиранием литературных имен и книг, с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью.

Он был мнителен и больше всех болезней боялся ангины, болезни, которая мешает говорить.

Между тем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончаньи слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и небным.

С легкой руки В. В. и поныне я мыслю ранний символизм как густые заросли этих «щ». «Надо мной орлы, орлы говорящие». И так, мой учитель отдавал предпочтение патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда В. В. вздумалось прочесть детям «Жар-птицу» фета – «На суку извилистом и чудном»: словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящий змей. Спячка В. В. меня пугала и притягивала.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Неужели литература – медведь, сосущий свою лапу, – тяжелый сон после службы на кабинетной тахте?

Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю «русского языка». Вся соль заключалась именно в хождении «на дом», и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках.

Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуваженьем, кровной несправедливостью, как водится в семье.

Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдается мне, сам превратился в зырянского божка. В. В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В. В. Г.) злости.

Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал.

Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном некрахмальном воротничке беспокойны движенья короткой шеи, подверженной ангине. Из гортани рвутся шипящие, клокочущие звуки: воинственные «щ», «и», «г».

Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа.

Кстати, в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики: «Как поживаете, Иван Иванович?» – «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу».

В. В. любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались: пламень – камень, любовь – кровь, плоть – господь.

Словарем его бессознательно управляли два слова: «бытие» и «пламень». Если бы дать ему пестовать всю российскую речь, думаю не шутя, неосторожно обращаясь, он сжег бы, загубил весь русский словарь во славу «бытия» и «пламени».

Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба: «Спой, Мери», мучительная просьба позднего пира.

Но не менее красавицы, поющей пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне.

Если мне померещился Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них.

Ему бы крикнуть: «Эх, хорошо, славный у нас век!» – вроде как: «Сухой выдался денек!» Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути.

Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – разбившийся, конченный, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство «непомерной стужи», спявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность – как печь, пышущая льдом.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
И, в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподымаю пленку вошеной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература – зверь. Скорняк – ночь и зима.

Феодосия

Начальник порта

Белый накрахмаленный китель – наследье старого режима – чудесно молодил его и мирил с самим собой: свежесть гимназиста и бодрость начальника – сочетание, которое он ценил в себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго накрахмаленным географическим китем. За Перекопом начиналась ночь. Там, за солончаками, уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации, и там невозможно была эта походка, упругая, как после купанья, – это постоянное возбуждение: смешанное чувство хорошо купленной валюты, ясной государственной службы и, в сорок лет, ощущение удачно выдержанного экзамена.

Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного несессера с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток: помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменникам и пшеничникам, ни одной тонны отправителям зерна – ни самому Рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня – выскочке, легендарному Каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на Марсель, ни пшеничному Лившицу, сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнерам, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу и отец от счастья подружился с сыном.

Каждый из грязных пароходов, с запахом кухни и сои, с мулатской прислужкой и жарко натопленной, как международное купе, но более похожей на каморку богатого швейцара капитанской каютой увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими.

Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли.

Когда начальник порта шел по тенистой в корне, любезной старожилам Итальянской улице, его поминутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив набок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен.

Некоторых избранных он приветствовал, как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек.

Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-ост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинзбурги, Ландсберги и проч. пили чай с белой еврейской булкой «халой». Ночные сторожа-татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пэаном, с некоторыми нецензурными выражениями, которые опускались днем по настоянию местного раввина.

Тогда, в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне, в качестве ночного убежища, управление порта.

Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно-враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу с крытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках.

Чтоб понять, чем была Феодосия при Деникине – Врангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок – делать вид, что ничего не переменялось, а осталось совсем, совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорее на нежную Флоренцию. В обсерватории, у начальника Сарандинаки, не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка – Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появился на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, – город охватывало как бы античное умиление и купцы выбегали из лавок.

Спору нет – мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничьей средиземной республики шестнадцатого века. Но аттической Феодосии нелегко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов.

Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка в пробковом тропическом шлеме, человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечал на дерзкие ее выходы нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды: «малым» и «большим восходом». Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Эта отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой.

Александр Александрович просыпался с первым пароходом. Два служителя, вестовые в белой парусине, вышколенные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел-де и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский пароход. Александр Александрович открывал крошечные глазки и, хотя он ничего не мог изменить в прибытии парохода, говорил: «А, хорошо, очень хорошо!» Тогда пароход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря из спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, в коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, домовито мусолящей гнездо – до поры до времени. И не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом, по инстинкту отца и семьянина; как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть бессознательно, с первой минуты.

Старухина птица

Если пройти всю Итальянскую, за последним комиссионным магазином, минуя заглошную галерею Гостиного двора, где раньше был ковровый торг, позади французского домика в плюще и с жалюзи, где в мягкой гостиной с голоду умерла теософка Анна Михайловна, дорога забирает вверх к Карантинной слободке.

С января пошла неслышанно жестокая зима. По льду замерзшего Перекопа возили тяжелую артиллерию. В кофейне, рядом с «Асторией», английские солдаты – «бобби» – устроили грельню. Кружком сидели у жаровни, грели большие красные руки, пели шотландские песни и мешали в тесноте деликатным хозяевам жарить яичницу и варить кофе. Теплый и кроткий овечий город превратился в ад. Почетный городской сумасшедший, веселый чернобородый караим, уже не бегал больше по улицам со свитой мальчишек.

Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься то на обмерзшую веревку, то на жесткий кизилевый куст. Жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами. Городок, где днем идешь, как по мертвому римскому плану, а ночью, в непроломном мраке, готов постучать к

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru любой мещанке, лишь бы укрыла от злых собак и пустила к самовару. Карантинная слободка жила заботой о воде. Как зеницу ока она берегла свою обледеневшую водокачку. Крикливое женское вече не умолкало на крутом пригорке, где ручьи туго нагнетаемой воды не успевали замерзнуть, а чтобы ведра, налитые всклянь, не расплескались на подъеме, бабы поплавками щепок припечатывали студеному грузу.

Идиллия Карантина длилась несколько дней. В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. Как и все карантинные хозяйки, старушка жила в предсмертной, праздничной чистоте. Домишко свой она не просто прибрала, а обрядила. В сенях стоял крошечный рукомойник, но до того скупой, что не было ни малейшей возможности выдоить его до конца. Пахло хлебом, керосиновым перегаром, матовой детской лампы и чистым старческим дыханьем. Крупно тикали часы. Крупной солью сыпались на двор зимние звезды. И я был рад, что в комнате надышано, что кто-то возится за стенкой, приготавливая обед из картошки, лукавицы и горсточки риса. Старушка жильца держала, как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик.

Когда Деникин отступал от Курска, командование согнало железнодорожников, их посадили с семьями в теплушки, и не успели они опомниться, как покатались к Черному морю. Теперь железнодорожные куряне, снятые с теплого наместа, расселились на Карантине, обжились, кирпичом начистили кастрюли, но удивленье их все еще продолжалось. Старуха без суеверного ужаса не могла говорить о том, как их «сняли с Курска», но разговору о том, что их повезут обратно, не было, так как бесповоротно считалось, что сюда их привезли умирать.

Если выйти на двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешенной на густом собачьем лае и посоленной звездами, – физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы – тридцатилетней войны, с моровой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей.

Бармы закона

Уплотнившееся дыханье капельками опускалось на желтые банные стены. Крошечные черные чашечки, охраняемые запотевшими стаканами железистой крымской воды, были расставлены приманками для красных хоботков караимских и греческих губ. Там, где садились двое, сейчас же подсаживался третий, а за плечами у третьего, подозрительно и как будто ни при чем, становилось еще двое. Центрики расплялись и рассасывались, управляемые своеобразным законом мушиного тяготенья: люди облепляли невидимый центр, с жужжаньем повиснув над кусочком незримого сахара, и с злобной песнью шарахались от несостоявшейся сделки.

Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатленье русской осени в лавке мелочного торговца.

Между тем город над мушиными свадьбами и жаровнями жил большими и чистыми линиями. От Митридата, то есть древнеперсидского кремля на горе театрально-картонного камня, до линейной стрелы мола и к сурово-подлинной декорации шоссе, тюрьмы и базара, – он натягивал воздушные фланги журавлиного треугольника, предлагая мирное посредничество и земле, и небу, и морю. Подобно большинству южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей разверсткой, голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов.

Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим электричеством здоровья и молодости. На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей, с детскими наглыми и опасно пустыми карими глазами, был лишь курортом, где они проходили курс леченья, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим.

Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, – орла Добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru сумасшедшую гадалку. Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-сороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводяря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или Дома ученых.

Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии. Такой человек, кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: «Голубчик, бросьте, пойдёмте лучше ко мне – поговорим!» Цыгальский ходил к юнкерам читать артиллерийскую науку, как студент на урок.

Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи. Там было неловкое выражение: «Мне все равно, с царем или без трону», и еще пожеланья о том, какой нужна ему Россия: «Увенчанная бармами закона», и прочее, напомилавшее мне почерневшую от дождя Фемиду на петербургском Сенате. «Чьи это стихи?» – «Мои».

Тогда он открыл мне сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени Сената. По дикому этому пространству, где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции.

Полковник – нянька с бармами закона!

Мазеса да Винчи

Когда фаэтон с плюшевыми медальонами пустых сидений или одноконная линейка с свадебно-розовым балдахином пробивались в раскаленную глушь верхнего города – града копыт хватало на четыре квартала. Лошадь, подметая ногами искры, с такой силой обивала горячие камни, что казалось, в них должна была образоваться лестница.

Здесь было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды. Человек в сандалиях и зеленых носках, ошеломленный явленьем гремучего экипажа, долго глядел ему вслед. На лице его было написано изумленье, словно везли в гору еще не бывший в употреблении рычаг Архимеда. Затем он подошел к торговке, которая сидела в своей квартире и торговала прямо из окна, превратив его в прилавок. Постучав по арбузу цыганским серебряным перстнем, он попросил отрезать ему половину. Но, дойдя до угла, вернулся, обменял арбуз на две самодельные папирсы и быстро удалился.

В верхнем городе дома, несколько казарменного и даже бастионного характера, дают приятное впечатление прочности, а также естественного, равного человеческой жизни, возраста. Оставляя в стороне археологию и не очень отдаленную старину, все они впервые сделали городской эту шершавую землю.

Дом родителей художника Мазеса да Винчи стыдливо повернулся к каменоломне хозяйственным и оживленным тылом. Засаленные библейские перины валялись на солнцепеке. Кролики таяли стерилизованным пухом, то перебежали, то расплывались, как пролитое молоко. И, не слишком далеко, не слишком близко, там, где ей нужно, стояла гостеприимная будка с распахнутой дверью. На кривых шпагатовых ряях пузырилась большая стирка. Добродетельная армада шла под воинственными материнскими парусами, но крыло, принадлежащее Мазесе, поражало яркостью и богатством оснастки: черные и малиновые косоворотки, шелковая ночная рубашка до пят, какие носят новобрачные и ангелы, одна зефирная, одна бетховенская – разумеется, я говорю только о рубашках – и одна фрачная, с длинными, обезьяньими руками, получившая в домашней переделке цветные манжеты.

Белье на юге сохнет недолго; Мазеса прошел прямо на двор, приказал все это снять и немедленно выгладить.

Имя свое он избрал сам и на вопросы любопытствующих лишь неохотно объяснил, что ему нравится фамилия да Винчи. В первой же половине своего прозвища – Мазеса – он сохранил кровную связь с родом: отец его, маленький, очень приличный человек,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru возил мануфактуру в Керчь на моторном паруснике, не страшась морской болезни, и звали его просто господином Мазеса. Таким образом, Мазеса, прибавив женское окончание, превратил родовое прозвище в личное имя.

Кому неведом корабельный хаос мастерской славного Леонардо? Предметы кружились вихрем в трех измерениях гениальной рабочей комнаты, голуби, проникая в слуховое окошечко, пачкали пометом драгоценную парчу, и в вещи слепоте мастер наткнулся на скромные предметы быта времен Возрождения. Мазеса унаследовал от невольного своего восприемника плодотворное буйство трех измерений, и спальня его уподоблялась плывущему ренессансному кораблю.

С потолка свешивалась большая люлька – корзина, в которой Мазеса любил отдыхать днем. Легкие хлопья перинного пуха нежились в густой, благородной черноте. Лестница, занесенная в комнату упрямой прихотью Мазесы, приставлена была к антресолям, где среди прочего инвентаря выделялась арматура тяжелых бронзовых ламп, во времена деда Мазесы висевшая в караимской молельне. Из кратера фарфоровой чернильницы с грустными синагогальными львами торчали бородатые, расщепленные, много лет не знавшие чернил перья. На полке, под бархатной занавеской, библиотека: испанская Библия, словарь Макарова, «Соборяне» Лескова, энтомология фабра и путеводитель Бедекера по Парижу. На ночном столике, рядом с конвертом старого письма из Аргентины, микроскоп создавал ложное впечатление, что Мазеса глядится в него по утрам, просыпаясь. В крошечном городе, захваченном кондотьерами Врангеля, Мазеса был совершенно незаметен и счастлив. Он гулял, ел фрукты и купался в бесплатной купальне, мечтал купить белые туфли на резиновой подошве, полученные в Центросоюзе. Отношения его с людьми и со всем миром строились на неопределенности и сладкой недоговоренности.

Он спускался с горы, выбирал в городе жертву, прилеплялся к ней на два, на три, а то и на шесть часов и, рано или поздно, зигзагами раскаленных улиц приводил ее к себе домой. Таким образом действуя, как тарантул, он исполнял какой-то темный, лично ему свойственный инстинктивный акт. Всем он говорил одно и то же: «Идемте ко мне, у нас каменный дом!» Но в каменном доме было то же, что и в других: перины, сердоликовые камушки, фотографии и вязаные салфетки.

Мазеса рисовал только автопортреты, да еще специально писал этюды с адова яблока.

Когда вещи были выглажены, Мазеса стал собираться к вечернему выходу. Он не умывался, но горячо окунулся в серебряное девичье зеркало. Зрачки его потемнели. Круглые женские плечи вздрагивали.

Белые брюки-теннис, бетховенская рубашка и спортивный пояс не удовлетворили его. Он вынул из шкапа визитку и в полном вечернем туалете – безупречном от сандалий до тюбетейки – с черными шевиотовыми ластами на белых ляжках вышел на улицу, уже омытую козьим молоком феодосийской луны.

Египетская марка
Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба архангела.

I
Прислуга-полька ушла в костел Гваренги – посплетничать и помолиться Матке Божьей.

Ночью снился китаец, обвешанный дамскими сумочками, как ожерельем из рябчиков, и американская дуэль-кукушка, состоящая в том, что противники бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты.

Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось. Тридцать лет прошли как медленный пожар. Тридцать лет лизало холодное белое пламя спинки зеркал с ярлычками судебного пристава.

Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей? Наглядная вечность столовой, спальни, кабинета. Чем загладить свою вину? Хочешь Валгаллу: Кокоревские склады. Туда на хранение! Уже артельщики, приплясывая в ужасе, поднимают кабинетный

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
рояль миньон, как черный лакированный метеор, упавший с неба. Рогожи стелются как ризы. Трюмо плывет боком по лестнице, маневрируя на площадках во весь свой пальмовый рост.

С вечера Парнок повесил визитку на спинку венского стула: за ночь она должна была отдохнуть в плечах и в проймах, выспаться бодрым шевиотовым сном. Кто знает, быть может, визитка на венской дуге кувыркается, омолаживается, одним словом, играет?.. Беспозвоночная подруга молодых людей скучает по зеркальному триптиху у бельэтажного портного.. Простой мешок на примерке – не то рыцарские латы, не то сомнительную безрукавку – портной-художник исчертил пифагоровым мелком и вдохнул в нее жизнь и плавность:

– Иди, красавица, и живи! Щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся!

– Ах, Мервис, Мервис, что ты наделал! Зачем лишил Парнока земной оболочки, зачем разлучил его с милой сестрой?

– Спит?

– Спит!.. Шаромыжник, на него электрической лампочки жалко!

Последние зернышки кофе исчезли в кратере мельницы-шарманки.

Умыкание состоялось.

Мервис похитил ее, как сабинянку.

Мы считаем на годы; на самом же деле в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия.

Домоправительство всегда грандиозно. Сроки жизни необъятны: от постижения готической немецкой азбуки до золотого сала университетских пирожков.

Самолюбивый и обидчивый бензиновый дух и жирный запах добряка керосина стерегут квартиру, уязвимую с кухни, куда врываются дворники с катапультами дров. Пыльные тряпки и щетки разогревают ее белую кровь.

Вначале был верстак и карта полушарий Ильина.

Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага. Тыча в океаны и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту.

Уважение к ильинской карте осталось в крови Парнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охряные полушария, как два большие мяча, затянутые в сетку широт, уполномочены на свою наглядную миссию раскаленной канцелярией самих недр земного шара и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние.

Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту, меряет океан его металлическим тембром, проверяет неопытный пульс машин пироскафа руладами и тремоло...

На сетчатке ее зрачков опрокидываются те же две Америки, как два зеленых ягдташа с Вашингтоном и Амазонкой. Она обновляет географическую карту соленым морским первопутком, гадая на долларах и русских сотенных с их зимним хрустом.

Пятидесятые годы ее обманули. Никакое be1 canto их не скрасит. То же, повсюду низкое, суконно-потолочное небо, те же задымленные кабинеты для чтения, те же приспущенные в сердцевине века древки «Таймсов» и «Ведомостей». И наконец, Россия...

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandelstamjoseph.ru
Защекочут ей маленькие уши: «Крещатик», «щастие» и «щавель». Будет ей рот
раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы».

А потом кавалергарды слетятся на отпеванье в костел Гваренги. Золотые
птички-стервятники расклюют римско-католическую певунью.

Как высоко ее положили! Разве это смерть? Смерть и пикнуть не смеет в
присутствии дипломатического корпуса.

– Мы ее плюмажами, жандармами, Моцартом!

Тут промелькнули в мозгу его горячечные образы романов Бальзака и Стендаля:
молодые люди, завоевывающие Париж и носовым платком обмахивающие туфли у входа в
особняки, – и он отправился отбивать визитку.

Портной Мервис жил на Монетной, возле самого Лицея, но шил ли он на лицеистов,
был большой вопрос; это скорее подразумевалось, как то, что рыбак на Рейне ловит
форелей, а не какую-нибудь дрянь. По всему было видно, что в голове у Мервиса
совсем не портняжное дело, а нечто более важное. Недаром издалека к нему
слетались родственники, а заказчик пятился, ошеломленный и раскаявшийся.

– Кто же даст моим детям булочку с маслом? – сказал Мервис и сделал рукой
движение, как бы выковыривающее масло, и в птичьем воздухе портновской квартиры
Парноку привиделось не только сливочное масло «звездочка», гофрированное
слезящимися лепестками, но даже пучки редиски. Затем Мервис искусно перевел
разговор на адвоката Грузенберга, который заказал ему в январе сенаторский
мундир, приплел зачем-то сына Арона, ученика консерватории, запутался,
затрепыхался и юркнул за перегородку.

«Что же, – подумал Парнок, – может, так и нужно, может, той визитки уже нет,
может, он в самом деле ее продал, как говорит, чтобы заплатить за шевиот».

К тому же, если вспомнить, Мервис не чувствует края визитки – он сбивается на
сюрик, очевидно более ему знакомый.

У Люсьена де Рюампре было грубое холщовое белье и неуклюжая пара, пошитая
деревенским портным; он ел каштаны на улице и боялся консьержек. Однажды он
брился в счастливый для себя день и будущее родилось из мыльной пены.

Парнок стоял один, забытый портным Мервисом и его семейством. Взгляд его упал на
перегородку, за которой гудело тягучим еврейским медом женское контральто. Эта
перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный
иконостас.

Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого какие-то господа,
похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты и, не
обращая внимания на удивленного кучера в митрополичьей шапке, собирались
швырнуть в подъезд. Рядом старомодный пилот девятнадцатого века – Сантос Дюмон в
двубортном пиджаке с брелоками, – выброшенный игрой стихий из корзины воздушного
шара, висел на веревке, озираясь на парящего кондора. Дальше изображены были
голландцы на ходулях, журавлиным маршем пробегающие свою маленькую страну.

II

Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь
разнообразны. Они освящены давностью, морской зеленью неба и Невой. Их бы можно
отметить на плане города крестиками посреди тяжелорунных садов и картонажных
улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда
температура эпохи вскочила на тридцать семь и три и жизнь пронеслась по
обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по белому Невскому, они
были наперечет:

Во-первых, ампирный павильон в Инженерном саду, куда даже совестно было
заглянуть постороннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть
вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию; во-вторых, фиванские
сфинксы напротив здания Университета; в-третьих – невзрачная арка в устье
Галерной улицы, даже неспособная дать приют от дождя; в-четвертых – одна боковая

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru дорожка в Летнем саду, положение которой я запомнил, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и все. Только сумасшедшие набивались на randevу у Медного всадника или у Александровской колонны.

Жил в Петербурге человек в лакированных туфлях, презираемый швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной он выбегал на улицу и топтал по непросохшим тротуарам овечьими копытцами.

Ему хотелось поступить драгоманом в министерство иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум.

В феврале он запомнил такое событие:

По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически-цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаявшей земли.

Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки.

– Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, – со страшным скандалом, позорно выведут – возьмут под руки и фьють – из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона мадам Переплетник – неизвестно откуда, – но выведут, ославят, осрамят...

У него были ложные воспоминания: например, он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Все гроздь лампочек и пачки свеч с хрустальными сосульками вспыхнули сразу мертвым пчельником. Электричество хлынуло таким страшным белым потоком, что стало больно глазам, и он заплакал.

Милый, слепой, эгоистический свет.

Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым. А береза – с лимонно-желтой древесиной. На вес – не тяжелее мерзлой рыбы. Он ощущал полено как живое в руке.

С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выпрленном птичьим языке исключительно о высоких материях.

Шапиро звали «Николай Давыдыч». Откуда взялся «Николай», неизвестно, но сочетание его с «Давидом» нас пленило. Мне представлялось, что Давыдович, то есть сам Шапиро, кланяется, вобрав голову в плечи, какому-то Николаю и просит у него взаймы.

Шапиро зависел от моего отца. Он подолгу сживал в нелепом кабинете с копировальной машиной и креслом «стиль рюсс». О Шапиро говорилось, что он честен и «маленький человек». Я почему-то был уверен, что «маленькие люди» никогда не тратят больше трех рублей и живут обязательно на Песках. Большеголовый Николай Давыдыч был шершавым и добрым гостем, беспрестанно потирающим руки, виновато улыбающимся, как посыльный, допущенный в комнаты. От него пахло портным и утюгом.

Я твердо знал, что Шапиро честен, и, радуясь этому, втайне желал, чтобы никто не смел быть честным, кроме него. Ниже Шапиро на социальной лестнице стояли одни «артельщики» – эти таинственные скороходы, которых посылают в банк и к Каплану. От Шапиро через артельщиков шли нити в банк и к Каплану.

Я любил Шапиро за то, что ему был нужен мой отец. Пески, где он жил, были Сахарой, окружающей белошвейную мастерскую его жены. У меня кружилась голова при мысли, что есть люди, зависимые от Шапиро. Я боялся, что на Песках поднимется смерч и подхватит его жену-белошвейку с единственной мастерицей и детей с нарывами в горле, как перышко, как три рубля...

Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой, при свете голубой финолинки, я не знал, что делать с Шапиро: подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на Песках, или же повести его вместе с мученицей – мадам Шапиро – в Казанский собор, где продырявленный воздух черен и сладок.

Есть темная, с детства идущая, геральдика нравственных понятий: шварк раздираемого полотна может означать честность и холод мадаполама – святость.

А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксафоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на темя ледяным миром, и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробежал по его сухой коже и – матушка, пожалей своего сына – забирался под воротник.

– Не горячо? – спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника.

И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согрелась мгновенно.

Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман.

На бумаге верже, государи мои, на английской бумаге верже, с водяными отеками и рваными краями, извещал он ничего не подозревающую даму о том, что пространство между Миллионной, Адмиралтейством и Летним садом им заново отшлифовано и приведено в полную боевую готовность, как бриллиантовый карат.

На такой бумаге, читатель, могли бы переписываться кариатиды Эрмитажа, выражая друг другу соболезнование или уважение.

Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опаснее инфлуэнцы и к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котильонного значка. Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми и в тридцать лет еще на кого-то обижаются, с кого-то взыскивают. Никто их никогда особенно не баловал, но они развращены, будто весь век получали академический паек с сардинками и шоколадом. Это путаники, знающие одни шахматные ходы, но все-таки лезущие в игру, чтоб посмотреть, как оно выйдет. Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче у хороших знакомых, слушая звон чашек на балконе, вокруг самовара, поставленного шишками, разговаривая с продавцами раков и почтальоном. Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде.

Парнок был человеком Каменноостровского проспекта – одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В семнадцатом же году, после февральских дней, улица эта еще более полегчала, с ее паровыми прачешными, грузинскими лавочками, продающими исчезающее какао, и шальными автомобилями Временного правительства.

Ни вправо, ни влево не подавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки.

III

– Николай Александрович, отец Бруни! – окликнул Парнок безбородого священника-костромича, видимо еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе. – Отец Николай Александрович, проводите меня!

Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок считал его в некотором роде дамой.

Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство.

Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты, с бантами.

Но уже волновались айсоры – чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы.

Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий горизонт, за идейную терпимость. Люблю, грешный человек, жужжание бормашины – этой бедной земной сестры аэроплана, – тоже сверлящего борчиком лазурь.

Девушки застыдились отца Бруни; молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а Парнок, прикрываясь авторитетом отделенной от государства церкви, препирался с хозяйкой.

То было страшное время: портные отбирали визитки, а прачки глумились над молодыми людьми, потерявшими записку.

Жареный мокко в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной матроны.

Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрал в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефирный и батистовый вздор. Они куролесили зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водевильные мелочи разбросанной пеной по длинным столам ждали очереди. Утюги в красных девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали.

Парнок узнал свою рубашку: она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная, наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цвета спелой черешни.

– Девушки, – чья это?

– Ротмистра Кржижановского, – ответили девушки лживым, бессовестным хором.

– Батюшка, – обратилась хозяйка к священнику, который стоял, как власть имущий, в сытом тумане прачечной, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку.
– Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияйте на них! Я даже в Варшаве такого не видела. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой... Лезут ночью с заднего хода, словно я ксендз или акушерка... Я не варьятка, чтобы отдавать им белье ротмистра Кржижановского. То не жандарм, а настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и на руках теперь носят!

На это ничего нельзя было возразить, и отец Бруни умоляюще посмотрел на Парнока.

А я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворешни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутану дирижирующего аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с Петербургской стороны, а удивленными кружочками «Концерта» в Палаццо Питти.

IV

Зубной врач повесил хобот бормашины и подошел к окну.

– Ого-го... Поглядите-ка!

По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. Посередине ее сохранилось свободное место в виде карэ. Но в этой отдушине, сквозь которую просвечивали шахматы торцов, был свой порядок, своя система: там выступали пять-шесть человек, как бы распорядители всего шествия. Они шли походкой адъютантов. Между ними – чьи-то ватные плечи и перхотный воротник. Маткой этого странного улья был тот, кого бережно подталкивали, осторожно направляли, охраняли, как жемчужину, адъютанты.

Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши.

Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши.

«Все эти люди – продавцы щеток», – успел подумать Парнок.

Где-то между Сенной и Мучным переулком, в москательном и кожевенном мраке, в диком питомнике перхоти, клопов и оттопыренных ушей, зародилась эта странная кутерьма, распространявшая тошноту и заразу.

«Они воняют кишечными пузырями», – подумал Парнок, и почему-то вспомнилось страшное слово «требуха». И его слегка затошнило как бы от воспоминания о том, что на днях старушка в лавке спрашивала при нем «легкие», – на самом же деле от страшного порядка, сковавшего толпу.

Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег фонтанки к живорыбному садку отвечали решительно все. Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника, который ценился дороже соболя и куницы, как его самого взяли бы в переделку, под подозрение, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое карэ. Тут работал бондарь – страх.

Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок, как шииты в день Шахсе-Вахсе, неумолимо продвигались к фонтанке.

И Парнок кубарем скатился по щербатой бесшвейцарной лестнице, оставив недоуменного дантиста перед повисшей, как усыпленная кобра, бормашиной, вместо всяких мыслей повторяя:

– Пуговицы делаются из крови животных!

Время, робкая хризалида, обсыпанная мукой капустница, молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, – лучше бы ты не глядела!

Не Анатоля Франса хороним в страусовом катафалке, высоком, как тополь, как разъезжающая ночью пирамида для починки трамвайных столбов, а ведем топить на фонтанку, с живорыбного садка, одного человечка, за американские часы, за часы белого кондукторского серебра, за лотерейные часы.

Погулял ты, человечек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человечек, – и довольно!

Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок.

– Есть у вас телефон? Нужно предупредить милицию!

Но какой может быть телефон у бедного еврея-часовщика с Гороховой? Вот дочки у него есть – грустные, как марципанные куклы, и геморрой есть, и чай с лимоном, и долги есть, а телефона нет.

Наскоро приготовив коктейль из Рембрандта, козлиной испанской живописи и лепета цикад и даже не пригубив этого напитка, Парнок помчался дальше.

Бочком по тротуару, опережая солидную процессию самосуда, он забежал в одну из зеркальных лавок, которые, как известно, все сосредоточены на Гороховой. Зеркала перебрасывались отражениями домов, похожих на буфеты, замороженные кусочки улицы, кишевшие тараканьей толпой, казались в них еще страшней и мохнатей.

Подозрительный чех-зеркальщик, сберегая свою фирму, незапятнанную с тысяча восемьсот восемьдесят первого года, захлопнул перед ним дверь.

На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафабранными усами. Он был в солдатской шинели, но при шашке и развязно шептал своей даме конногвардейские нежности.

Парнок бросился к нему, как к лучшему другу, умоляя обнажить оружие.

– Я уважаю момент, – холодно произнес колченогий ротмистр, – но, извините, я с

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
дамой, – и, ловко подхватив свою спутницу, брякнул шпорами и скрылся в кафэ.

Парнок бежал, пристукивая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель.
Больше всего на свете он боялся навлечь на себя немилость толпы.

Есть люди, почему-то неугодные толпе; она отмечает их сразу, язвит и щелкает по носу. Их недолюбливают дети, о́ни не нравятся женщинам.

Парнок был из их числа.

Товарищи в школе дразнили его «овцой», «лакированным копытом», «египетской маркой» и другими обидными именами. Мальчишки ни с того ни с сего распустили о нем слух, что он «пятновыводчик», то есть знает особый состав от масляных, чернильных и прочих пятен, и, нарочно, выкрадывая у матери безобразную ветошь, несли ее в класс, с невинным видом предлагая Парноку «вывести пятнышко».

Вот и Фонтанка – Ундина барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями; река – покровительница плюгавого Малого театра – с его облезлой, лысой, похожей на ведьму, надушенную пачулями, Мельпоменой.

Что же! Египетский мост и не нюхал Египта, и ни один порядочный человек в глаза не видал Калинкина!

Несметная, невесть откуда налетевшая человекья саранча вычернила берега Фонтанки, облепила рыбный садок, баржи с дровами, пристаньки, гранитные сходни и даже лодки ладожских гончаров. Тысячи глаз глядели в нефтяную радужную воду, блестящую всеми оттенками керосина, перламутровых помоев и павлиньего хвоста.

Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух.

Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству – исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству.

С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен.

Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в клистирной роще и пахнет чернилом.

Не говорите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и к Персефоне телефон еще не проведен.

Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок.

Так на полях черновиков возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью.

Скрипичные человечки пьют молоко бумаги.

Вот Бабель: лисий подбородок и лапки очков.

Парнок – египетская марка.

Артур Яковлевич Гофман – чиновник министерства иностранных дел по греческой части.

Валторны Мариинского театра.

Еще раз усатая гречанка.

И пустое место для остальных.

Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце, о пленэрной живописи, о колорите, подобном шпинату с гренками, – одним словом, обо всем, чего не хватает

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
мрачно-фламандскому Эрмитажу.

А я не получу приглашения на барбизонский завтрак, хоть и разламывал в детстве шестигранные коронационные фонарики с зазубринкой и наводил на песчаный сосняк и можжевельник – то раздражительно-красную трахому, то синюю жвачку полдня какой-то чужой планеты, то лиловую кардинальскую ночь.

У

Мать заправляла салат желтками и сахаром.

Рваные мятые уши салата с хрящиками умирали, от уксуса и сахара.

Воздух, уксус и солнце уминались с зелеными тряпками в сплошной, горящий солью, трельяжами, бисером, серыми листьями, жаворонками и стрекозами, в гремющий тарелками барбизонский день.

Барбизонское воскресенье шло, обмахиваясь газетами и салфетками, к зенитному завтраку, устилая траву фельетонами и заметками о булавочно маленьких актрисах.

К барбизонским зонтам стекались гости в широких панталонах и львиных бархатных жилетах. А женщины стряхивали мурашей с круглых плеч.

Открытые вагонетки железной дороги плохо повиновались пару и, растрепав занавески, играли с ромашковым полем в лото.

Паровоз, в цилиндре, с цыплячьими поршнями, негодовал на тяжесть шапокляков и муслина.

Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн.

Уже весь воздух казался огромным вокзалом для жирных нетерпеливых роз.

А черные блестящие муравьи, как плотоядные актеры китайского театра в старинной пьесе с палачом, чванились скипидарными лапками и влачили боевые дольки еще не разрубленного тела, вихляя сильным агатовым задом, словно военные лошади, в фижмах пыли скачущие на холм.

Парнок встряхнулся.

Ломтик лимона – это билет в Сицилию к жирным розам, и полотеры пляшут с египетскими телодвижениями. Лифт не работает.

По домам ходят меньшевики-оборонцы, организуя ночное дежурство в подворотнях.

И страшно жить, и хорошо!

Он – лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофеом налетающая ночь.

В мае месяце Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, – особенно в районе Дворцовой площади. Здесь все до ужаса приготовлено к началу исторического заседания с белыми листами бумаги, с отточенными карандашами и с графином кипяченой воды.

Еще раз повторяю: величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются.

В это время проходили через площадь глухонемые: они сучили руками быструю пряжу. Они разговаривали. Старший управлял челноком. Ему помогали. То и дело подбегал со стороны мальчик, так растопырив пальцы, словно просил снять с них заплетенную диагоналями нитку, чтобы сплетение не повредилось. На них на всех – их было четверо – полагалось, очевидно, пять мотков. Один моток был лишним. Они говорили на языке ласточек и попрошаек и, непрерывно замечывая крупными стежками воздух, шили из него рубашку.

Староста в гневе перепутал всю пряжу.

Глухонемые исчезли в арке Главного штаба, продолжая сучить свою пряжу, но уже гораздо спокойнее, словно засылали в разные стороны почтовых голубей.

Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарики, лезут вверх и вниз. Каждый такт – это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом.

Нотная страница – это, во-первых, диспозиция боя парусных флотий; во-вторых – это план, по которому тонет ночь, организованная в косточки слив.

Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, – ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат.

Миражные города нотных знаков стоят, как скворешники, в кипящей смоле.

Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей.

Когда сотни фонариков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера дизелей, снимая целые вывески поджарых тактов, – это, конечно, Бетховен; но когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку – это тоже Бетховен.

Нотная страница – это революция в старинном немецком юрде.

Большеголовые дети. Скворцы. Распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками.

Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге – это Гендель.

Но до чего воинственны страницы Баха – эти потрясающие связки сушеных грибов.

А на Садовой у Покрова стоит каланча. В январские морозы она выбрасывает виноградины сигнальных шаров – к сбору частей. Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лещетицкого.

Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы; пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу.

Рояль – это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, сонатинами...

Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.

Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы, – сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валяных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом – концертным, желтым, зловещим, нахохленным, зимним.

Не повинуется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа – публичное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк – первоначальный нажим – на «приезжай ради бога», на «скупаю» и «целую» небритых похабников, шепчущих телеграммку в надышанный меховой воротник.

Керосинка была раньше примуса. Слюдяное окошечко и откидной маяк. Пизанская башня керосинки кивала Парноку, обнажая патриархальные фитили, добродушно рассказывая об отроках в огненной печи.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
я не боюсь бессвязности и разрывов.

Стригу бумагу длинными ножницами.

Подклеиваю ленточки бахромкой.

Рукопись – всегда буря, истрепанная, исклеванная.

Она – черновик сонаты.

Марать – лучше, чем писать.

Не боюсь швов и желтизны клея.

Портняжу, бездельничаю.

Рисую Марата в чулке.

Стрижей.

Больше всего у нас в доме боялись «сажи» – то есть копоти от керосиновых ламп. Крик «сажа, сажа» звучал как «пожар, горим» – вбегали в комнату, где расшалилась лампа. Всплескивая руками, останавливались, нюхали воздух, весь, кишевший усатыми, живыми порхающими чайниками.

Казнили провинившуюся лампу приспусканием фитиля.

Тогда немедленно распахивались маленькие форточки, и в них стрелял шампанским мороз, торопливо прохватывая всю комнату с усатыми бабочками «сажи», оседающими на пикейных одеялах и наволочках, эфиром простуды, сулемой воспаления легких.

– Туда нельзя – там форточка, – шептали мать и бабушка.

Но и в замочную скважину врывался он – запрещенный холод, – чудный гость дифтеритных пространств.

Юдифь Джорджоне улинула от евнухов Эрмитажа.

Рысак выбрасывает бабки.

Серебряные стаканчики наполняют Миллионную.

Проклятый сон! Проклятые стогны бесстыжего города!

Он сделал слабое умоляющее движение рукой, выронил листочек цедровой пудреной бумаги и присел на тумбу.

Он вспомнил свои бесславные победы, свои позорные randevu, стояния на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня... Номера ненужных, отгоревших телефонов...

Роскошное дребезжанье пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская молитва.

Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимам вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трутней?

Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он – исчадие ее, любимое детище. Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества... В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка, состоявшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты, – эта

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
дробиночка именовалась честью.

Однажды бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворешню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинками ореховых стульев. Перед ними снимался мальчик в черкеске и девочка с локончиками, и под ногами у компании шмыгал котенок. Его убрали. Все лица передавали один тревожно-глубокомысленный вопрос: почему теперь фунт слоновьего мяса?

Вечером на даче в Павловске эти господа литераторы отчехвостили бедного юнца – Ипполита. Так и не довелось ему прочесть свою клеенчатую тетрадку. Тоже выискался Руссо!

Они не видели и не понимали прелестного города с его чистыми корабельными линиями.

А бесенок скандала вселился в квартиру на Разъезжей, привинтив медную дощечку на имя присяжного поверенного, – эта квартира неприкосновенна и сейчас – как музей, как пушкинский дом, – дрыхнул на оттоманках, топтался в прихожих – люди, живущие под звездой скандала, никогда не умеют вовремя уходить, – канючил, нудно прощался, тычась в чужие галоши.

Господа литераторы! Как балеринам – туфельки-балетки, так вам принадлежат галоши. Примеряйте их, обменивайте: это ваш танец. Он исполняется в темных прихожих при одном неременном условии – неуважения к хозяину дома. Двадцать лет такого танца составляют эпоху; сорок – историю... Это – ваше право.

Смородинные улыбки балерин,

лопотание туфелек, натертых тальком,

воинственная сложность и дерзкая численность скрипичного оркестра, запрятанного в светящийся ров, где музыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками,

растительное послушание кордебалета,

великолепное пренебрежение к материнству женщины...

– Этим нетанцующим королем и королевой только что играли в шестьдесят шесть.

– Моложавая бабушка Жизели разливает молоко – должно быть, миндальное.

– Всякий балет до известной степени – крепостной. Нет, нет, – тут уж вы со мной не спорьте!

Январский календарь с балетными козочками, образцовым молочным хозяйством мириад миров и треском распечатываемой карточной колоды...

Подъезжая с тылу к неприлично ватерпруфному зданию Мариинской оперы:

Сыщики-барышники, барышники-сыщики,
Что вы на морозе, миленькие, рыщете?
Кому билет в ложу,

А кому в рожу.

– Нет, что ни говорите, а в основе классического танца лежит острастка – кусочек «государственного льда».

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru

– Как вы думаете, где сидела Анна Каренина?

– Обратите внимание: у античности был амфитеатр, а у нас – у новой Европы – ярусы. И на фресках Страшного суда, и в опере. Единое мироощущение.

Придымленные улицы с кострами вертелись каруселью.

– Извозчик, на «Жизель» – то есть к Мариинскому!

Петербургский извозчик – это миф, козерог. Его нужно пустить по зодиаку. Там он не пропадет со своим бабым кошельком, узкими, как правда, полозьями и овсяным голосом.

VI

Пролетка была с классическим, скорее московским, чем петербургским, шиком; с высоко посаженным кузовом, блестящими лакированными крыльями и на раздутых до невозможности шинах – ни дать ни взять греческая колесница.

Ротмистр Кржижановский шептал в преступное розовое ушко:

– О нем не беспокойтесь: честное слово, он пломбирует зуб. Скажу вам больше: сегодня на фонтанке – не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка! Грязная история!

Белая ночь, шагнув через Колпино и Среднюю Рогатку, добрела до Царского Села. Дворцы стояли испуганно-белые, как шелковые куклы. Временами белизна их напоминала выстиранный с мылом и щелоком платок оренбургского пуха. В темной зелени шуршали велосипеды – металлические шершни парка.

Дальше белеть было некуда: казалось – еще минутка, и все наваждение расколется, как молодая простокваша.

Страшная каменная дама «в ботиках Петра Великого» ходит по улицам и говорит:

– Мусор на площади... Самум... Арабы... «Просеменил Семен в просеминарий»...

Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!

За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку драже в бумажном мешочке у курсистки на хорах Дворянского собрания ответишь ты, Петербург!

Память – это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?

«Страховой старичок» Гешка Рабинович, как только родился, потребовал бланки для полисов и мыло «Ралле». Жил он на Невском в крошечной девической квартирке. Его незаконная связь с какой-то Лизочкой умиляла всех. «Генрих Яковлевич спит», – говаривала Лизочка, приложив палец к губам, и вся вспыхивала. Она, конечно, надеялась – сумасшедшей надеждой, – что Генрих Яковлевич еще подрастет и проживет с ней долгие годы, что их розовый бездетный брак, освященный архиереями из кофейни Филиппова, – только начало...

А Генрих Яковлевич с легкостью болонки бегал по лестницам и страховал на дожитие.

В еврейских квартирах стоит печальная усатая тишина.

Она слагается из разговоров маятника с крошками булки на клеенчатой скатерти и серебряными подстаканниками.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Тетя Вера приходила обедать и приводила с собой отца – старика Пергамента. За плечами тети Веры стоял миф о разорении Пергамента. У него была квартира в сорок комнат на Крещатике в Киеве. «Дом – полная чаша». На улице под сорока комнатами били копытами лошади Пергамента. Сам Пергамент «стриг купоны».

Тетя Вера – лютеранка, подпевала прихожанам в красной кирке на Мойке. В ней был холодок компаньонки, лектрисы и сестры милосердия – этой странной породы людей, враждебно привязанных к чужой жизни. Ее тонкие лютеранские губы осуждали наш домопорядок, а стародевичьи букли склонялись над тарелкой куриного супа с легкой брезгливостью.

Появляясь в доме, тетя Вера начинала машинально сострадать и предлагать свои краснокрестные услуги, словно разворачивая катушку марли и разбрасывая серпантинном незримый бинт.

Ехали таратайки по твердой шоссейной дороге, и топорщились, как кровельное железо, воскресные пиджаки мужчин. Ехали таратайки от «ярви» до «ярви», чтоб километры сыпались горохом, пахли спиртом и творогом. Ехали таратайки, двадцать одна и еще четыре, – со старухами в черных косынках и в суконных юбках, твердых, как жель. Нужно петь псалмы в петушиной кирке, пить черный кофий, разбавленный чистым спиртом, и той же дорогой вернуться домой.

Молодая ворона напыжилась:

- Милости просим к нам на похороны.
- Так не приглашают, – чирикнул воробушек в парке Мон-Репо.

Тогда вмешались сухопарые вороны, с голубыми от старости, жесткими перьями:

- Карл и Амалия Бломквист извещают родных и знакомых о кончине любезной их дочери Эльзы.
- Вот это другое дело, – чирикнул воробушек в парке.

Мальчиков снаряжали на улицу, как рыцарей на турнир: гамаши, ватные шаровары, башлыки, наушники.

От наушников шумело в голове и накатывала глухота. Чтобы ответить кому-нибудь, надо было развязать режущие тесемочки у подбородка.

Он вертелся в тяжелых зимних доспехах, как маленький глухой рыцарь, не слыша своего голоса.

Первое разобщение с людьми и с собой и, кто знает, быть может, сладкий предсклеротический шум в крови, пока еще растираемой мохнатым полотенцем седьмого года жизни, – воплощались в наушниках; и шестилетнего ватного Бетховена в гамашах, вооруженного глухотой, выталкивали на лестницу.

Ему хотелось обернуться и крикнуть: «кухарка тоже глухарь».

Они с важностью шли по Офицерской и выбирали в магазине грушу-дюшес.

Однажды зашли в ламповый магазин Аболинга на Вознесенском, где парадные лампы толпились, как идиотки-жирафы в красных шляпах с фестонами и оборками. Здесь ими впервые овладело впечатление грандиозности и «леса вещей».

В цветочный магазин Эйлерса не заходили никогда.

Где-то практиковала женщина-врач Страшунер.

VII

Когда портной относит готовую работу, вы никогда не скажете, что на руках у него обнова. Чем-то он напоминает члена похоронного братства, спешащего в дом, отмеченный Азраилом, с принадлежностями ритуала. Так и портной Мервис. Визитка

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Парнока погрелась у него на вешалке недолго – часа два, – подышала родным
тминным воздухом. Жена Мервиса поздравила его с удачей.

– Это еще что, – ответил польщенный мастер, – вот дедушка мой говорил, что
настоящий портной – это тот, кто снимает сюртук с неплательщика среди бела дня
на Невском проспекте.

Потом он снял визитку с плечика, подул на нее, как на горячий чай, завернул в
чистую полотняную простыню и понес к ротмистру Кржижановскому в белом саване и в
черном коленкоре.

Я, признаться, люблю Мервиса, люблю его слепое лицо, изборожденное зрячими
морщинами. Теоретики классического балета обращают громадное внимание на улыбку
танцовщицы, – они считают ее дополнением к движению – истолкованием прыжка,
полета. Но иногда опущенное веко видит больше, чем глаз, и ярусы морщин на
человеческом лице глядят, как скопище слепцов.

Тогда изящнейший фарфоровый портной мечется, как каторжанин, сорвавшийся с нар,
избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор, готовый крикнуть
последнее неотразимо убедительное слово.

В моем восприятии Мервиса просвечивают образы: греческого сатира, несчастного
певца-кифареда, временами маска еврипидовского актера, временами голая грудь и
покрытое испариной тело растерзанного каторжанина, русского ночлежника или
эпилептика.

Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. Слово, как порошок аспирина,
оставляет привкус меди во рту.

Рыбий жир – смесь пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус вырванных лопнувших
глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга.

Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир.

Книги тают, как ледяшки, принесенные в комнату. Все уменьшается. Всякая вещь мне
кажется книгой. Где различие между книгой и вещью? Я не знаю жизни: мне
подменили ее еще тогда, когда я узнал хруст мышьяка на зубах у черноволосой
французской любовницы, младшей сестры нашей гордой Анны.

Все уменьшается. Все тает. И Гете тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит
ладонь ускользающий эфес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у
водосточной трубы.

Но мысль, как палаческая сталь коньков «Нурмис», скользивших когда-то по
голубому с пупырышками льду, не притупилась.

Так коньки, привинченные к бесформенным детским ботинкам, к американским
копытцам-шнуровкам, срачиваются с ними – ланцеты свежести и молодости, – и
оснащенная обувь, потянувшая радостный вес, превращается в великолепные драконы
ошметки, которым нет названья и цены.

Все трудней перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенной в топоры при
свете газовых фонарей.

Вы, дровяные склады – черные библиотеки города, – мы еще почитаем, поглядим.

Где-то на Подъяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками
вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с
зачитанными в шелк заразными страницами. Некрасивые барышни выбирали с полок
книги. Кому – Буржэ, кому – Жорж Онэ, кому еще что-нибудь из библиотечного
шурум-бурума.

Напротив была пожарная часть с закрытыми наглухо воротами и колоколом под

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
шляпкой гриба.

Некоторые страницы сквозили, как луковичная шелуха.

В них жила корь, скарлатина и ветряная оспа.

В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку, – как ее ни вытряхивать – она появлялась снова.

Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда – превращенный в мумию безымянный северный цветок.

Пожары и книги – это хорошо.

Мы еще поглядим – почитаем.

«За несколько минут до начала агонии по Невскому прогремел пожарный обоз. Все отпрянули к квадратным запотевшим окнам, и Анджиолину Бозио – уроженку Пьемонта, дочь бедного странствующего комедианта – basso comico, – предоставили на мгновение самой себе.

Воинственные фиоритуры петушиных пожарных рожков, как неслыханное брио безоговорочного побеждающего несчастья, ворвались в плохо проветренную спальню демидовского дома. Битюги с бочками, линейками и лестницами отгрохотали, и полымя факелов лизнуло зеркала. Но в потускневшем сознании умирающей певицы этот ворох горячего казенного шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охапка арестованных и увозимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой увертюры. В ее маленьких некрасивых ушах явственно прозвучали последние такты увертюры к «Duo Foscarì», ее дебютной лондонской оперы...

Она приподнялась и пропела то, что нужно, но не тем сладостным металлическим, гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным необработанным тембром пятнадцатилетней девочки-подростка, с неправильной неэкономной подачей звука, за которую ее так бранил профессор Каттанео.

Прощай, Травиата, Розина, Церлина...»

VIII

В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать и не пил чаю с сухариками, которые он любил, как канарейка. Он слушал жужжание паяльных свеч, приближающих к рельсам трамвая ослепительно белую мохнатую розу. Он получил обратно все улицы и площади Петербурга – в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады.

Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние – великолепный товар, что будет, будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами.

Он ждал, куда накапливались таборы извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколенья, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой.

Он думал, что Петербург – его детская болезнь и что стоит лишь очухаться, очнуться – и наваждение рассыплется: он выздоровеет, станет как все люди; пожалуй, женится даже... Тогда никто уже не посмеет называть его «молодым человеком». И ручки дамам он тогда бросит целовать. Хватит с них! Тоже, проклятые, завели Трианон... Иная лахудра, бабище, облезлая кошка, сует к губам лапу, а он, по старой памяти, – чмок! Довольно. Собачьей молодости надо положить конец. Ведь обещал же Артур Яковлевич Гофман устроить его драгоманом хотя бы в Грецию. А там видно будет. Он сошьет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет.

Вот только одна беда – родословной у него нет. И взять ее неоткуда – нет, и все тут! Всех-то родственников у него одна тетка – тетя Иоганна. Карлица. Императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как чорт. Словно Бирон ей сват и брат. Ручки коротенькие. Ничего застегнуть сама не может. А при ней горничная

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Аннушка – Психея.

Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родословной, позвольте – как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские асессоры, которым «мог господь прибавить ума и денег». Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подъяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос: «Как же это? без гроша, с высшим образованием?»

Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачьим, гагаринским пухом – под Тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-холуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное.

Но перо, снимающее эту пленку, – как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться.

Комарик звенел:

– Глядите, что случилось со мной: я последний египтянин – я плакальщик, пестун, пластун – я маленький князь-раскоряка – я нищий Рамзес-кровопийца – я на севере стал ничем – от меня так мало осталось – извиняюсь!..

– Я князь неvezенья – коллежский асессор из города Фив... Все такой же – ничуть не изменился – ой, страшно мне здесь – извиняюсь...

– Я – безделица. Я – ничего. Вот попрошу у холерных гранитов на копейку – египетской каши, на копейку – девической шейки.

– Я ничего – заплачу – извиняюсь.

Чтоб успокоиться, он обратился к одному неписаному словарнику, вернее – реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:

«Подкова» – так называлась булочка с маком.

«Фрамуга» – так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка роля.

«Не коверкай» – так говорили о жизни.

«Не командуй» – так гласила одна из заповедей.

Этих словечек хватит на заварку. Он принимался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев.

По снежному полю ехали кареты. Над полем свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупо отмеривая желтый и, почему-то, позорный свет.

Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие, с зимним хрустом, сотенные бумажки.

– Куда мы едем? – спросил я старуху в цыганской шали.

– В город Малинов, – ответила она с такой щемящей тоской, что сердце мое сжалось нехорошим предчувствием.

Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала столовое серебро, полотно, бархатные туфли.

Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя, как контрабасы.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, равнины и
фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый
полами старицкой бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику.

– Поглядите, – воскликнул кто-то, высовываясь в окно, – вот и Малинов.

Но города не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина.

– Да это малинник! – захлебнулся я, вне себя от радости, и побежал с другими,
набирая снега в туфлю. Башмак развязался, и от этого мною овладело ощущение
великой вины и беспорядка.

И меня ввели в постылую варшавскую комнату и заставили пить воду и есть лук.

Я то и дело нагибался, чтоб завязать башмак двойным бантом и все уладить, как
полагается, – но бесполезно. Нельзя было ничего навестать и ничего исправить:
все шло обратно, как всегда бывает во сне. Я разметал чужие перины и выбежал в
Таврический сад, захватив любимую детскую игрушку – пустой подсвечник, богато
оплывший стеарином, – и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата.

Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из
пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского
инфлуэнцного бреда.

Розовоперстая Аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как
птенчики с пустыми разинутыми клювами. Между тем во всем решительно мне чудится
задаток любимого прозаического бреда.

Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар; когда все они
радостно возбуждены и больны: рогатки на улице, шелушенья афиш, рояли,
толпящиеся в депо, как умное стадо без жоака, рожденное для сонатных
беспамятств и кипяченой воды..

Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры,
по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми
случайными покупками.. и летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки,
наивные, как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач,
уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем как российская лира из
безгласного теста.

Ведь Невский в семнадцатом году – это казачья сотня в заломленных синих
фуражках, с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники.

Можно сказать и зажмурив глаза, что это поют конники. Песня качается в седлах,
как большущие даровые мешки с золотой фольгой хмеля.

Она свободный приварок к мелкому топоту, теньканью и поту.

Она плывет в уровень с зеркальными окнами бельэтажей на слепеньких мохнатых
башкирках, словно сама сотня плывет на диафрагме, доверяя ей больше, чем
подпругам и шенкелям.

Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку, от скуки, от
неуменья и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей
фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи
скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят
увертюру к «Леноре» или к «Эгмонту» Бетховена.

Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому! Это все
равно что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой,
сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды.

Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенка. Я люблю, я
уважаю страх. Чуть было не сказал: «с ним мне не страшно!» Математики должны
были построить для страха шатер, потому что он координата времени и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
пространства: они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками.

На побегушках у моего сознания два-три словечка: «и вот», «уже», «вдруг»; они мотаются полуосвященным севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскაკивают друг на друга и расползаются две гремящих сковороды.

Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанью французского мужичка из «Анны Карениной». Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предложениями, которым место на столе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности.

Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые рычаги паровозов, – там дышит она, голубушка проза, – вся пущенная в длину – обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский аршин все шестьсот девять николаевских верст, с графинчиками запотевшей водки.

В девять тридцать вечера на московский ускоренный собрался бывший ротмистр Кржижановский. Он уложил в чемодан визитку Парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав лапы, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись, – шаловливым шевиотовым дельфином, которому они сродни покровом и молодой душой.

Ротмистр Кржижановский выходил пить водку в Любани и в Бологом, приговаривая при этом: «суаре-муаре-луаре» или невесть какой офицерский вздор. Он пробовал даже побриться в вагоне, но это ему не удалось.

В Клину он отведал железнодорожного кофия, который готовится по рецепту, неизменному со времен Анны Карениной, из цикория с легкой прибавкой кладбищенской земли или другой какой-то гадости в этом роде.

В Москве он остановился в гостинице «Селект» – очень хорошая гостиница на Малой Лубянке, – в номере, переделанном из магазинного помещения, с шикарной стеклянной витриной вместо окна, невероятно нагретой солнцем.

Четвертая проза

1

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью вифлеемского волхва и одесского Ньютона-математика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно малых. Закон спасения Веньямина Федорович видел в черепаших темпах.

Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом задерживал опасное развитие болезни.

Наличность профессора, да еще математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызвала всеобщее удовлетворение.

Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его – Исаю Бенедиктовича – могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал.

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши – маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним – Исаем Бенедиктовичем.

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исаия Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика Исаия к Анатолию Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавливая себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных, как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла.

Исай Бенедиктович был хорош только в начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники в складчину отправили его обратно в Петербург.

Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность – это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, по которой взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, ближе к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодеятельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

2

Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок – мальчишка из двора. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов насаждает на барчука:

– Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, – и старые девы – гнусные жабы – подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:

– Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем...

– Вдарь, Васенька, вдарь!

3

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех.

Кто эта безмужница? – Легкая кавалерия.

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут, – таково священное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил – убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак – убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху – убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь – убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у ней укороченная, и грубый башмак протеза напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филиппыча разболелись зубы. Филипп Филиппыч сватается. Филипп Филиппыч не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, – с парным для него из той же бани нечистым – московским редактором-гробовщиком, изготавливающим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном газетным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия: январю, февралю и марту. Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

4

Я поступил на службу в «Московский комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было 12 пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзины и за то, что я не профессор.

Днем и ночью я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москвы-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки, прямо на улице, из горлышка бутылки.

Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский старичок ехал к сыну в Ковно.

Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам оттуда не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на новую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или выпущенных из тюрьмы.

5

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
И до самой кости ранено
Все ущелье стоном сокола, –
вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей? – ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед.

Вот это литературная страничка.

6

У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много – и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жиллет.

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жиллет режет, как трава осока, гнется, а не ломается в руке – не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине. Пластиночка бритвы жиллет – изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.

7

Я китаец – никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами, как яичница, где ходит сарт с бараньими глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель – нарком Мравьян-Муравьян – муравьиный нарком из страны армянской – этой младшей сестры земли иудейской.

Он прислал мне телеграмму.

Умер мой покровитель нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома.

Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан.

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его к секретарям в армянский особняк на самой чистой посольской улице Москвы.

Я чуть не поехал в Эривань, с командировкой от древнего Наркомпроса, читать круглоголовым и застенчивым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс-семинарий.

Если б я поехал в Эривань, три дня и две ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с красной икрой.

Халды-балды!

я бы читал в дороге самую лучшую книжку Зощенки, и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в
Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой – моим еврейским
посохом – в другой.

8

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиние
ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья,
этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом
стреляет в комнату:

...Не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя – смертельного врага
литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец – филолог с головенкой китайца –
этакий ходя – хао-хао, шанго-шанго – когда рубят головы, из той породы, что на
цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой – лицейская
сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, – сторожит в специальном
музее веревку удушенника Сережи Есенина.

А я говорю – к китайцам Благого – в Шанхай его, к китаезам! Там ему место! Чем
была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала
пся-кровь, стала – все-терпимость...

9

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя
Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Мотя с Бассейной,
проповедующий нравственность и государственность, выполнил социальный заказ
совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как
несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же смешно, как от велосипеда или от клюва попугая.
Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попугай
имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я
очень рад, что мой убийца жив и что он в некотором роде меня пережил. Я кормлю
его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из «Уленшпигеля»: «Пепел
стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на
свете мук сильнее муки слова». Человек, способный назвать свою книгу «Муки
слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то
безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана, какие-то
призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если
тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство – как мы могли тогда жить! –
крупные слезы наворачиваются на глаза. Кто-то познакомил меня с двуногим
критиком, и я пожал ему руку.

Дяденька Горнфельд! Зачем ты пошел жаловаться в «Биржовку» в двадцать девятом
советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский
литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и
талесом.

10

Есть одна секретарша – правда, правдочка, совершенная белочка, маленький
грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как
очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.

Вот эта беляночка – настоящая правда – с большой буквы по-гречески, и вместе с
тем она другая правда – та жестокая партийная девственница – Правда-Партия.

Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет
в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной
комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти,
охраняя носителя власти, как тяжелобольного.

11

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите мне занести в протокол. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу! Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса! Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах, предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, «Вечную память», вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда.

Папа, папа, папочка!

Где же твоя мамочка?

Черная оспа

Пошла от Фоспа.

Твоя мама окривела,

Мертвой ниткой шьется дело.

Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность...

Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться...

12

На таком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намеренье совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу – литературное обрезание, или обесчещенье, которое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно силясь меня научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству – краже.

Писательство – это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.

Писатель – это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин его француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски – «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

13

Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит литературе; казненный старший – сам ее казнил.

Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородатые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскотить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной. И все было страшно, как в младенческом сне.

In mezzo del cammin del nostra vita – на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе – она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство Зиф не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я – скорняк драгоценных мехов, я – едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца – Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажи – навстречу плевриту – смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных листов.

15

Уважаемые романес с Тверского бульвара! Мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, протоколах, повестках от судебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно – звук новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому любопытно подчас, что это я все не так делаю: что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается? Долго ли еще он будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут: другие с каждым годом почтеннее, а я наоборот: обратное течение времени.

Я виноват, двух мнений здесь быть не может. Из виноватости не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиваньем спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас как ни в чем не бывало снова начинаю изворачиваться – и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету силы. В карманах – дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В-третьих, я подписал с Вельзевулом или Гизом грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанный горчицей с перцем, наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, оторгнуть в четверном размере все незаконно присвоенное и шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немислимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть: какая честь! Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак... французика – шер мэтр – дорогой учитель, а мне – Мандельштам, чеши собак. Каждому свое.

Я – стареющий человек – огрызком собственного сердца чешу господских собак, и все им мало, все им мало. С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была – я же в одной персоне и лошадь, и цыган...

Жестяные повесточки под подушечку! Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек заместо свечечек...

16

Сколько бы я ни трудился, если б я носил на спине лошадей, если б я крутил мельничьи жернова, – все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд – это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет. Он мне в стаж не зачитывается.

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зоценки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда Гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое – один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец шарманщик с шубертовским лееркастеном – такой неудачник, такой шаромыжник...

Спи, моя милая... Эм-эс-пэ-о...

Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека...

Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm – я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака лает – ветер носит.

Путешествие в Армению
Севан

На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонт монастырских общежитий.

Ежедневно, ровно в пятом часу, озеро, изобилующее форелями, закипало, словно в него была подброшена большая щепотка соды. Это был в полном смысле слова месмерический сеанс изменения погоды, как будто медиум напускал на дотолу спокойную известковую воду сначала дурашливую зыбь, потом птичье кипение и, наконец, буйную ладожскую дурь.

Тогда нельзя было отказать себе в удовольствии отмерять триста шагов по узкой тропинке пляжа насупротив мрачного Гюнейского берега.

Здесь Гокча образует прилив раз в пять шире Невы. Великолепный пресный ветер со свистом врывался в легкие. Скорость движения облаков увеличивалась ежеминутно, и прибой-первопечатник спешил издать за полчаса вручную жирную гуттенберговскую Библию под тяжело насупленным небом.

Не менее семидесяти процентов населения острова составляли дети. Они, как зверьки, лазили по гробницам монахов, то бомбардировали мирную корягу, приняв ее студеные судороги на дне за корчи морского змея, то приносили из влажных трущоб буржуазных жаб и ужей с ювелирными женскими головками, то гоняли взад и вперед обезумевшего барана, который никак не мог понять, кому мешает его бедное тело, и тряс нагулянным на привольи курдюком.

Рослые степные травы на подветренном горбу Севанского острова были так сильны, сочны и самоуверенны, что их хотелось расчесать железным гребнем.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделъштам mandel'shtamjoseph.ru
Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями – остатками богомольных пикников окрестного люда.

Кроме того, он буквально вымощен огненно-рыжими плитами безымянных могил – торчащими, расшатанными и крошащимися.

В самом начале моего пребывания пришло известие, что каменщики на длинной и узкой косе Саампакерта, роя яму под фундамент для маяка, наткнулись на кувшинное погребение древнейшего народа Урарту. Я уже видел раньше в Эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с дырочкой в черепе, просверленной для злого духа.

Рано утром я был разбужен стрекотанием мотора. Звук топтался на месте. Двое механиков разогревали крошечное сердце припадочного двигателя, поливая его мазутом. Но, едва налаживаясь, скороговорка – что-то вроде «не пито – не едено, не пито – не едено» – угасала и таяла в воде.

Профессор Хачатурьян, с лицом, обтянутым орлиной кожей, под которой все мускулы и связки выступали, перенумерованные и с латинскими названиями, – уже прохаживался по пристани в длинном черном сюртуке османского покроя. Не только археолог, но и педагог по призванию, большую часть своей деятельности он провел директором средней школы – армянской гимназии в Карее. Приглашенный на кафедру в советскую Эривань, он перенес сюда и свою преданность индоевропейской теории, и глухую вражду к яфетическим выдумкам Марра, а также поразительное незнание русского языка и России, где никогда не бывал.

Разговорившись кой-как по-немецки, мы сели в баркас с товарищем Кариньяном – бывшим председателем армянского ЦИКа.

Этот самолюбивый и полнокровный человек, обреченный на бездействие, курение папирос и столь невеселую трату времени, как чтение напостовской литературы, с видимым трудом отвыкал от своих официальных обязанностей, и скука отпечатала жирные поцелуи на его румяных щеках.

Мотор бормотал «не пито – не едено», словно рапортуя т. Кариньяну, островок быстро отбежал назад, выпрямив свою медвежью спину с осьмигранниками монастырей. Баркас провожала мошकारа, и мы плыли в ней, как в кисее, по утреннему кисельному озеру.

В яме нами были действительно обнаружены и глиняные черепки, и человеческие кости, но, кроме того, был найден черенок ножа с клеймом старинной русской фабрики N.N.

Впрочем, я с уважением завернул в свой носовой платок пористую известковую корочку от чьей-то черепной коробки.

Жизнь на всяком острове, – будь то Мальта, Святая Елена или Мадера, – протекает в благородном ожидании. Это имеет свою прелесть и неудобство. Во всяком случае, все постоянно заняты, чуточку спадают с голоса и немного внимательнее друг к другу, чем на большой земле, с ее широкопалыми дорогами и отрицательной свободой.

Ушная раковина истончается и получает новый завиток.

На Севане подобралась, на мое счастье, целая галерея умных и породистых стариков – почтенный краевед Иван Яковлевич Сагателян, уже упомянутый археолог Хачатурьян, наконец, жизнерадостный химик Гамбаров.

Я предпочитал их спокойное общество и густые кофейные речи плоским разговорам молодежи, которые, как всюду в мире, вращались вокруг экзаменов и физкультуры.

Химик Гамбаров говорит по-армянски с московским акцентом. Он весело и охотно обрусел. У него молодое сердце и сухое поджарое тело. Физически это приятнейший человек и прекрасный товарищ в играх.

Был он помазан каким-то военным елеем, словно только что вернулся из полковой

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
церкви, что, впрочем, ничего не доказывает и бывает иной раз с превосходными советскими людьми.

С женщинами – он рыцарственный Мазепа, одними губами ласкающий Марию, в мужской компании – враг колкостей и самолюбий, а если врежется в спор, то горячится, как фехтовальщик из франкской земли.

Горный воздух его молодил, он засучивал рукава и кидался к рыбацкой сетке волейбола, сухо работая маленькой ладонью.

Что сказать о севанском климате?

– Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.

Стеклопалочка дачного градусника бережно передавалась из рук в руки.

Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских материй. Он казался мне бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.

Дети показывали ему свои язычки, высовывая их на секунду ломтиками медвежьего мяса...

Да под конец к нам пожаловал ящур, занесенный в бидонах молока с дальнего берега Зайналу, где отмалчивались в угрюмых русских избах какие-то экс-хлысты, давно переставшие радеть.

Впрочем, за грехи взрослых ящур поразил одних безбожных севанских ребят.

Один за другим жестковолосые драчливые дети никли в спелом жару на руки женщин, на подушки.

Однажды, соревнуясь с комсомольцем Х., Гамбаров затеял обогнуть вплавь всю тушу Севанского острова. Шестидесятилетнее сердце не выдержало, и, сам обессилевший, Х. вынужден был покинуть товарища, вернулся к старту и полуживой выбросился на гальку. Свидетелями несчастья были вулканические стены островного кремля, исключаяющие всякую мысль о причале...

То-то поднялась тревога. Шлюпки на Севане не оказалось, хотя ордер на нее был уже выписан.

Люди заметались по острову, гордые сознанием непоправимого несчастья. Непрочитанная газета загремела жестью в руках. Остров затошнило, как беременную женщину.

У нас не было ни телефона, ни голубиной почты для сообщения с берегом. Баркас отошел в Еленовку часа два назад, и – как ни напрягай ухо – не слышно было даже стрекотания на воде.

Когда экспедиция во главе с товарищем Кариньяном, имея с собой одеяло, бутылку коньяку и все прочее, привезла окоченевшего, но улыбающегося Гамбарова, подобранного на камне, его встретили аплодисментами. Это были самые прекрасные рукоплескания, какие мне приходилось слышать в жизни: человека приветствовали за то, что он еще не труп.

На рыбной пристани Норадуза, куда нас возили на экскурсию, обошедшуюся, к счастью, без хорового пения, меня поразил струг совершенно готовой барки, вздернутой в сыром виде на дыбу верфи. Размером он был с доброго троянского коня, а свежими музыкальными пропорциями напоминал коробку бандуры.

Кругом курчавились стружки. Землю разъедала соль, а чешуйки рыбы подмигивали пластиночками кварца.

В кооперативной столовой, такой же бревенчатой и – минхерц-петровской, как и все в Норадузе, кормили вповалку густыми артельными щами из баранины.

Рабочие заметили, что у нас нет с собой вина, и, как подобает настоящим хозяевам, наполнили наши стаканы.

Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей и за ее могучий язык, на котором мы не достойны говорить, а должны лишь чураться в нашей немощи –

вода по-армянски – джур,

деревня – гьух.

Никогда не забуду Арнольди.

Он припадал на ортопедическую клешню, но так мужественно, что все завидовали его походке.

Ученое начальство острова проживало на шоссе в молоканской Еленовке, где в полумраке научного исполкома голубели заспиртованные жандармские морды великаньих форелей.

Уж эти гости!

Их приносила на Севан быстрая, как телеграмма, американская яхта, ланцетом резавшая воду, – и Арнольди вступал на берег – грозой от науки, Тамерланом добродушия.

У меня создалось впечатление, что на Севане жил кузнец, который его подковывал, и для того-то, чтобы с ним покумекать, он и высаживался на остров.

Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей – все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь.

Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Зварднотца в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?

Чужелюбие вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствуют как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел.

Ашот Ованесьян

Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным Домом Правительства. Чуть подалее промышлял перевозчик, взимая три копейки за переправу и окуная по самые уключины в воду перегруженную свою ладью.

Воздух по набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый.

Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала так же, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.

Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древ неармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания.

В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога... Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ.

Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически сдержанный характер.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград, и был похвален дух яфетического любознания, проникающий в структурные глубины всякой речи...

Мне уже становилось скучно, и я все чаще поглядывал на кусок заглохшего сада в окне, когда в библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.

Его Прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые, с выхвалю, пряди жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово – это работа. Голова товарища Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмура его очей стоила улыбки.

Так глухота и неблагодарность, завещанная нам от титанов...

Голова по-армянски: глух', с коротким придыханием после «х» и мягким «л»... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста.

Видеть, слышать и понимать – все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вождения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота.

Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...

Москва

Незадолго перед тем, роясь под лестницей грязно-розового особняка на Якиманке, я разыскал оборванную книжку Синьяка в защиту импрессионизма. Автор изъяснял «закон оптической смеси», прославлял работу мазками и внушал важность употребления одних чистых красок спектра.

Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа. То и дело он обращался к его «Путешествию в Марокко», словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания.

Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря, к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...

Мне показалось, будто я сменил копытообразную и пропыленную городскую обувь на легкие мусульманские чувяки.

За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь.

К тому же легкость вторгалась в мою жизнь, как всегда сухую и беспорядочную и представляющую мне щекочущим ожиданием какой-то беспроигрышной лотереи, где я могу вынуть все, что угодно: кусок земляничного мыла, сидение в архивах в палатах первопечатника или вожденное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры – молодой белокурый юрисконсульт – врывался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавами.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

Должно быть, величайшая дерзость – беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам.

Мне кажется, это происходит от нетерпения, с которым я живу и меняю кожу.

Саламандра ничего не подозревает о черном и желтом крапе на ее спине. Ей невдомек, что эти пятна располагаются двумя щечками или же сливаются в одну сплошную дорожку, в зависимости от влажности песка, от жизнерадостной или траурной оклейки террария.

Но мыслящая саламандра – человек – угадывает погоду завтрашнего дня, – лишь бы самому определить свою расцветку.

Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово «повидло».

Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне.

И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших своих лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины.

Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде.

Кругом были не дай бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смиренных и понятливых.

Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их молниями и опоило ливнями, – что гром, что бром – им было безразлично.

Однажды собрание совершеннолетних мужчин, населяющих дом, постановило свалить старейшую липу и нарубить из нее дров.

Дерево окопали глубокой траншеей. Топор застучал по равнодушным корням. Работа лесорубов требует сноровки. Добровольцев было слишком много. Они суетились, как неумелые исполнители гнусного приговора.

Я подозвал жену:

– Смотри, сейчас оно упадет.

Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой, – казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы.

Наконец ему накинули на сухую развилину, на то самое место, откуда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, петлю из тонкой прачечной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, как зуб в десне, все еще продолжая княжить в своей ложнице. Еще мгновение – и к поверженному истукану подбежали дети.

В этом году правление Центросоюза обратилось в Московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань. Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили – мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Выбор университета остановился на Б. С. Кузине, хорошо образованном молодом зоологе. Б. С. проживал со старушкой матерью на Б. Якиманке, состоял в профсоюзе, перед каждым встречным и поперечным из гордости вытягивался в струнку и выделял из всей академической среды старика Сергеева, который собственноручно смастерил и приладил все высокие красные шкапы зоологической библиотеки и, проведя ладонью, с закрытыми глазами, безошибочно называл породу уже обделанной древесины – будь то дуб, ясень или сосна.

Б. С. ни в коем случае не был книжным червем.

Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам знаменитого венского самоубийцы – профессора Каммерера и пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвывающуюся кверху, как готический фейерверк.

Кузин был довольно опытным путешественником в масштабе СССР. И в Бухаре, и в Ташкенте мелькала его лагерная гимнастерка и раздавался заразительный военный смех. Повсюду он сеял друзей. Не так давно один мулла – святой человек, похороненный на горе, – прислал ему формальное извещение о своей кончине на чистом фарсидском языке. По мнению муллы, славный и ученый молодой человек, исчерпав запас здоровья и наплодив достаточное количество детей, – но не раньше, – должен был с ним соединиться.

Слава живущему! Всякий труд почтенен!

В Армению Кузин собирался нехотя. Все бегал за мешками и ведрами для сбора кошенили и жаловался на хитрость чиновников, не выдававших ему тары.

Разлука – младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы, – есть в проводах зловеще-свадебное оживление.

То и дело хлопала наружная дверь, и с мышиной якиманской лестницы прибывали гости обоего пола: ученики советских авиационных школ – беспечные конькобежцы воздуха, сотрудники дальних ботанических станций, специалисты по горным озерам, люди, побывавшие на Памире и в Западном Китае, и просто молодые люди.

Началось разливание по рюмкам виноградных московских вин, милое отнекивание женщин и девушек, брызнул сок помидоров и бестолковый общий говор: об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок, рушится тебе на голову, о ташкентской дороговизне, о дяде Саше и его гриппе, о чем угодно...

Кто-то рассказывал, что внизу на Якиманке разлегся бронзовый инвалид, который тут и живет, пьет водку, читает газеты, дуется в кости, а на ночь снимает деревянную ногу и спит на ней, как на подушке.

Другой сравнивал якиманского Диогена с феодальной японкой, третий кричал, что Япония – страна шпионов и велосипедистов.

Предмет беседы весело ускользал, словно кольцо, передаваемое за спиной, и шахматный ход коня, всегда уводящий в сторону, был владыкой застольного разговора...

Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница, по научной командировке пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линнеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и равнодушна к сое, к хлопку или хондрилле.

А на столе роскошный синтаксис путаных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении.

В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше грибов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они топорщились. Они убеждали меня. В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь.

А на подмосковных дачах мне почти не приходилось бывать. Ведь не считать же автомобильные поездки в Узкое по Смоленскому шоссе, мимо толстобрюхих бревенчатых изб, где капустные заготовки огородников как ядра с зелеными фитилями. Эти бледно-зеленые капустные бомбы, нагроможденные в безбожном изобилии, отдаленно мне напоминали пирамиду черепов на скучной картине Верещагина.

Теперь не то, но перелом пришел, пожалуй, слишком поздно.

Еще в прошлом году на острове Севане, в Армении, гуляя в высокой поясной траве, я восхищался безбожным горением маков. Яркие до хирургической боли, какие-то лжекотильонные знаки, большие, слишком большие для нашей планеты, несгораемые полоротые мотыльки, они росли на противных волосатых стеблях.

Я позавидовал детям. Они ретиво охотились за маковыми крыльями в траве. Нагнулся раз, нагнулся другой... Уже в руках огонь, словно кузнец одолжил меня углями.

Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники.

На высоте немногих сот футов над уровнем моря невзрослые леса одевали все холмогорье. Крестьяне мотыжили красноватую сладкую землю, подготавливая луночки для ботанической рассады.

То-то я обрадовался коралловым деньгам северного лета. Спелые железистые ягоды висели трезвучьями, пятизвучьями, пели выводками и по нотам.

Итак, Б. С., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне последовать за вами. Я надеюсь, они изменятся.

Вы остановитесь на улице Спандарьяна, 92, у милейших людей – Тер-Оганьянов. Помните, как было? Я бежал к вам «по Спандарьяну», глотая едкую строительную пыль, которой славится молодая Эривань. Еще мне были любви и новы шероховатости, шершавости и торжественности отремонтированной до морщин Араратской долины, город, как будто весь развороченный боговдохновенными водопроводчиками, и большеротые люди, с глазами, просверленными прямо из черепа, – армяне.

Мимо сухих водокачек, мимо консерватории, где в подвальчике разучивали квартет и откуда слышался сердитый голос профессора: «Падайте! падайте!» – то есть дайте нисходящее движение в адажио, – к вашей подворотне.

Не ворота, а длинный прохладный туннель, прорубленный в дедовском доме, и в него, как в зрительную трубу, брезжил дворик с зеленью такой не по сезону тусклой, как будто ее выжгли серной кислотой.

Кругом глазам не хватает соли. Ловишь формы и краски – и все это опресноки. Такова Армения.

На балкончике вы показали мне персидский пенал, крытый лаковой живописью цвета запекшейся с золотом крови. Он был обидно пустой. Мне захотелось понюхать его почтенные затхлые стенки, служившие сардарскому правосудию и моментальному составлению приговоров о выкалывании глаз.

Затем, снова уйдя в ореховый сумрак квартиры Тер-Оганьянов, вы возвратились с пробиркой и показали мне кошениль. Красно-бурые горошины лежали на ветке.

Эту пробу вы взяли из татарской деревни Сарванлар, верстах в двадцати от Эривани. Оттуда хорошо виден отец Арарат, и в сухой пограничной атмосфере невольно чувствуешь себя контрабандистом. И, смеясь, вы мне рассказывали, какая есть в Сарванларе в дружественной вам татарской семье отличная девчурочка-обжорка... Ее хитренькое личико всегда обмазано кислым молоком и пальчики лоснятся от бараньего жира... Во время обеда вы, отнюдь не страдая изжогой брезгливости, все же откладывали для себя потихоньку лист лаваша, потому что обжорка ставила ножки на хлеб, как на скамеечку.

Я смотрел, как сдвигалась и раздвигалась гармоника басурманских морщинок у вас на лбу – пожалуй, самое одухотворенное в вашем физическом облике. Эти морщинки,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru как будто натерты барашковой шапкой, реагировали на каждую значительную фразу, и они гуляли на лбу ходуном, хорохором и ходором. Было в вас что-то, мой друг, годуновско-татарское.

Я сочинял сравнения для вашей характеристики и все глубже вживался в вашу антидарвинистическую сущность, я изучал живую речь ваших длинных, нескладных рук, созданных для рукопожатия в минуту опасности и горячо протестовавших на ходу против естественного отбора.

Есть у Гете в «Вильгельме Мейстере» человечек по имени Ярно: насмешник и естествоиспытатель. Он по неделям скрывается в латифундиях образцово-показательного мира, ночует в башенных комнатах на захламленных простынях и выходит к обеду из глубин благонамеренного замка.

Этот Ярно был членом своеобразного ордена, учрежденного крупным помещиком Леотаром – для воспитания современников в духе второй части «Фауста». Общество имело широкую агентурную – вплоть до Америки – сеть, организацию, близкую к иезуитской. Велись тайные кондуитные списки, протягивались щупальца, улавливались люди.

Именно Ярно поручено было наблюдение за Мейстером.

Вильгельм путешествовал с мальчуганом Феликсом, сыном несчастной Марианны. Жить в одном месте свыше трех суток запрещалось параграфом искусства. Румяный Феликс – розовое дидактическое дитя – гербаризировал, восклицал: «Sag mir, Vater»[9], – поминутно вопрошал отца, отламывая куски горных пород, и заводил знакомства-однодневки.

У Гете вообще очень скучные, благонравные дети. Дети в изображении Гете – это маленькие Эроты любознательности с колчаном метких вопросов за плечами...

И вот Мейстер в горах встречается с Ярно.

Ярно буквально вырывает из рук Мейстера его трехдневную путевку. Позади и впереди у них годы разлуки. Тем лучше! Тем звучнее эхо для лекции геолога в лесном университете.

Вот почему теплый свет, излучаемый устным поучением, ясная дидактика дружеской беседы намного превосходит вразумляющее и поучающее действие книг.

Я с благодарностью вспоминаю один из эриванских разговоров, которые вот сейчас, спустя какой-нибудь год, уже одревлены несомненностью личного опыта и обладают достоверностью, помогающей нам ощущать самих себя в предании.

Речь зашла о «теории эмбрионального поля», предложенной профессором Гурвичем.

Зачаточный лист настурции имеет форму алебарды или двухстворчатой удлиненной сумочки, переходящей в язычок. Он похож также на кремневую стрелу из палеолита. Но силовое натяжение, бушующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах. Линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку.

Возьмите любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем продолжите эти координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой длины, соедините их между собой, и получаете выпуклость.

В дальнейшем силовое поле резко меняет свою игру и гонит форму к геометрическому пределу, к многоугольнику.

Растение – это звук, извлеченный палочкой терменвокса, воркующий в перенасыщенной волновыми процессами сфере. Оно – посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, – в одинаковой степени сродни и камню, и молнии! Растение в мире – это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!

Еще недавно, Борис Сергеевич, один писатель принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом или старался по мере греховных сил им быть.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Мне кажется, ему уготовано место в седьмом кругу дантовского ада, где вырос кровотокающий терновник. И когда какой-нибудь турист из любопытства отломит веточку этого самоубийцы, он взмолится человеческим голосом, как Пьетро де Винеа:

«Не тронь! Ты причинил мне боль! Иль жалости ты в сердце не имеешь? Мы были люди, а теперь деревья...»

И капнет капля черной крови..

Какой Бах, какой Моцарт варьирует тему настурции? Наконец вспыхнула фраза: «Мировая скорость стручка лопающейся настурции».

Кому не знакома зависть к шахматным игрокам? Вы чувствуете в комнате своеобразное поле отчуждения, струящее враждебный к неучастникам холодок.

А ведь эти персидские коники из слоновой кости погружены в раствор соли. С ними происходит то же, что с настурцией московского биолога Е. С. Смирнова и с эмбриональным полем профессора Гурвича.

Угроза смещения тяготеет над каждой фигуркой во все время игры, во все грозное явление турнира. Доска пучится от напряженного внимания. Фигуры шахмат растут, когда попадают в лучевой фокус комбинации, как волнушки-грибы в бабье лето.

Задача разрешается не на бумаге и не в камер-обскуре причинности, а в живой импрессионистской среде в храме воздуха и света и славы Эдуарда Манэ и Клода Монэ.

Правда ли, что наша кровь излучает митогенетические лучи, пойманные немцами на звуковую пластинку, лучи, способствующие, как мне передавали, усиленному делению ткани?

Все мы, сами о том не подозревая, являемся носителями громадного эмбриологического опыта: ведь процесс узнавания, увенчанный победой усилия памяти, удивительно схож с феноменом роста. И здесь и там – росток, зачаток и – черточка лица или полухарактера, полужук, окончание имени, что-то губное или небное, сладкая горошина на языке, – развивается не из себя, но лишь отвечает на приглашение, лишь вытягивается, оправдывая ожидание.

Этими запоздалыми рассуждениями, Б. С., я надеюсь хотя бы отчасти вас вознаградить за то, что мешал вам в Эривани играть в шахматы.

Сухум

В начале апреля я приехал в Сухум – город траура, табака и душистых растительных масел. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа – здесь каждое слово начинается на «а». Язык абхазцев мощен и полногласен, но избыток верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами.

Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку «апсны» – хотя в отдаленном будущем академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает. Залежи ее имеют пределы. Уже сейчас молодые люди читают Пушкина на эсперанто. Каждому – свое!

Но какое грозное предостережение!..

Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского или с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью.

Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархат циркулем, который только что описал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся.

Хотя в общественной жизни Абхазии есть много наивной грубости и злоупотреблений, нельзя не плениться административным и хозяйственным изяществом небольшой

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru приморской республики, гордой своими драгоценными почвами, самшитовыми лесами, оливковым совхозом на Новом Афоне и высоким качеством т кварчельского угля.

Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок с серой древнерусской мордочкой околпаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло. Прямо с моря накатывали свежие автомобили, вспарывая шинами вечнозеленую гору... Из-под пальмовой коры выбивалась седая мочала театральных париков, и в парке, как шестипудовые свечи, каждый день стреляли вверх на вершок цветущие агавы.

Подвойский произносил нагорные проповеди о вреде курения и отечески журил садовников. Однажды он задал мне глубоко поразивший меня вопрос:

– Каково было настроение мелкой буржуазии в Киеве в 19-м году?

Мне кажется, его мечтой было процитировать «Капитал» Карла Маркса в шалаше Поля и Виргинии.

В двадцативерстных прогулках, сопровождаемый молчаливыми латышами, я развивал в себе чувство рельефа местности.

Тема: бег к морю пологих вулканических холмов, соединенных цепочкой – для пешехода.

Вариации: зеленый ключик высоты передается от вершины к вершине и каждая новая гряда запирает лощину на замок.

Спустились к немцам – в «дорф», в котловину, и были густо обляяны овчарками.

..... * *

Я был в гостях у Гулиа – президента абхазской Академии наук и чуть не передал ему поклон от Тартарена и оружейника Костекальда.

Чудесная провансальская фигура!

Он жаловался на трудности, сопряженные с изобретением абхазского алфавита, говорил с почтением о петербургском гаере Евреинове, который увлекался в Абхазии культом козла, и сетовал на недоступность серьезных научных исследований ввиду отдаленности Тифлиса.

Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костяных вязальных спиц. Разбойник кий разорял пирамиду, и четверо эпических молодцов из армии Блюхера, схожие, как братья, дежурные, четкие, с бульбой в груди – находили аховую прелесть в игре.

И старики партийцы от них не отставали.

С балкона ясно видна в военный бинокль дорожка и трибуна на болотном маневренном лугу цвета бильярдного сукна. Раз в год бывают большие скачки на выносливость для всех желающих.

Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победителя.

Родичи, разбросанные по многоверстному эллипсу, ловко подают на шестах мокрые тряпки разгоряченным наездникам.

На дальнем болотном лугу экономный маяк вращал бриллиантом Тэта.

И как-то я увидел пляску смерти – брачный танец фосфорических букашек. Сначала казалось, будто попыхивают огоньки тончайших блуждающих пахитосок, но росчерки их были слишком рискованные, свободные и дерзкие.

Черт знает куда их заносило!

Подойдя ближе: электрифицированные сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
вычерчивают, пожирают черное чтиво настоящей минуты.

Наше плотное тяжелое тело истлеет, точно так же и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия. Да поможет нам книга, резец и голос и союзник его – глаз.

Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий!

Безыменский, силач, подымающий картонные гири, круглоголовый, незлобивый чернильный купец, нет, не купец, а продавец птиц, – и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа, – он все сутулился, напевал и бодал людей своим голубоглазием.

Неистошимый оперный репертуар клокотал в его горле. Концертно-садовая, боржомная бодрость никогда его не покидала. Байбак с мандолиной в душе, он жил на струне романса, и сердцевина его пела под иглой граммофона.

Французы

Тут я растягивал зрение и окунал глаза в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза. Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку – на синий морской околодок...

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема.

Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка.

И я начинал понимать, что такое обязательность цвета – азарт голубых и оранжевых маек – и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.

Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсевочек, опорожнялась рюмочка, а там из верхнего шкапчика в нижнюю склянницу та же струйка золотого самума.

Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик. Лучший желудь французских лесов.

Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.

Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы; плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять – катышки желтоватого сливочного мороженого.

Зато я невзлюбил Матисса, художника богачей. Красная краска его холстов шипит содой. Ему незнакома радость наливающихся плодов. Его могущественная кисть не исцеляет зрение, но бычью силу ему придает, так что глаза наливаются кровью.

Уж мне эти ковровые шахматы и одалиски!

Шахские прихоти парижского мэтра!

Дешевые овощные краски Ван-Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су.

Ван-Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как желоб, в электрическом бешенстве. И узкое корыто бильярда напоминает колоду гроба.

Я никогда не видел такого лающего колорита.

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия – карты из школы Берлица.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Монэ воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей.

Синьяк придумал кукурузное солнце.

Объяснительница картин ведет за собой культурников. Посмотришь – и скажешь: магнит притягивает утку.

Озенфан сработал нечто удивительное – красным мелом и грифельными белками на черном аспидном фоне, – модулируя формы стеклянного дутья и хрупкой лабораторной посуды.

А еще вам кланяется синий еврей Пикассо и серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах.

Но не довольно ли?

В дверях уже скучает обобщение.

Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма я посоветовал бы такой способ смотреть картины.

Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам...

Прогулочным шагом, как по бульвару, – насквозь!

Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи.

Спокойно, не горячася, – как татарчата купают в Алуште лошадей, – погружайте глаз в новую для него материальную среду и помните, что глаз благородное, но упрямое животное.

Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации, – все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами.

Когда это равновесие достигнуто – и только тогда – начинайте второй этап реставрации картины, ее отмыкания, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной и сгущенной действительностью.

Тончайшими кислотными реакциями глаз – орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он нянчится, как с писаной торбой, – поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия.

Материал живописи организован беспроектно, и в этом его отличие от природы. Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.

А путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны.

Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце – завернутым в серебряную бумагу. И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину – очная ставка с замыслом.

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный, почтительный. Оба в трауре. Женщина совала пучок редиски в ридикюль.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок, – и все это

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
– отдаленное и липовое – было напихано в веревочную сетку.

Вокруг натуралистов

Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках. Вы думаете, он так же мирился с эволюцией, как научные дикари XIX века? А по-моему, стыд за природу ожег смуглые щеки Ламарка. Он не прощал природе пустячка, который называется изменчивостью видов.

Вперед! Aux armes! [10] Омоем с себя бесчестие эволюции.

Чтение натуралистов-систематиков (Линнея, Бюффона, Палласа) прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Россия в изображении замечательного натуралиста Палласа: бабы гонят краску мариону из квасцов с березовыми листьями, липовая кора сама сдирается на лыки, заплетается в лапти и лукошки. Мужики употребляют густую нефть как лекарственное масло. Чувашки звякают балаболочками в косах.

Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта – тот ни черта не поймет в Палласе.

Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. Белыми руками концертмейстера он собирает российские грибы. Сырая замша, гнилой бархат, а разломишь – внутри лазурь.

Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта – тот ничего не поймет в Палласе.

Поговорим о физиологии чтения. Богатая, неисчерпанная и, кажется, запретная тема. Из всего материального, из всех физических тел книга – предмет, внушающий человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.

Будучи всецело охвачены деятельностью чтения, мы любуемся главным образом своими родовыми свойствами, испытываем как бы восторг перед классификацией своих возрастов.

Но если Линней, Бюффон и Паллас окрасили мою зрелость, то я благодарю кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.

В зоологическом музее:

Кап... кап... кап...

– кот наплакал эмпирического опыта.

Да заверните же, наконец, кран!

Довольно!

Я заключил перемирие с Дарвином и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если бы они обедали вместе, с ними сам-третий сидел бы мистер Пикквик. Нельзя не плениться добродушием Дарвина. Он непреднамеренный юморист. Ему присущ (сопутствует) юмор ситуации.

Но разве добродушие – метод творческого познания и достойный способ жизнеощущения?

В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического бытия – ад для человека.

Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильная, развитая, в лодочку. Головка незначительная, кошачья.

Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелка, который побывал и в Чесме, и при Трафальгаре.

И вдруг я поймал себя на диком желании взглянуть на природу нарисованными глазами этого чудовища.

Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда.

Ламарк выплакал глаза в лупу. В естествознании он – единственная шекспировская фигура.

Смотрите, этот раскрасневшийся полупочтенный старец сбегает вниз по лестнице живых существ, как молодой человек, обласканный министром на аудиенции или осчастливленный любовницей.

Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривают рост организма как результат изменчивости внешней среды. Это было бы уж чересчур большой наглостью. Среда лишь приглашает организм к росту. Ее функции выражаются в известной благосклонности, которая постепенно и непрерывно погашается суровостью, связывающей живое тело и награждающей его смертью.

Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма – приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов.

Когда дирижер вытягивает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучание уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий.

У Ламарка басенные звери. Они приспособляются к условиям жизни по Лафонтену. Ноги цапли, шея утки и лебедя, язык муравьеда, асимметричное и симметрическое строение глаз у некоторых рыб.

Лафонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализующие рассудительные звери были прекрасным живым материалом для эволюции. Они уже разверстали между собой ее мандаты.

Парнокопытный разум млекопитающих одевает их пальцы закругленным рогом.

Кенгуру передвигаются логическими скачками.

Это сумчатое в описании Ламарка состоит из слабых, то есть примирившихся со своей ненужностью, передних ног, из сильно развитых, то есть убежденных в своей важности, задних конечностей и мощного тезиса, именуемого хвостом.

Уже расположились дети играть в песочек у подножья эволюционной теории дедушки Крылова, то бишь Ламарка – Лафонтена. Найдя себе убежище в Люксембургском саду, она обросла мячами и воланами.

А я люблю, когда Ламарк изволит гневаться и вдребезги разбивается вся эта швейцарская педагогическая скука. В понятие природы врывается марсельеза!

Самцы жвачных сшибаются лбами. У них еще нет рогов.

Но внутреннее ощущение, порожденное гневом, направляет к лобному отростку «флюиды», способствующие образованию рогового и костяного вещества.

Снимаю шляпу. Пропускаю учителя вперед. Да не умолкнет юношеский гром его красноречия!

«Еще» и «уже» – две светящиеся точки ламарковской мысли, живчики эволюционной славы и светописи, сигнальщики и застрельщики формообразования.

Он был из породы старых настройщиков, которые бренчат костлявыми пальцами в чужих хоробах. Ему разрешались лишь хроматические крючки и детские арпеджио.

Наполеон позволял ему настраивать природу, потому что считал ее императорской собственностью.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
В зоологических описаниях Линнея нельзя не отметить преемственной связи и некоторой зависимости от ярмарочного зверинца. Владелец странствующего балагана или наемный шарлатан-объяснитель стремится показать товар лицом. Эти зазывалы-объяснители меньше всего думали о том, что им придется сыграть некоторую роль в происхождении стиля классического естествознания. Они ввали напропалую, мололи чушь на голодный желудок, но при этом сами увлекались своим искусством. Их вывозила нелегкая кривая, а также профессиональный опыт и прочная традиция ремесла.

Линней ребенком в маленькой Упсале не мог не посещать ярмарок, не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце. Как и все мальчики, он млея и таял перед ученым детиной в ботфортах и с хлыстом, перед доктором баснословной зоологии, который расхваливал пуму, размахивая огромными красными кулачищами.

Сближая важные творения шведского натуралиста с красноречием базарного говоруна, я отнюдь не намерен принизить Линнея. Я хочу лишь напомнить, что натуралист – профессиональный рассказчик, публичный демонстратор новых интересных видов.

Раскрашенные портреты зверей из линнеевской «Системы природы» могли висеть рядом с картинками Семилетней войны и олеографией блудного сына.

Линней раскрасил своих обезьян в самые нежные колониальные краски. Он обмакивал свою кисточку в китайские лаки, писал коричневым и красным перцем, шафраном, оливой, вишневым соком. При этом со своей задачей он справлялся проворно и весело, как цирюльник, бредущий бюргермейстера, или голландская хозяйка, размалывающая кофе на коленях в утробистой мельнице.

Восхитительная Колумбова яркость Линнеева обезьянника.

Это Адам раздает похвальные грамоты млекопитающим, призвав себе на помощь багдадского фокусника и китайского монаха.

Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным оком.

Безгрешная и чувственная, она лучше всего убеждает в том, что жизнь – драгоценный неотъемлемый дар.

Люблю мусульманские эмали и камеи.

Продолжая мое сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.

Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!

У леопардов хитрые уши наказанных школьников.

Плакучая ива свернулась в шар, обтекает и плавает.

Адам и Ева освещаются, одетые по самой последней моде.

Горизонт упразднен. Нет перспективы. Очаровательная недогадливость. Благородное лестничное восхождение лисицы и чувство прислоненности садовника к ландшафту и к архитектуре.

Вчера читал Фирдусси, и мне показалось, будто на книге сидит шмель и сосет ее.

В персидской поэзии дуют посольские подарочные ветры из Китая.

Она черпает долголетие серебряной разливательной ложкой, одаривая им кого захочет лет тысячи на три или на пять. Поэтому цари из династии Джемаджидов долговечны, как попугаи.

Быв добрыми невероятно долгое время, любимцы Фирдусси внезапно и ни с того ни с сего делаются злыднями, повинувшись единственно роскошному произволу вымысла.

Земля и небо в книге «Шах-намэ» больны базедовой болезнью – они восхитительно

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
пучеглазы.

Я взял Фирдусси у Государственного библиотекаря Армении – Мамикона Артемьевича Геворкьяна. Мне принесли целую стопку синих томиков – числом, кажется, восемь. Слова благородного прозаического перевода – это было французское издание Молля – благоухали розовым маслом.

Мамикон, пожевав отвислой губернаторской губой, пропел своим неприятным верблюжьим голосом несколько стихов по-персидски.

Геворкьян красноречив, умен и любезен, но эрудиция его чересчур шумная и напористая, а речь жирная, адвокатская.

Читатели вынуждены удовлетворять свою любознательность тут же, в кабинете директора, – под его личным присмотром, и книги, подаваемые на стол этого сатрапа, получают вкус мяса розовых фазанов, горьких перепелок, мускусной оленины и плутоватой зайчатины.

Аштарак
Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату.

Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями.

А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдуманно синицей в духе древнейшего атеизма.

Ямщицкая гора, сверкающая снегом, кротовое поле, как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями, нумерованные бараки строительства и набитая пассажирами консервная жестянка – вот вам окрестности Эривани.

И вдруг – скрипка, расхищенная на сады и дома, разбитая на систему этажерок, – с распорками, перехватами, жердочками, мостиками.

Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов – отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано.

Ночлег пришелся в обширном четырехспальном доме раскулаченных. Правление колхоза вытрусил из него обстановку и учредило в нем деревенскую гостиницу. На террасе, способной приютить все семя Авраама, скорбел удойный умывальник.

Фруктовый сад – тот же танцкласс для деревьев. Школьная робость яблонь, алая грамотность вишен... Вы посмотрите на их кадрили, их ритурнели и рондо.

Я слушал журчание колхозной цифири. В горах прошел ливень, и хляби уличных ручьев побежали шибче обыкновенного.

Вода звенела и раздувалась на всех этажах и этажерках Аштарака – и пропускала верблюда в игольное ушко.

Ваше письмо на 18 листах, исписанное почерком прямым и высоким, как тополевая аллея, я получил и на него отвечаю:

Первое столкновение в чувственном образе с материей древнеармянской архитектуры.

Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натывается на заплесневевший хлеб природы или на каменный пирог.

Зубы зрения крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армянские церкви.

Армянский язык – неизнашиваемый – каменные сапоги. Ну, конечно, толстостепенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарование в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже – на какой-то глубине постыдные.

Был пресный кипяток в жестяном чайнике, и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая.

Так было у меня с армянским языком.

Я в себе выработал шестое – «араратское» чувство: чувство притяжения горой.

Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительное и останется.

Аштаракская церковка самая обыкновенная и для Армении смиренная. Так – церквушка в шестигранной камилавке с канатным орнаментом по карнизу кровли и такими же веревочными бровками над скупыми устами щелистых окон.

Дверь – тише воды, ниже травы.

Встал на цыпочки и заглянул внутрь: но там же купол, купол!

Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысячные толпы, и пальмы, и море свечей, и носилки.

Там углубленные сферы апсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север, запад, юг, восток – с выколотыми глазами тычутся в воронкообразные ниши, обшаривают очаги и междуочажья и не находят себе места.

Кому же пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту нищую темницу – чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?

Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и осматривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжения по грамматике Марра.

Учитель Ашот вмурован в плоскостенный дом свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго.

Стукнув пальцем по коробу капитанского барометра, он шел во двор – к водоему и на клетчатом листке чертил кривую осадков.

Он возделывал малотоварный фруктовый участок в десятичную долю гектара, крошечный вертоград, запеченный в каменно-виноградном пироге Аштарак, и был исключен, как лишний едок, из колхоза.

В дупле комода хранился диплом университета, аттестат зрелости и водянистая папка с акварельными рисунками – невинная проба ума и таланта.

В нем был гул несовершенного прошедшего.

Труженик в черной рубашке с тяжелым огнем в глазах, с открытой театральной шеей, он удалялся в перспективу исторической живописи – к шотландским мученикам, к Стюартам.

Еще не написана повесть о трагедии полуобразования.

Мне кажется, биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой, как некогда «Вертер».

Аштарак – селение богатое и хорошо угнездившееся – старше многих европейских городов. Славится праздниками жатвы и песнями ашугов. Люди, кормящиеся около винограда, – женолюбивы, общительны, насмешливы, склонны к обидчивости и ничегонеделанью. Аштаракцы не составляют исключения.

С неба упало три яблока: первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, третье тому, кто понял. Так кончается большинство армянских сказок. Многие из

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
них записаны в Аштараке. В этом районе – фольклорная житница Армении.

Алагез

– Ты в каком времени хочешь жить?

– Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном – в «долженствующем быть».

Так мне дышится. Так мне нравится. Есть верховая, конная басмаческая честь. Оттого-то мне и славный латинский «герундиум» – это глагол на коне.

Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги как прообраз всей нашей культуры, и не только «долженствующая быть», но «долженствующая быть хвалимой» – *laudatura est* – та, что нравится...

Такую речь я вел с самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевбищам и гигантским пастбищам Алагеза.

В Эривани Алагез торчал у меня перед глазами, как «здрасьте» и «прощайте». Я видел, как день ото дня подтаивала его снеговая корона, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабранные кручи.

И я тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов.

Кусок Алагеза жил тут же, со мной, в гостинице. На подоконнике почему-то валялся увесистый образчик черного вулканического стекла – камень обсидиан. Визитная карточка в пуд, забытая какой-нибудь геологической экспедицией.

Подступы к Алагезу не утомительны, и ничего не стоит взять его верхом, несмотря на 14 000 футов. Лава заключена в земляные опухоли, по которым едешь, как по маслу.

Из окна моей комнаты на пятом этаже эриванской гостиницы я составил себе совершенно неверное представление об Алагезе. Он мне казался монолитным хребтом. На самом деле он складчатая система и развивается постепенно – по мере подъема шарманка диоритовых пород раскручивалась, как альпийский вальс.

Ну и емкий денек выпал мне на долю! И сейчас, как вспомню, екает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Иакова.

Деревня Бьюракан ознaменована охотой за цыплятами. Желтенькими шариками они катались по полу, обреченные в жертву нашему людоедскому аппетиту.

В школе к нам присоединился странствующий плотник – человек бывалый и проворный. Хлебнув коньяку, он рассказал, что знать не хочет ни артелей, ни профсоюзов. Руки-де у него золотые, и везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит заказчика – по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде.

Родом он, кажется, был чех и вылитый крысолов с удочкой.

В Бьюракане я купил большую глиняную солонку, с которой потом было много возни.

Представьте себе грубую песочницу – бабу в фижмах или роброне, с кошачьей головкой и большим круглым ртом на самой середине робы, куда свободно залезает пятерня.

Счастливая находка из богатой, впрочем, семьи предметов такого рода. Но символическая сила, вложенная в него первобытным воображением, не ускользнула даже от поверхностного внимания горожан.

Везде крестьянки с плачущими лицами, волочащимися движениями, красными веками и растрескавшимися губами. Походка их безобразна, словно они больны водянкой или растяжением жил. Они движутся, как горы усталого тряпья, заметая пыль подолами.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Мухи едят ребят, гроздьями забираются в уголок глаза.

Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша – столько в ней благородства, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести.

Кони идут по диванам, ступают на подушки, протаптывают валики. Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

Видел могилу курда-великана сказочных размеров и принял ее как должное.

Передняя лошадка чеканила копытами рубли, и щедрости ее не было пределов.

На луке седла моего болталась неощипанная курица, зарезанная утром в Бьюракане.

Изредка конь нагибался к траве, и шея его выражала покорность упрямянам, народу, который старше римлян.

Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали. Около каждого колодворья шел каракулевый митинг. Казалось, брякали. Казалось, десятки мелких цирковладельцев разбили свои палатки и балаганы на вшивой высоте и, не подготовленные к валовому сбору, застигнутые врасплох, копошились в кошах, звенели посудой для удоя и запихивали в лежбище ягнят, спеша заключить на всю ночь и свое володарство – распределяя по лайгороду намыкавшиеся, дымящиеся, отсыревшие головы скота.

Армянские и курдские коши по убранству ничем не отличаются. Это оседлые урочища скотоводов на террасах Алагеза, дачные стойбища, разбитые на облюбованных местах.

Каменные бордюры обозначают планировку шатра и примыкающего к нему двора с оградой, вылепленной из навоза. Покинутые или незанятые коши лежат, как пожарища.

Проводники, взятые из Бьюракана, обрадовались ночевке в Камарлу: там у них были родичи.

Бездетные старик со старухой приняли нас на ночь в лоно своего шатра.

Старуха двигалась и работала с плачущими, удаляющимися и благословляющими движениями, приготавливая дымный ужин и постельные войлочные коши.

– На, возьми войлок! На, возьми одеяло... Да расскажи что-нибудь о Москве.

Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку. Жена вынула чистую бязевую солдатскую рубаху и обрядила ею мужа.

Я стеснялся, как во дворце.

1 Тело Аршака неумыто, и борода его одичала.

2 Ногти царя сломаны, и по лицу его ползает мокрица.

3 Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку.

4 Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время – он прижимал виноград к небу и был ловок, как кончик языка флейтиста.

5 Семя Аршака зачало в мешочке, и голос его жидок, как бляение овцы...

6 Царь Шапух – как думает Аршак – взял верх надо мной, и – хуже того – он взял

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
мой воздух себе.

7 Ассириец держит мое сердце.

8 Он – начальник волос моих и ногтей моих. Он отпускает мне бороду и глотает
слюну мою, – до того привык он к мысли, что я нахожусь здесь – в крепости Ануш.

9 Народ кушанов возмутился против Шапуха.

10 Они прорвали границу в незащищенном месте, как шелковый шнур.

11 Наступление кушанов колело и беспокоило царя Шапуха, как ресница, попавшая в
глаз.

12 Обе стороны сражались, зажмурившись, чтобы не видеть друг друга.

13 Некий Драстамат, самый образованный и любезный из евнухов, был в середине
войска Шапуха, ободрял командующего конницей, подольстился к владыке, вывел его,
как шахматную фигуру, из опасности и все время держался на виду.

14 Он был губернатором провинции Андекс в те дни, когда Аршак бархатным голосом
отдавал приказания.

15 Вчера был царь, а сегодня провалился в щель, скрючился в утробе, как
младенец, согревается вшами и наслаждается чесоткой.

16 Когда дошло до награждения, Драстамат вложил в острые уши ассирийца просьбу,
щекочущую, как перо:

17 Дай мне пропуск в крепость Ануш. Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный
день, полный слышания, вкуса и обоняния, как бывало раньше, когда он развлекался
охотой и заботился о древонасаждении.

Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется,
припоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашками по позвоночнику.
Бархатные луга отягощают и щекочут веки. Прележни оврагов вхрамываются в бока.

Сон мурует тебя, замуровывает... Последняя мысль: нужно объехать какую-то гряду...

Слово и культура
Франсуа Виллон

I

Астрономы точно предсказывают возвращение кометы через большой промежуток
времени. Для тех, кто знает Виллона, явление Верлэна представляется именно таким
астрономическим чудом. Вибрация этих двух голосов поразительно сходная. Но кроме
тембра и биографии поэтов связывает почти одинаковая миссия в современной им
литературе. Обоим суждено было выступить в эпоху искусственной, оранжерейной
поэзии, и подобно тому, как Верлэн разбил *serres chaudes* [11] символизма, Виллон
бросил вызов могущественной риторической школе, которую с полным правом можно
считать символизмом XV века. Знаменитый Роман о Розе впервые построил
непроницаемую ограду, внутри которой продолжала сгущаться тепличная атмосфера,
необходимая для дыхания аллегорий, созданных этим романом. Любовь, Опасность,
Ненависть, Коварство – не мертвые отвлеченности. Они не бесплотны. Средневековая
поэзия дает этим призракам как бы астральное тело и нежно заботится об
искусственном воздухе, столь нужном для поддержания их хрупкого существования.
Сад, где живут эти своеобразные персонажи, обнесен высокой стеной. Влюбленный,
как повествует начало «Романа о Розе», долго бродил вокруг этой ограды в тщетных
поисках незаметного входа.

Поэзия и жизнь в XV веке – два самостоятельных, враждебных измерения. Трудно
поверить, что мэтр Аллен Шартье подвергся настоящему гонению и терпел житейские
неприятности, вооружив тогдашнее общественное мнение слишком суровым приговором
над Жестокой Дамой, которую он утопил в колодце слез, после блестящего суда, с
соблюдением всех тонкостей средневекового судопроизводства. Поэзия XV века
автономна: она занимает место в тогдашней культуре, как государство в
государстве. Вспомним Двор любви Карла VI: разнообразные должности охватывают
700 человек, начиная от высшей синьории, кончая мелкими буржуа и низшими
клериками. Исключительно литературный характер этого учреждения объясняет

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
пренебрежение к сословным перегородкам. Гипноз литературы был настолько силен, что члены подобных ассоциаций разгуливали по улицам, украшенные зелеными венками – символом влюбленности, – желая продлить литературный сон в действительности.

II

Франсуа Монкорбье (де Лож) родился в Париже в 1431 году, во время английского владычества. Нищета, окружавшая его колыбель, сочеталась с народной бедой и, в частности, с бедой столицы. Можно было ожидать, что литература того времени будет исполнена патриотического пафоса и жажды мести за оскорбленное достоинство нации. Между тем ни у Виллона, ни у его современников мы не найдем таких чувств. Франция, полоненная чужеземцами, показала себя настоящей женщиной. Как женщина в плену, она отдавала главное внимание мелочам своего культурного и бытового туалета, с любопытством присматриваясь к победителям. Высшее общество, вслед за своими поэтами, по-прежнему уносилось мечтой в четвертое Измерение Садов любви и Садов отрады, а для народа по вечерам зажигались огни таверны и в праздники разыгрывались фарсы и мистерии.

Женственно-пассивная эпоха наложила глубокий отпечаток на судьбу и на характер Виллона. Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то должен о нем заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений. Уже зрелым человеком, брошенный епископом Орлеанским в подвал темницы Meung sur Loire, он жалобно взывает к своим друзьям: «Le laissez-vous là, le pauvre Villon?..»[12] Социальная карьера франсуа Монкорбье началась с того, что его взял под опеку Гильом Виллон, почтенный каноник монастырской церкви Saint-benoît le Bestourne. По собственному признанию Виллона, старый каноник был для него «больше чем матерью». В 1449 году он получает степень бакалавра, в 1452 – лиценциата и мэтра. «О господи, если бы я учился в дни моей безрассудной юности и посвятил себя добрым нравам – я получил бы дом и мягкую постель. Но что говорить! Я бежал от школы, как лукавый мальчишка: когда я пишу эти слова – сердце мое обливается кровью». Как это ни странно, мэтр франсуа Виллон одно время имел нескольких воспитанников и обучал их, как мог, школьной премудрости. Но, при свойственном ему честном отношении к себе, он сознавал, что не вправе титуловаться мэтром, и предпочел в балладах называть себя «бедным маленьким школяром». Да и особенно трудно было заниматься Виллону, так как, будто нарочно, на годы его учения выпали студенческие волнения 1451 – 1453 гг. Средневековые люди любили считать себя детьми города, церкви, университета... Но «дети университета» исключительно вошли во вкус шалостей. Была организована героическая охота за наиболее популярными вывесками парижского рынка. Олень должен был повенчать козу и медведя, а попугая предполагали поднести молодым в подарок. Студенты похитили пограничный камень из владений Mademoiselle La Bruyère, водрузили его на горе св. Женевьевы, назвав la Vesse[13], и, силой отбив от властей, прикрепили к месту железными обручами. На круглый камень поставили другой – продолговатый – «Pêl au Diable»[14] и поклонялись им по ночам, осыпав их цветами, танцуя вокруг под звуки флейт и тамбуринов. Взбешенные мясники и оскорбленная дама затеяли дело. Прево Парижа объявил студентам войну. Столкнулись две юрисдикции – и дерзкие сержанты должны были на коленях, с зажженными свечами в руках, просить прощения у ректора. Виллон, несомненно стоявший в центре этих событий, запечатлел их в не дошедшем до нас романе «Pêl au Diable».

III

Виллон был парижанин. Он любил город и праздность. К природе он не питал никакой нежности и даже издевался над нею. Уже в XV веке Париж был тем морем, в котором можно было плавать, не испытывая скуки и позабыв об остальной вселенной. Но как легко натолкнуться на один из бесчисленных рифов праздного существования! Виллон становится убийцей. Пассивность его судьбы замечательна. Она как бы ждет быть оплодотворенной случаем, все равно – злым или добрым. В нелепой уличной драке 5-го июня Виллон тяжелым камнем убивает священника Шермуа. Приговоренный к повешению, он апеллирует и, помилованный, отправляется в изгнание. Бродяжничество окончательно расшатало его нравственность, сблизив его с преступной бандой la Coquille[15], членом которой он становится. По возвращении в Париж он участвует в крупном воровстве в Collège de Navarre[16] и немедленно бежит в Анжер – из-за несчастной любви, как он уверяет, на самом же деле для подготовки ограбления своего богатого дяди. Скрываясь с парижского горизонта, Виллон публикует «Petit Testament»[17]. Затем следуют годы беспорядочного скитания, с остановками при феодальных дворах и в тюрьмах. Амнистированный Людовиком XI 2-го октября 1461 года, Виллон испытывает глубокое творческое волнение, его мысли и чувства становятся необычайно острыми, и он создает «Grand

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
Testament»[18] – свой памятник в веках. В ноябре 1463 года Франсуа Виллон был созерцательным свидетелем ссоры и убийства на улице Saint Jacques. Здесь кончаются наши сведения о его жизни и обрывается его темная биография.

IV

Жесток XV век к личным судьбам. Многих порядочных и трезвых людей он превратил в Иовов, ропщущих на дне своих смрадных темниц и обвиняющих Бога в несправедливости. Создался особый род тюремной поэзии, проникнутой библейской горечью и суровостью, насколько она доступна вежливой романской душе. Но из хора узников резко выделяется голос Виллона. Его бунт больше похож на процесс, чем на мятеж. Он сумел соединить в одном лице истца и ответчика. Отношение Виллона к себе никогда не переходит известных границ интимности. Он нежен, внимателен, заботлив к себе не более, чем хороший адвокат к своему клиенту. Самосострадание – паразитическое чувство, тлетворное для души и организма. Но сухая юридическая жалость, которой дарит себя Виллон, является для него источником бодрости и непоколебимой уверенности в правоте своего «процесса». Весьма безнравственный, «аморальный» человек, как настоящий потомок римлян, он живет всецело в правовом мире и не может мыслить никаких отношений вне подсудности и нормы. Лирический поэт, по природе своей, – двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога. Ни в ком так ярко не сказался этот «лирический гермафродитизм», как в Виллоне. Какой разнообразный подбор очаровательных дуэтов: огорченный и утешитель, мать и дитя, судья и подсудимый, собственник и нищий...

Собственность всю жизнь манила Виллона, как музыкальная сирена, и сделала из него вора... и поэта. Жалкий бродяга, он присваивает себе недоступные ему блага с помощью острой иронии.

Современные французские символисты влюблены в вещи, как собственники. Быть может, самая «душа вещей» не что иное, как чувство собственника, одухотворенное и облагороженное в лаборатории последовательных поколений. Виллон отлично создал пропасть между субъектом и объектом, но понимал ее как невозможность обладания. Луна и прочие нейтральные «предметы» бесповоротно исключены из его поэтического обихода. Зато он сразу оживляется, когда речь заходит о жареных под соусом утках или о вечном блаженстве, присвоить себе которое он никогда не теряет окончательной надежды.

Виллон живописует обворожительный *intérieur* в голландском вкусе, подглядывая в замочную скважину.

V

Симпатия Виллона к подонкам общества, ко всему подозрительному и преступному – отнюдь не демонизм. Темная компания, с которой он так быстро и интимно сошелся, пленила его женственную природу большим темпераментом, могучим ритмом жизни, которого он не мог найти в других слоях общества. Нужно послушать, с каким вкусом рассказывает Виллон в «Ballade de la grosse Margot»[19] о профессии сутенера, которой он, очевидно, не был чужд: «Когда приходят клиенты, я схватываю кувшин и бегу за вином». Ни обескровленный феодализм, ни новая буржуазия, с ее тяготением к фламандской тяжести и важности, не могли дать исхода огромной динамической способности, каким-то чудом накопленной и сосредоточенной в парижском клерке. Сухой и черный, безбровый, худой, как Химера, с головой, напоминавшей, по его собственному признанию, очищенный и поджаренный орех, пряча шпагу в полувоенском одеянии студента, – Виллон жил в Париже, как белка в колесе, не зная ни минуты покоя. Он любил в себе хищного, сухопарого зверька и дорожил своей потрепанной шкуркой: «Не правда ли, Гарнье, я хорошо сделал, что апеллировал, – пишет он своему прокурору, избавившись от виселицы, – не каждый зверь сумел бы так выкрутиться». Если б Виллон в состоянии был бы дать свое поэтическое *credo*, он, несомненно, воскликнул бы, подобно Верлену:

Du mouvement avant toute chose![20]

Могущественный визионер, он грезит собственным повешением накануне вероятной казни. Но, странное дело, с непонятным ожесточением и ритмическим воодушевлением изображает он в своей балладе, как ветер раскачивает тела несчастных, туда-сюда, по произволу... И смерть он наделяет динамическими свойствами и здесь умудряется проявить любовь к ритму и движению... Я думаю, что Виллона пленил не демонизм, а динамика преступления. Не знаю, существует ли обратное отношение между нравственным и динамическим развитием души? Во всяком случае, оба завещания

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru Виллона, и большое и малое, – этот праздник великолепных ритмов, какого до сих пор не знает французская поэзия, – неизлечимо аморальны. Жалкий бродяга дважды пишет свое завещание, распределяя направо и налево свое мнимое имущество, как поэт, иронически утверждая свое господство над всеми вещами, какими ему хотелось бы обладать: если душевные переживания Виллона, при всей оригинальности, не отличались особой глубиной, – его житейские отношения, запутанный клубок знакомств, связей, счетов – представляли комплекс гениальной сложности. Этот человек ухитрился стать в живое, насущное отношение к огромному количеству лиц самого разнообразного звания, на всех ступенях общественной лестницы – от вора до епископа, от кабатчика до принца. С каким наслаждением рассказывает он их подноготную! Как он точен и меток! «Testaments» Виллона пленительны уже потому, что в них сообщается масса точных сведений. Читателю кажется, что он может ими воспользоваться, и он чувствует себя современником поэта. Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целостность, остаться тем же «сейчас». Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней – иначе оно завянет. Виллон умел это делать. Колокол Сорбонны, прервавший его работу над «Petit Testament», звучит до сих пор.

Как принцы трубадуров, Виллон «пел на своей латыни»: когда-то, школяром, он слышал про Алкивиада – и в результате незнакомка Archipiade примыкает к грациозному шестивью Дам былых времен.

VI

Средневековье цепко держалось за своих детей и добровольно не уступало их Возрождению. Кровь подлинного средневековья текла в жилах Виллона. Ей он обязан своей цельностью, своим темпераментом, своим духовным своеобразием. Физиология готики – а такая была, и средние века именно физиологически-гениальная эпоха – заменила Виллону мировоззрение и с избытком вознаградила его за отсутствие традиционной связи с прошлым. Более того – она обеспечила ему почетное место в будущем, так как XIX век французской поэзии черпал свою силу из той же национальной сокровищницы – готики. Скажут: что имеет общего великолепная ритмика «Testaments», то фокусничающая, как бильбоке, то замедленная, как церковная кантилена, с мастерством готических зодчих? Но разве готика не торжество динамики? Еще вопрос, что более подвижно, более текуче – готический собор или океанская зыбь? Чем, как не чувством архитектоники, объясняется дивное равновесие строфы, в которой Виллон поручает свою душу Троице через Богоматерь – *Chambre de la Divinite*[21] – и девять небесных легионов. Это не анемичный полет на восковых крыльшках бессмертия, но архитектурно обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора. Кто первый провозгласил в архитектуре подвижное равновесие масс и построил крестовый свод – гениально выразил психологическую сущность феодализма. Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил. Служить не только значило быть деятельным для общего блага. Бессознательно средневековый человек считал службой, своего рода подвигом, неприкрашенный факт своего существования. Виллон, последний, эпигон феодального мироощущения, оказался невосприимчив к его этической стороне, круговой поруке. Устойчивое, нравственное в готике было ему вполне чуждо. Зато, равнодушный к динамике, он возвел ее на степень аморализма. Виллон дважды получал отпускные грамоты – *Lettres de rémission* – от королей: Карла VII и Людовика XI. Он был твердо уверен, что получит такое же письмо от Бога, с прощением всех своих грехов. Быть может, в духе своей сухой и рассудочной мистики он продолжил лестницу феодальных юрисдикций в бесконечность, и в душе его смутно бродило дикое, но глубоко феодальное ощущение, что есть Бог над Богом...

«Я хорошо знаю, что я не сын ангела, венчанного диадемой звезды или другой планеты», – сказал о себе бедный парижский школьник, способный на многое ради хорошего ужина.

Такие отрицания равноценны положительной уверенности.

Утро акмеизма

I

При огромном эмоциональном волнении, связанном с произведениями искусства, желательно, чтобы разговоры об искусстве отличались величайшей сдержанностью. Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно, лишь поскольку в нем просвечивает мироощущение художника. Между тем мироощущение для художника

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное – это само произведение.

Существовать – высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства. Зрелище математика, не задумываясь возводящего в квадрат какое-нибудь десятизначное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто мы упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно уплотненной реальности, которой оно обладает.

Эта реальность в поэзии – слово как таковое. Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, знаками, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова. Таким образом, если смысл считать содержанием, все остальное, что есть в слове, приходится считать простым механическим привеском, только затрудняющим быструю передачу мысли. Медленно рождалось «слово как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятия формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и по существу повторил грубую ошибку своих предшественников.

Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов.

И, если у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования.

II

Острие акмеизма – не стилет и не жало декадентства. Акмеизм – для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю – значит, я прав. Сознание своей правоты нам дороже всего в поэзии, и, с презрением отбрасывая бирюльки футуристов, для которых нет высшего наслаждения, как зацепить вязальной спицей трудное слово, мы вводим готику в отношения слов, подобно тому как Себастьян Бах утвердил ее в музыке.

Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден строить, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство. Владимир Соловьев испытывал особый пророческий ужас перед семью финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы волновало его, как злое колдовство. Но камень Тютчева, что «с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой иль был низвергнут мыслящей рукой», – есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания.

Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциально способность динамики – как бы попросился в «крестовый свод» – участвовать в радостном взаимодействии себе подобных.

III

Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по себе в клетке своего организма и в той мировой клетке, которую с помощью своих категорий построил Кант. Для того, чтобы успешно строить, первое условие – искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить. Строить можно только во имя «трех измерений», так как

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru они есть условие всякого зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими. Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто.

IV

Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается нами и входит в гораздо более значительное понятие организма. Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически-гениальным средневековьем. В погоне за утонченностью XIX век потерял секрет настоящей сложности. То, что в XIII веке казалось логическим развитием понятия организма – готический собор, – ныне эстетически действует как чудовищное. Notre Dame есть праздник физиологии, ее дионисийский разгул. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма.

Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг. Титул мэтра применялся охотно и без колебаний. Самый скромный ремесленник, самый последний клерк владел тайной солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для этой эпохи. Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу «равенству и братству» Великой Революции. Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сухих в заговоре против пустоты и небытия.

Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма.

V

A=A: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного *a realibus ad realiora*[22]. Способность удивляться – главная добродетель поэта. Но как же не удивиться тогда плодотворнейшему из законов – закону тождества? Кто проникся благоговейным удивлением перед этим законом – тот несомненный поэт. Таким образом, признав суверенитет закона тождества, поэзия получает в пожизненное ленное обладание все сущее без условий и ограничений. Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательства. Логическая связь – для нас не песенка о чижике, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в повиновении.

Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства! Доказывать и доказывать без конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру недостойно художника, легко и скучно...

Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить.

VI

Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством граней и перегородок. Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, возникших на романской почве около 1200 года. Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия».

О собеседнике

Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки – потому что они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные речи, потому что, обращаясь к вам, безумный не считается с вами, с вашим существованием, как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому нет до него никакого дела.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
Глубокий смысл имеет культурное притворство, вежливость, с помощью которой мы ежеминутно подчеркиваем интерес друг к другу.

Обыкновенно человек, когда имеет что-нибудь сказать, идет к людям, ищет слушателей; поэт же, наоборот, – бежит «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». Ненормальность очевидна.. Подозрение в безумии падает на поэта. И люди правы, когда клеймят именем безумца того, чьи речи обращены к бездушным предметам, к природе, а не к живым братьям. И были бы вправе в ужасе отмахнуться от поэта, как от безумного, если бы слово его действительно ни к кому не обращалось. Но это не так.

Да простит мне читатель наивный пример, но и с птичкой Пушкина дело обстоит не так уж просто. Прежде, чем запеть, она «гласу Бога внемлет». Очевидно, ее связывает «естественный договор» с хрестоматийным Богом – честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт.. С кем же говорит поэт? Вопрос мучительный и всегда современный. Предположим, что некто, оставляя совершенно в стороне юридическое, так сказать, взаимоотношение, которым сопровождается акт речи (я говорю – значит, меня слушают и слушают не даром, не из любезности, а потому, что обязаны), обратил свое внимание исключительно на акустику. Он бросает звук в архитектуру души и, со свойственной ему самовлюбленностью, следит за блужданиями его под сводами чужой психики. Он учитывает звуковое приращение, происходящее от хорошей акустики, и называет этот расчет магией. В этом отношении он будет похож на «*prestre Martin*»[23] средневековой французской пословицы, который сам служит мессу и слушает ее. Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций «коробки» – психики слушателя. В зависимости от этих пропорций – удар смычка или получает царственную полноту, или звучит убого и неуверенно. Но, друзья мои, ведь музыкальная пьеса существует независимо от того, кто ее исполняет, в каком зале и на какой скрипке! Почему же поэт должен быть столь предусмотрителен и заботлив? Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобностей поэта – слушателей, чья психика равноценна «раковине» работы Страдивариуса? Не знаем, никогда не знаем, где эти слушатели.. Франсуа Виллон писал для парижского сброда середины XV века, а мы находим в его стихах живую прелесть..

У каждого человека есть друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, к естественно близким ему людям? Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Я вправе был сделать это. Я не распечатал чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат.

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Читая стихотворение Боратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь, – и помог исполнить ее предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего. В бросании мореходом бутылки в волны и в посылке стихотворения Боратынским есть два одинаковых отчетливо выраженных момента. Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в частности определенно не адресованы. Тем не менее оба имеют адресата: письмо – того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение – «читателя в потомстве». Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Боратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени.

Я не знаю мудрости, годной для других.
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня,
Я ведь только облачко. Видите, плыву

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
И зову мечтателей... Вас я не зову!
Какой контраст представляет неприятный, заискивающий тон этих строк с глубоким и скромным достоинством стихов Боратынского. Бальмонт оправдывается, как бы извиняется. Непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, чего нельзя простить. Ведь поэзия есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание. Он явно потерял точку опоры. Первая строка убивает все стихотворение. Поэт сразу определенно заявляет, что мы ему неинтересны:

Я не знаю мудрости, годной для других.
Неожиданно для него, мы платим ему той же монетой: если мы тебе не интересны, и ты нам не интересен. Какое мне дело до какого-то облачка, их много плавают... Настоящие облака, по крайней мере, не издеваются над людьми. Отказ от «собеседника» красной чертой проходит через поэзию, которую я условно называю бальмонтовской. Нельзя третировать собеседника: непонятый и непризнанный, он жестоко мстит. У него мы ищем санкции, подтверждения нашей правоте. Тем более поэт. Заметьте, как любит Бальмонт ошеломлять прямыми и резкими обращениями на «ты»: в манере дурного гипнотизера. «Ты» Бальмонта никогда не находит адресата, проносясь мимо, как стрела, сорвавшаяся со слишком тугой тетивы.

И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Проницательный взор Боратынского устремляется мимо поколения, – а в поколении есть друзья, – чтобы остановиться на неизвестном, но определенном «читателе». И каждый, кому попадутся стихи Боратынского, чувствует себя таким «читателем» – избранным, окликнутым по имени... Почему же не живой конкретный собеседник, не «представитель эпохи», не «друг в поколеньи»? Я отвечаю: обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стихи, лишает его воздуха, полета. Воздух стиха есть неожиданное. Обращаясь к известному, мы можем сказать только известное. Это – властный, неколебимый психологический закон. Нельзя достаточно сильно подчеркнуть его значение для поэзии.

Страх перед конкретным собеседником, слушателем из «эпохи», тем самым «другом в поколеньи», настойчиво преследовал поэтов во все времена. Чем гениальнее был поэт, тем в более острой форме болел он этим страхом. Отсюда пресловутая враждебность художника и общества. Что верно по отношению к литератору, сочинителю, абсолютно неприменимо к поэту. Разница между литературой и поэзией следующая: литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Даже если он пророчествует, он имеет в виду современника будущего. Литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение – нерв литературы. Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно. Тот же Франсуа Виллон стоит гораздо ниже среднего нравственного и умственного уровня культуры XV века.

Ссору Пушкина с чернью можно рассматривать как проявление того антагонизма между поэтом и конкретным слушателем, который я пытаюсь отметить. С удивительным беспристрастием Пушкин предоставляет черни оправдываться. Оказывается, чернь не так уж дика и непросвещенна. Чем же провинилась эта очень деликатная и проникнутая лучшими намерениями «чернь» перед поэтом? Когда чернь оправдывается, с языка ее слетает одно неосторожное выражение: оно-то переполняет чашу терпения поэта и распаляет его ненависть:

А мы послушаем тебя –
вот это бестактное выражение. Тупая пошлость этих, казалось бы, безобидных слов очевидна. Недаром поэт именно здесь, негодуя, перебивает чернь... Отвратителен вид руки, протянутой за подаванием, и ухо, которое насторожилось, чтобы слушать, может расположить к вдохновению кого угодно – оратора, трибуна, литератора – только не поэта... Конкретные люди, «обыватели поэзии», составляющие «чернь», позволяют «давать им смелые уроки» и вообще готовы выслушать что угодно, лишь бы на посылке поэта был обозначен точный адрес. Так дети и простолудины чувствуют себя польщенными, читая свое имя на конверте письма. Бывали целые эпохи, когда в жертву этому далеко не безобидному требованию приносились прелесть и сущность поэзии. Таковы ложногражданская поэзия и нудная лирика восьмидесятых годов. Гражданское и тенденциозное направление прекрасно само по себе:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан –

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru отличный стих, летящий на сильных крыльях к провиденциальному собеседнику. Но поставьте на его место российского обывателя такого-то десятилетия, насквозь знакомого, заранее известного, – и вам сразу станет скучно.

Да, когда я говорю с кем-нибудь, – я не знаю того, с кем я говорю, и не желаю, не могу желать его знать. Нет лирики без диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, – это желание удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью. Логика неумолима. Если я знаю того, с кем я говорю, – я знаю наперед, как отнесется он к тому, что я скажу – что бы я ни сказал, а следовательно, мне не удастся изумиться его изумлением, обрадоваться его радостью, полюбить его любовью. Расстояние разлуки стирает черты милого человека. Только тогда у меня возникает желание сказать ему то важное, что я не мог сказать, когда владел его обликом во всей его реальной полноте. Я позволю себе формулировать это наблюдение так: вкус общительности обратно пропорционален нашему реальному знанию о собеседнике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой. Не об акустике следует заботиться: она придет сама. Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу. Но обмениваться сигналами с Марсом – задача, достойная лирики, уважающей собеседника и создающей свою беспричинную правоту. Эти два превосходных качества поэзии тесно связаны с «огромного размера дистанцией», какая предполагается между нами и неизвестным другом – собеседником.

Друг мой тайный, друг мой дальний,
Посмотри.

Я – холодный и печальный

Свет зари...

И холодный и печальный

Путру,

Друг мой тайный, друг мой дальний,

Я умру.

Этим строкам, чтобы дойти по адресу, требуется астрономическое время, как планете, пересылающей свой свет на другую.

Итак, если отдельные стихотворения (в форме посланий или посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам, поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность.

Дело обстоит очень просто: если бы у нас не было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию.

Петр Чаадаев

I

След, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, – такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу? Это тем более замечательно, что Чаадаев не был деятелем: профессиональным писателем или трибуном. По всему своему складу он был «частный» человек, что называется «privatier»[24]. Но, как бы сознавая, что его личность не принадлежит ему, а должна перейти в потомство, он относился к ней с некоторым смирением: что бы он ни делал – казалось, что он служил, священнодействовал.

Все те свойства, которых была лишена русская жизнь, о которых она даже не подозревала, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски, медали, которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он – только форма, и заранее подготавливая слепок для своего бессмертия.

Еще более необычным для России был дуализм Чаадаева, ясное им различие материи и духа. В младенческой стране, стране полуживой материи и полумертвого духа, седая антиномия косной глыбы и организующей идеи была почти неизвестна. Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру. Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя как на сырой материал.

Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу.

Глубокая гармония, почти слияние нравственного и умственного элемента придают личности Чаадаева особую устойчивость. Трудно сказать – где кончается умственная и где начинается нравственная личность Чаадаева, до такой степени они близятся к полному слиянию. Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью.

Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов.

«О чем же мы станем беседовать? – спрашивал он Пушкина в одном из своих писем. – У меня, вы знаете, всего одна идея, и если бы ненароком в моем мозгу оказались еще какие-нибудь идеи, они, конечно, тотчас прилепились бы к той одной: удобно ли это для вас?»

Что же такое прославленный «ум» Чаадаева, этот «гордый» ум, почтительно воспетый Пушкиным, освищенный зазорным Языковым, как не слияние нравственного и умственного начала – слияние, которое столь характерно для Чаадаева и в направлении которого совершался рост его личности.

С этой глубокой, неискоренимой потребностью единства, высшего исторического синтеза родился Чаадаев в России. Уроженец равнины захотел дышать воздухом альпийских вершин и, как мы увидим, нашел его в своей груди.

II

На Западе есть единство! С тех пор, как эти слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он уже не принадлежал себе и навеки оторвался от «домашних» людей и интересов. У него хватило мужества сказать России в глаза страшную правду, – что она отрезана от всемирного единства, отлучена от истории, этого «воспитания народов Богом».

Дело в том, что понимание Чаадаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания, на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История – это лестница Иакова, по которой ангелы сходят с неба на землю. Священной должна она называться на основании преемственности духа благодати, который в ней живет. Поэтому Чаадаев и словом не обмолвился о «Москве – третьем Риме». В этой идее он мог увидеть только чахлую выдумку киевских монахов. Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы начать историю. Ее вообще немислимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае – «прогресс», а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий.

Как очарованный, смотрел Чаадаев в одну точку – туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемой из поколения в поколение. «Но папа! папа! Ну что же? Разве и он – не просто идея, не чистая абстракция? Взгляните на этого старца, несомого в своем паланкине под балдахин, в своей тройной короне, теперь так же, как тысячу лет назад, точно ничего в мире не изменилось: поистине, где здесь человек? Не всемогущий ли это символ времени, – не того, которое идет, а того, которое неподвижно, чрез которое все проходит, но которое само стоит невозмутимо и в котором и посредством которого все совершается?»

III

И вот, в августе 1825 года, в приморской деревушке близ Брайтона появился иностранец, соединявший в своей осанке торжественность епископа с безукоризненной корректностью светского человека.

Это был Чаадаев, бежавший из России на случайном корабле, с такой поспешностью, как если бы ему грозила опасность, однако без внешнего принуждения, но с твердым намерением – никогда больше не возвращаться.

Больной, мнительный, причудливый пациент иностранных докторов, никогда не знавший другого общения с людьми, кроме чисто интеллектуального, скрывая даже от близких страшное смятение духа, он пришел увидеть свой Запад, царство истории и величия, родину духа, воплощенного в церкви и архитектуре. Это странное путешествие, занявшее два года жизни Чаадаева, о которых мы знаем очень мало, больше похоже на томление в пустыне, чем на паломничество, а потом Москва, деревянный флигель-особняк, «Апология сумасшедшего» и долгие размеренные годы проповеди в «аглицком» клубе.

Или Чаадаев устал? Или его готическая мысль смирилась и перестала возносить к небу свои стрельчатые башни? Нет, Чаадаев не смирился, хотя время своим тупым напильником коснулось и его мысли.

О, наследство мыслителя! Драгоценные клочки! Фрагменты, которые обрываются как раз там, где больше всего хочется продолжения, грандиозные вступления, о которых не знаешь – что это: начертанный план или уже само его осуществление? Напрасно добросовестный исследователь вздыхает об утраченном, о недостающих звеньях: их и не было, они никогда не выпадали.

Фрагментарная форма «Философических Писем» внутренне обоснована, так же как и присущий им характер обширного введения.

Чтобы понять форму и дух «Философических Писем», нужно представить себе, что Россия служит для них огромным и страшным фоном. Зияние пустоты между написанными известными отрывками – это отсутствующая мысль о России.

Лучше не касаться «Апологии». Конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России.

И, как безнадежная плоская равнина, развивается последний, незаконченный период «Апологии», это унылое, широковещательное и, вместе, ничего не обещающее начало, после того как уже столько было сказано: «Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер... Это – факт географический»...

Из «Философических Писем» можно только узнать, что Россия была причиной мысли Чаадаева. Что он думал о России – остается тайной. Начертав прекрасные слова: «истина дороже родины», Чаадаев не раскрыл их вещего смысла. Но разве не удивительное зрелище эта «истина», которая со всех сторон, как неким хаосом, окружена чуждой и странной «родиной»?

Попробуем проявить «Философические Письма», как негативную пластинку. Может быть, те места, которые просветлеют, окажутся именно о России.

IV

Есть великая славянская мечта о прекращении в западном значении слова, как ее понимал Чаадаев. Это – мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое «миром». Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе и не представляет себе конечной цели прогресса, как в виде этого неисторического «мира». Еще недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать «просто» жить. В «простоте» – искушение идеи «мира»:

жалкий человек...

Чего он хочет?.. Небо ясно,

Под небом места много всем.

Навеки упраздняются, за ненадобностью, земные и небесные иерархии. Церковь, государство, право исчезают из сознания, как нелепые химеры, которыми человек от нечего делать, по глупости, населил «простой», «Божий» мир, и наконец остаются наедине, без докучных посредников, двое – человек и вселенная:

Против неба, на земле,

Жил старик в одном селе...

Мысль Чаадаева – строгий перпендикуляр, восставленный к традиционному русскому мышлению. Он бежал, как чумы, этого бесформенного рая.

Некоторые историки увидели в колонизации, в стремлении расселиться возможно вольготнее на возможно больших пространствах – господствующую тенденцию русской истории.

В могучем стремлении населить внешний мир идеями, ценностями и образами, в стремлении, которое уже столько веков составляет мучение и счастье Запада и ввергнуло его народы в лабиринт истории, где они блуждают до сих пор, – можно

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
усмотреть параллель этой внешней колонизации.

Там, в лесу социальной церкви, где готическая хвоя не пропускает другого света, кроме света идеи, укрывалась и созревала главная мысль Чаадаева, его немая мысль о России.

Запад Чаадаева нисколько не похож на расчищенные дорожки цивилизации. Он, в полном смысле слова, открыл свой Запад. Поистине, в эти дебри культуры еще не ступала нога человека.

У

Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все – необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный. Эта свобода стоит величия, застывшего в архитектурных формах, она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры, и я вижу, как папа, «этот старец, несомый в своем паланкине под балдахином, в своей тройной короне», приподнялся, чтобы приветствовать ее.

Лучше всего характеризовать мысль Чаадаева как национально-синтетическую. Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной.

Современники изумлялись гордости Чаадаева, а сам он верил в свое избранничество. На нем почила гегерическая торжественность, и даже дети чувствовали значительность его присутствия, хотя он ни в чем не отступал от общепринятого. Он ощущал себя избранником и сосудом истинной народности, но народ уже был ему не судия!

Какая разительная противоположность национализму, этому нищенству духа, который непрерывно апеллирует к чудовищному судилищу толпы!

У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в такой величии, в такой чистоте и полноте. Чаадаев принял ее, как священный посох, и пошел в Рим.

Я думаю, что страна и народ уже оправдали себя, если они создали хоть одного совершенно свободного человека, который пожелал и сумел воспользоваться своей свободой.

Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима.

Но ведь и первые голуби не вернулись обратно в ковчег.

Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева.

На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: «Этот был там, он видел – и вернулся».

А сколько из нас духовно эмигрировали на Запад! Сколько среди нас – живущих в бессознательном раздвоении, чье тело здесь, а душа осталась там!

Чаадаев знаменует собой новое, углубленное понимание народности как высшего расцвета личности и – России как источника абсолютной нравственной свободы.

Наделив нас внутренней свободой, Россия предоставляет нам выбор, и те, кто сделал этот выбор, – настоящие русские люди, куда бы они ни примкнули. Но горе тем, кто, покружив около родного гнезда, малодушно возвращается обратно!

Скрябин и христианство

Пушкин и Скрябин – два превращения одного солнца, два превращения одного сердца. Дважды смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце. Они явили пример соборной, русской кончины, умерли полной смертью, как живут полной жизнью, их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы.

Я хочу говорить о смерти Скрябина как о высшем акте его творчества. Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено. С этой вполне христианской точки зрения смерть Скрябина удивительна. Она не только замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной. Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины – смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет.

Пушкина хоронили ночью. Хоронили тайно. Мраморный Исаакий – великолепный саркофаг – так и не дождался солнечного тела поэта. Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней, увозивших для отпеванья прах поэта.

Я вспомнил картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, – видение несчастной Федры.

В роковые часы очищения и бури мы вознесли над собой Скрябина, чье солнце-сердце горит над нами, но – увы! – это не солнце искупления, а солнце вины. Утверждая Скрябина своим символом в час мировой войны, Федра-Россия

..... *
Время может идти обратно: весь ход новейшей истории, которая со страшной силой повернула от христианства к буддизму и теософии, свидетельствует об этом.

..... *
Единства нет! «Миром много, они располагаются в сферах, Бог царит над Богом!»
Что это: бред или конец христианства?

Личности нет! «Я» – это переходящее состояние – у тебя много душ и много жизней!» Что это: бред или конец христианства?

Времени нет! Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий счет годов нашей эры потерян – время мчится обратно с шумом и свистом, как прегражденный поток, – и новый Орфей бросает свою лиру в клокочущую пену: искусства больше нет...

Скрябин – следующая после Пушкина ступень русского эллинизма, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа. Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин. Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшими себя в гробах. Во всяком случае, к ним он гораздо ближе, чем к западным теософам. Его хилизм – чисто русская жажда спасения; античного в нем – то безумие, с которым он выразил эту жажду.

..... *
Христианское искусство всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях «подражание Христу», вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. Христианское искусство свободно. Это в полном смысле слова «искусство ради искусства». Никакая необходимость, даже самая высокая, не омрачает его светлой внутренней свободы, ибо прообраз его, то, чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. Итак, не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу – вот краеугольный камень христианской эстетики. Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, – что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
духа! Божественная иллюзия искупления, заключающаяся в христианском искусстве, объясняется именно этой игрой с нами Божества, которое позволяет нам блуждать по тропинкам мистерии, с тем чтобы мы как бы сами от себя напали на искупление, пережив катарсис, искупление в искусстве. Христианские художники – как бы вольноотпущенники идеи искупления, а не рабы и не проповедники. Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть отпущение мира на свободу – для игры, для духовного веселья, для свободного «подражания Христу».

Христианство стало в совершенно свободное отношение к искусству, чего ни до него, ни после него не сумела сделать никакая другая человеческая религия.

Питая искусство, отдавая ему свою плоть, предлагая ему в качестве незыблемой метафизической основы реальнейший факт искупления, христианство ничего не требовало взамен. Поэтому христианской культуре не грозит опасность внутреннего оскудения. Она неиссякаема, бесконечна, так как, торжествуя над временем, снова и снова сгущает благодать в великолепные тучи и проливает ее живительным дождем.

Нельзя с достаточной силой указать на то обстоятельство, что своим характером вечной свежести и неувядаемости европейская культура обязана милости христианства в отношении к искусству.

Еще не исследована область христианской динамики, деятельность духа в искусстве как свободное самоутверждение в основной стихии искупления, в частности, музыка.

В древнем мире музыка считалась разрушительной стихией. Эллины боялись флейты и фригийского лада, считая его опасным и соблазнительным, и каждую новую струну кифары Терпандру приходилось отвоевывать с великим трудом. Недоверчивое отношение к музыке как к подозрительной и темной стихии было настолько сильно, что государство взяло музыку под свою опеку, объявив ее своей монополией, а музыкальный лад – средством и образцом для поддержания политического порядка, гражданской гармонии – эвномии. Но и в таком виде эллины не решились предоставить музыке самостоятельность: слово казалось им необходимым, верным стражем, постоянным спутником музыки. Собственно чистой музыки эллины не знали – она всецело принадлежит христианству. Горное озеро христианской музыки отстоялось после глубокого переворота, превратившего Элладу в Европу.

Христианство музыки не боялось. С улыбкой говорит христианский мир Дионису: «Что ж, попробуй, вели разорвать меня своим менадам: я весь цельность, весь – личность, весь – спаянное единство!» До чего сильна в новой музыке эта уверенность в окончательном торжестве личности, цельной и невредимой: она – эта уверенность в личном спасении, сказал бы я, – входит в христианскую музыку обертоном, окрашивая звучность Бетховена в белый мажор синайской славы.

Голос – это личность. Фортепиано – это сирена. Разрыв Скрябина с голосом, его великое увлечение сиреной пианизма знаменует утрату христианского ощущения личности, музыкального «я есмь».

Бессловесный, странно немолчаливый хор Прометея – все та же опасная, соблазнительная сирена.

Католическая радость Бетховена, синтез Девятой симфонии, сей «белой славы торжество» недоступно Скрябину. В этом смысле он оторвался от христианской музыки, пошел своим собственным

.....
Дух греческой трагедии проснулся в музыке. Музыка совершила круг и вернулась туда, откуда она вышла: снова Федра кличет кормилицу, снова Антигона требует погребения и возлияний для милого братнего тела.

Что-то случилось с музыкой, какой-то ветер сломал с налету мусикийские камыши, сухие и звонкие. Мы требуем хора, нам наскучил ропот мыслящего тростника... Долго, долго мы играли музыкой, не подозревая опасности, которая в ней таится, – и пока – быть может, от скуки – мы придумывали миф, чтобы украсить свое существование, – музыка бросила нам миф – не выдуманный, а рожденный, пенорожденный, багрянорожденный, царского происхождения, законный наследник мифов древности – миф о забытом христианстве

..... * * *
...виноградников старого Диониса: мне представляются закрытые глаза и легкая, торжественная, маленькая голова – чуть опрокинута кверху: это муза припоминания – легкая Мнемозина, старшая в хороводе. С легкого хрупкого лица спадает маска забвения – проясняются черты; торжествует память – пусть ценою смерти: умереть значит вспомнить, вспомнить значит умереть... Вспомнить во что бы то ни стало! Побороть забвение – хотя бы это стоило смерти: вот девиз Скрябина, вот героическое устремление его искусства! В этом смысле я сказал, что смерть Скрябина есть высший акт его творчества, что она проливает на него ослепительный и неожиданный свет.

..... * * *
...окончена – война в полном разгаре. Всякий, кто чувствует себя эллином, и ныне должен быть на страже – как две тысячи лет назад... Мир нельзя эллинизировать раз навсегда, как можно переокрасить дом... Христианский мир – организм, живое тело. Ткани нашего мира обновляются смертью. Приходится бороться с варварством новой жизни – потому что в ней, цветущей, не побеждена смерть! Покуда в мире существует смерть, эллинизм будет творческой силой, ибо христианство эллинизирует смерть... Эллинизм, оплодотворенное смертью, и есть христианство. Семя смерти, упав на землю Эллады, чудесно расцвело: вся наша культура выросла из этого семени, мы ведем летоисчисление с того момента, как его приняла земля Эллады. Все римское бесплодно, потому что почва Рима камениста, потому что Рим – это Эллада, лишенная благодати.

Искусство Скрябина имеет самое прямое отношение к той исторической задаче христианства, которую я называю эллинизацией смерти, и через это получает глубокий религиозный смысл.

..... * * *
...есть музыка – содержит в себе атомы нашего бытия. Насколько мелос, в чистом виде, соответствует единственному чувству личности, как его знала Эллада, настолько гармония характерна для сложного послехристианского ощущения «я». Гармония была своего рода запретным плодом для мира, не причастного к грехопадению. Метафизическая сущность гармонии теснейшим образом связана с христианским пониманием времени. Гармония – кристаллизовавшаяся вечность, она вся в поперечном разрезе времени, который знает только христианство.

...мистики энергично отвергают вечность во времени, принимая этот поперечный разрез, доступный только праведным, утверждая вечность как сердцевину времени: христианская вечность – это кантовская категория, рассеченная мечом серафима. Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии: гармоническая архитектоника

..... * * *
Заметки о Шенье

Восемнадцатый век похож на озеро с высохшим дном: ни глубины, ни влаги, – все подводное оказалось на поверхности. Людям самим было страшно от прозрачности и пустоты понятий. La Vérité, la Liberté, la Nature, la Déité[25], особенно la Vertu[26] вызывают почти обморочное головокружение мысли, как прозрачные, пустые омуты. Этот век, который вынужден был ходить по морскому дну идей, как по паркету, – обернулся веком морали по преимуществу. Самым тривиальным нравственным истинам изумлялись, как редким морским раковинам. Человеческая мысль задыхалась от обилия непреложных истин и, однако, не находила себе покою. Так как, очевидно, все они оказывались недостаточно действенными, приходилось без усталости повторять их.

Великие принципы восемнадцатого века все время в движении, в какой-то механической тревоге, как буддийская молитвенная мельница. Вот тому пример: античная мысль понимала добро как благо или благополучие; здесь еще не было внутренней пустоты гедонизма. Добро, благополучие, здоровье были слиты в одно представление, как полновесный и однородный золотой шар. Внутри этого понятия не было пустоты. Вот этот-то сплошной, отнюдь не императивный и отнюдь не гедонистический характер античной морали позволяет даже усумниться в нравственной природе этого сознания: уж не просто ли это гигиена, то есть профилактика душевного здоровья?

Восемнадцатый век утратил прямую связь с нравственным сознанием античного мира. Золотой сплошной шар уже не звучал сам по себе. Из него извлекали звуки исхищенными приемами, соображениями о пользе приятного и о приятности полезного. Опустошенное сознание никак не могло выкормить идею долга, и она явилась в образе «la Vertu romaine»[27], более подходящей для поддержания равновесия плохих трагедий, чем для управления душевной жизнью человека. Да, связь с античностью подлинной для восемнадцатого века была потеряна, и гораздо сильнее была связь с омертвевшими формами схоластической казуистики, так что век Разума является прямым наследником схоластики со своим рационализмом, аллегорическим мышлением, персонификацией идей, совершенно во вкусе старофранцузской поэтики. У средневековья была своя душа и было подлинное знание античности, и не только по грамотности, но и по любовному воспроизведению классического мира оно оставляет далеко позади век Просвещения. Музам было невесело около Разума, они скучали с ним, хотя неохотно в этом сознавались. Все живое и здоровое уходило в безделушки, потому что за ними был меньший присмотр, а дитя с семьей няньками – трагедия – выродилась в пышный пустоцвет именно потому, что над ее колыбелью склонялись и заботливо ее нянчили «великие принципы». Младшие виды поэзии, счастливо избежавшие этой убийственной опеки, переживут старших, захиревших под ее рукой.

Поэтический путь Шенье – это уход, почти бегство от «великих принципов» к живой воде поэзии, совсем не к античному, а к вполне современному миропониманию.

В поэзии Шенье чудится религиозное и, может быть, детски-наивное предчувствие девятнадцатого века.

* * *

Александрийский стих восходит к антифону, то есть к переключке хора, разделенного на две половины, располагающие одинаковым временем для изъявления своей воли. Впрочем, это равноправие нарушается, когда один голос уступает часть принадлежащего ему времени другому. Время – чистая и неприкрашенная субстанция александрийца. Распределение времени по желобам глагола, существительного и эпитета составляет автономную внутреннюю жизнь александрийского стиха, регулирует его дыхание, его напряженность и насыщенность. При этом происходит как бы «борьба за время» между элементами стиха, причем каждый из них подобно губке старается впитать в себя возможно большее количество времени, встречаясь в этом стремлении с притязаниями прочих. Триада существительного, глагола и эпитета в александрийском стихе не есть нечто незыблемое, потому что они впитывают в себя чужое содержание, и нередко глагол является со значением и весом существительного, эпитет со значением действия, то есть глагола, и т. д.

Вот эта зыбкость соотношений отдельных частей речи, их плавкость, способность к химическому превращению при абсолютной ясности и прозрачности синтаксиса чрезвычайно характерны для стиля Шенье. Строжайшая иерархия эпитета, глагола и существительного на однообразной канве александрийского стихосложения вычерчивает линию господствующего образа, сообщает выпуклость чередованию парных стихов.

Шенье принадлежал к поколению французских поэтов, для которых синтаксис был золотой клеткой, откуда не мечталось выпрыгнуть. Эта золотая клетка была окончательно построена Расином и оборудована, как великолепный дворец. Синтаксическая свобода поэтов средневековья – Виллона, Раблэ, весь старофранцузский синтаксис – остались позади, а романтическое буйство Шатобриана и Ламартина еще не начиналось. Золотую клетку сторожил злой попугай – Буало. Перед Шенье стояла задача осуществить абсолютную полноту поэтической свободы в пределах самого узкого канона, и он разрешил эту задачу. Чувство отдельного стиха, как живого неделимого организма, и чувство иерархии словесной в пределах этого цельного стиха необычайно присущи французской поэзии.

Шенье любил и чувствовал отдельный блуждающий стих: ему понравился стих из «Эпиталамы» Биона, и он сохраняет его.

* * *

В природе нового французского стиха, обоснованного Клеманом Маро, отцом александрийца, взвешивать слово прежде, чем оно сказано. А романтическая поэтика предполагает взрыв, неожиданность, ищет эффекта, непредусмотренной акустики и никогда не знает, во что ей самой обходится песня. От мощной гармонической волны

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
ламартиневского «Озера» – до иронической песенки Верлена романтическая поэзия
утверждает поэтику неожиданности. Законы поэзии спят в гортани, и вся
романтическая поэзия, как ожерелье из мертвых соловьев, не передаст, не выдаст
своих тайн, не знает завещания. Мертвый соловей никого не научит петь. Шенье
искусно нашел середину между классической и романтической манерой.

* * *

Поколение Пушкина уже преодолело Шенье, потому что был Байрон. Одно и то же
поколение не могло воспринять одновременно – «звук новой, чудной лиры – звук
лиры Байрона» – и абстрактную, внешне холодную и рассудочную, но полную
античного беснования поэзию Шенье.

* * *

То, чем Шенье еще духовно горел – энциклопедия, деизм, права человека, – для
Пушкина уже прошлое и чистая литература:

...Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал,
И проповедовал...

Пушкинская формула – союз ума и фурии – две стихии в поэзии Шенье. Век был
таков, что никому не удалось избежать одержимости. Только направление ее
изменялось и уходило то в пафос обуздания, то в силу ямба обличительного.

* * *

Ямбический дух сходит к Шенье, как фурия. Императивность. Дионисийский характер.
Одержимость.

* * *

Шенье никогда не сказал бы: «Для жизни ты живешь». Он был совершенно чужд
эпикурейству века, олимпийству вельмож и бар.

* * *

Пушкин объективнее и бесстрашнее Шенье в оценке французской революции. Там, где
у Шенье только ненависть и живая боль, у Пушкина созерцание и историческая
перспектива:

...Ты помнишь Трианон и шумные забавы?..

* * *

Аллегорическая поэтика. Очень широкие аллегории, отнюдь не бесплотные, в том
числе и «Свобода, Равенство и Братство», – для поэта и его времени почти живые
лица и собеседники. Он улавливает их черты, чувствует теплое дыхание.

* * *

В «Jeu de raume»[28] наблюдается борьба газетной темы и ямбического духа. Почти
вся поэма в плену у газеты. Общее место газетного стиля:

Pères d'un peuple! architectes de lois!
Vous qui savez fonder, d'une main ferme et sûre,
Pour l'homme une code solennel...[29]

* * *

Классическая идеализация современности: толпа сословий, отправляющаяся в манеж,
сопровожаемая народом, сравнивается с беременной Латоной, почти уже матерью.

...Comme Latone enceinte, et déjà presque mère,
Victime d'un jaloux pouvoir,
Sans asile flottait, courait la terre entière...[30]

* * *

Разложение мира на разумно действующие силы. Единственно неразумным оказывается
человек. Вся поэтика гражданской поэзии – искание узды, frein[31]:

...l'opresseur n'est jamais libre...[32]

* * *

Что такое поэтика Шенье? Может, у него не одна поэтика, а несколько в различные
периоды или, вернее, минуты поэтического сознания?

Различаются явно: пасторально-пастушеская (Bucoliques, Idylles[33]) и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
грандиозное построение почти «научной поэзии».

* * *

Не подтверждается ли влияние на Шенье со стороны Монтескье и английского государственного права, в связи с пребыванием в Англии? Не найдется ли у него чего-нибудь подобного –

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый... –
или же его абстрактный ум чужд пушкинской практичности?

* * *

При полном забвении старофранцузской литературной традиции автоматически воспроизводятся некоторые ее приемы, потому что они вошли в кровь.

* * *

Странно после античной элегии со всеми аксессуарами, где глиняный кувшин, тростник, ручей, пчелиный улей, розовый куст, ласточка – и друзья и собеседники, и свидетели и соглядатаи любящих, найти у Шенье уклон к совершенно светской элегии в духе романтиков, почти Мюссе, как, например, – третья элегия «А Самилле»[34], – светское любовное письмо, утонченно-непринужденное и взволнованное, где эпистолярная форма почти освобождается от мифологических условностей и течет свободно живая разговорная речь романтически мыслящего и чувствующего человека.

...Et puis d'un ton charmant ta lettre me demande:
Ce que je veux de toi, ce que je te commande!
Ce que je veux? dis-tu. Je veux que ton retour
Te paraisse bien lent; je veux que nuit et jour
Tu m'aimes. (Nuit et jour, hélas! je me tourmente.)
Présente au milieu d'eux, sois seule, sois absente;
Dors en pensant a moi; rêve-moi près de toi;
Ne vois que moi sans cesse, et sois toute avec moi[35].

В этих строчках слышится письмо Татьяны к Онегину, та же домашность языка, та же милая небрежность, лучше всякой заботы: это так же в сердце французского языка, так же сугубо невольно по-французски, как Татьянино письмо по-русски. Для нас сквозь кристалл пушкинских стихов эти стихи звучат почти русскими:

..Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке..

Так в поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему ауются.

Слово и культура

Трава на петербургских улицах – первые побеги девственного леса, который покрывает место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Не метрополитеном, не небоскребом измеряется бег современности – скорость, а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней.

Наша кровь, наша музыка, наша государственность – все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы, природы-Психеи. В этом царстве духа без человека каждое дерево будет дриадой и каждое явление будет говорить о своей метаморфозе.

Остановить? Зачем? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжи в отчий дом, обуянное жаждой возвращения? Не лучше ли подарить его дифирамбом, чем вымалывать у него подачки?

Не понимал он ничего
И слаб и робок был, как дети,
Чужие люди для него
Зверей и рыб ловили в сети..

Спасибо вам, «чужие люди», за трогательную заботу, за нежную опеку над старым миром, который уже «не от мира сего», который весь ушел в чайные и подготовку к грядущей метаморфозе:

Cum subit illius tristissima noctis imago,
Quae mihi supremum tempus in urbe fuit,
Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliquit,
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis[36].

Да, старый мир – «не от мира сего», но он жив более, чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви–культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец, мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем, как вино, и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель – отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек – христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово – плоть, и простой хлеб – веселье и тайна.

Социальные различия и классовые противоположности бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и козлица. Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова. Здесь вполне уместен аргумент, приходящий последним при всяком серьезном разногласии: мой противник дурно пахнет.

Отделение культуры от государства – наиболее значительное событие нашей революции. Процесс обмирщения государственности не остановился на отделении церкви от государства, как его понимала французская революция. Социальный переворот принес более глубокую секуляризацию. Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин терпимость. Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающий государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Внеположность государства по отношению к культурным ценностям ставит его в полную зависимость от культуры. Культурные ценности окрашивают государственность, сообщают ей цвет, форму и, если хотите, даже пол. Надписи на государственных зданиях, гробницах, воротах страхуют государство от разрушения времени.

Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен. Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму. Не потому, что Давид снял жатву Робеспьера, а потому что так хочет земля.

Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл.

Удивительно, в самом деле, что все возятся с поэтами и никак с ними не развяжутся. Казалось бы – прочел, и ладно. Преодолею, как теперь говорят. Ничего подобного. Серебряная труба Катулла:

Ad claras Asiae volemus urbes[37] –
мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка. Этого нет по-русски. Но ведь это должно быть по-русски. Я взял латинские стихи потому, что русским читателем они явно воспринимаются как категория должностования; императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было.

Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы – и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глубокая

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mande\shstamjoseph.ru
радость повторенья охватывает его, головокружительная радость:

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух,
Время вспахано плугом, и роза землю была.
Так и поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином.

То, что верно об одном поэте, верно обо всех. Не стоит создавать никаких школ.
Не стоит выдумывать своей поэтики.

Аналитический метод в применении к слову, движению и форме – вполне законный и искусный прием. В последнее время разрушение сделалось чисто формальной предпосылкой искусства. Распад, тление, гниение – все это еще *decadence*. Но декаденты были христианские художники, своего рода последние христианские мученики. Музыка тления была для них музыкой воскресения. «Charogne»[38] Бодлэра – высокий пример христианского отчаяния. Совсем другое дело сознательное разрушение формы. Безболезненный супрематизм. Отрицание лица явлений. Самоубийство по расчету, любопытства ради. Можно разобрать, можно и сложить: как будто испытывается форма, а на самом деле гниет и разлагается дух (кстати, назвав Бодлэра, мне хотелось бы помянуть его значение как подвижника, в самом подлинном христианском смысле слова: *martyre*[39]).

В жизни слова наступила героическая эра. Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание. Люди голодны. Еще голоднее государство. Но есть нечто более голодное: время. Время хочет пожрать государство. Как трубный глас звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске. Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник евхаристию, – будет вторым Иисусом Навином. Нет ничего более голодного, чем современное государство, а голодное государство страшнее голодного человека. Сострадание к государству, отрицающему слово, – общественный путь и подвиг современного поэта.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет..
Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности. Это тот же революционный голод. Сомнение фомы. К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с травой, с предметом, который оно обозначает?

Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещь, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.

То, что сказано о вещности, звучит несколько иначе в применении к образности:

Prends l'éloquence et tords-lui son cou![40]
Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта.

И сладок нам лишь узнавания миг!
Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настезь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханьем всех веков. В глоссолалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто совершенно обратное эрудиции. Современная поэзия, при всей своей сложности и внутренней исхищенности, наивна:

Ecoutez la chanson grise...[41]

Синтетический поэт современности представляется мне не Верхарном, а каким-то Верлэном культуры. Для него вся сложность старого мира та же пушкинская цевница. В нем поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы. Говорят, что причина революции – голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру.

Классическая поэзия – поэзия революции.

О природе слова

Но забыли мы, что осияно
Только слово среди земных

тревог.

И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова.

Н. Гумилев

Я хочу поставить один вопрос – именно: едина ли русская литература? В самом деле, является ли русская литература современная – той же самой, что литература Некрасова, Пушкина, Державина или Симеона Полоцкого? Если преемственность сохранилась, то как далеко она простирается в прошлое? Если русская литература всегда одна и та же, то чем определяется ее единство, каков существенный ее принцип (так называемый «критерий»)?

Поставленный мною вопрос приобретает особенную остроту благодаря ускорению темпа исторического процесса. Правда, должно быть, преувеличение считать каждый год нынешней истории за век, но нечто вроде геометрической прогрессии, правильного и закономерного ускорения, замечается с бурной реализации накопленных и растущих потенциалов исторической силы, энергии. Благодаря изменению количества содержания событий, приходящихся на известный промежуток времени, заколебалось понятие единицы времени, и не случайно современная математическая наука выдвинула принцип относительности.

Чтобы спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, современная философия, в лице Бергсона, чей глубоко иудаистический ум одержим настойчивой потребностью практического монотеизма, предлагает нам учение о системе явлений. Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умопостижаемому свертыванию.

Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и на долгое время поработившей умы европейских логиков, выдвигает проблему связи, лишенную всякого привкуса метафизики и, именно потому, более плодотворную для научных открытий и гипотез.

Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне – теории прогресса. Движение бесконечной цепи явлений, без начала и конца, есть именно дурная бесконечность, ничего не говорящая уму, ищущему единства и связи, усыпляющая научную мысль легким и доступным эволюционизмом, дающим, правда, видимость научного обобщения, но ценою отказа от всякого синтеза и внутреннего строя.

Расплывчатость, безархитектурность европейской научной мысли XIX века к началу наступившего столетия совершенно деморализовала научную мысль. Ум, который не есть знание и совокупность знаний, а есть хватка, прием, метод, покинул науку, благо он может существовать самостоятельно и найдет себе пищу где угодно. И тщетно было бы искать именно этого ума в научной жизни старой Европы. Свободный ум человека отделился от науки. Он очутился всюду, только не в ней: в поэзии, в мистике, в политике, в богословии.

Что же касается до научного эволюционизма с теорией прогресса, то, поскольку он сам не свернул себе шеи, как это сделала новая европейская наука, он, продолжая работать в том же самом направлении, выбросился на берег теософии, как обессиленный пловец, достигший безрадостного берега.

Теософия – прямая наследница старой европейской науки. Туда ей и дорога. Та же дурная бесконечность, то же отсутствие позвоночника в учении о перевоплощении – «карма», тот же грубый и наивный материализм в вульгарном понимании сверхчувственного мира, то же отсутствие воли и вкуса к познанию деятельности и какая-то ленивая всеядность, огромная тяжелая жвачка, рассчитанная на тысячи желудков, интерес ко всему, граничащий с равнодушием, – всепонимание, граничащее с ничегонепониманием.

Для литературы эволюционная теория особенно опасна, а теория прогресса прямо-таки убийственна. Если послушать историков литературы, стоящих на точке зрения эволюционизма, то получается, что писатели только и думают, как бы расчистить дорогу идущим впереди себя, а вовсе не о том, как бы выполнить свое желанное дело, или же получается, что все они участвуют в конкурсе изобретений на улучшение какой-то литературной машины, причем неизвестно, где скрывается жюри и для какой цели эта машина служит.

Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества.

Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая смена, каждое такое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого «лучше», никакого прогресса в литературе быть не может – просто потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать.

Даже к манере и форме отдельных писателей неприменима эта бессмысленная теория улучшения, – здесь каждое приобретение также сопровождается утратой и потерей. Где у Толстого, усвоившего в «Анне Карениной» психологическую мощь и конструктивность флюберовского романа, звериное чутье и физиологическая интуиция «Войны и мира»? Где у автора «Войны и мира» прозрачность формы, «кларизм» «Детства» и «Отрочества»? Автор «Бориса Годунова», если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов, совершенно как теперь никто не напишет державинской оды. А кому что больше нравится – дело другое. Подобно тому, как существуют две геометрии – Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна – говорящая только о приобретениях, другая – только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же.

Возвращаясь к вопросу о том, едина ли русская литература, и если да, то каков принцип ее единства, мы с самого начала отбрасываем теорию улучшения. Будем говорить только о внутренней связи явлений, и прежде всего попробуем отыскать критерий возможного единства – стержень, позволяющий развернуть во времени разнообразные и разбросанные явления литературы.

Таким критерием единства литературы данного народа, единства условного, может быть признан только язык народа, ибо все остальные критерии сами условны, переходящи и производны. Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое, от точки и до точки, ослепительно ясной в сознании филологов, и в пределах всех своих изменений остается постоянной величиной, «константой», остается внутренне единым. Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в применении к самосознанию языка. Когда латинская речь, распространившаяся по всем романским землям, зацвела новым цветением и пустила побеги будущих романских языков, началась новая литература, детская и убогая по сравнению с латинской, но уже романская.

Когда прозвучала живая и образная речь «Слова о полку Игореве» – насквозь светская, мирская и русская в каждом повороте, – началась русская литература. А пока Велимир Хлебников, современный русский писатель, погружает нас в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную уму и сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература «Слова о полку Игореве». Русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний. Но в одном он останется верен самому себе, пока и для нас прозвучит наша кухонная латынь и на могучем теле языка взойдут бледные молодые побеги нашей жизни, подобно

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
древнефранцузской песенке о св. Евлалии.

Русский язык – язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад эллинским влияниям и надолго загощаясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью.

Если западные культуры и истории замыкают язык извне, огораживают его стенами государственности и церковности и прочитываются им, чтобы медленно гнить и зацветать в должный час его распада, русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка, не вмещающейся ни в какие государственные и церковные формы.

Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие. Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как по всей своей совокупности он есть волнуемое море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти. Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим.

Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы, против русского языка, и совершенно безразлично, будет ли это тенденция к телеграфному или стенографическому шифру ради экономии и упрощенной целесообразности или же утилитаризм более высокого порядка, приносящий язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению.

Андрей Белый, например, – болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка только потому, что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообразуясь исключительно с темпераментами своего спекулятивного мышления. Захлебываясь в изоциренном многословии, он не может пожертвовать ни одним оттенком, ни одним изломом своей капризной мысли и взрывает мосты, по которым ему лень перейти. В результате, после мгновенного фейерверка, – куча щебня, унылая картина разрушения, вместо полноты жизни, органической целостности и деятельного равновесия. Основной грех писателей вроде Андрея Белого – неуважение к эллинистической природе слова, беспощадная эксплуатация его для своих интуитивных целей. В русской поэзии чаще, чем в какой-либо другой, повторяется тема старого сомнения в способности слова к выражению чувства:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя? –
так язык предохраняет себя от бесцеремонных покушений.

Скорость развития языка несоизмерима с развитием самой жизни. Всякая попытка механически приспособить язык к потребностям жизни заранее обречена на неудачу. Так называемый футуризм, понятие, созданное безграмотными критиками и лишенное всякого содержания и объема, не только курьез обывательской литературной психологии. Он получает точный смысл, если разуместь под ним именно это насильственное, механическое приспособление, недоверие к языку, который одновременно и скоростной, и черепаха.

Хлебников возится со словами, как крот, – между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие; между тем представители московской метафорической школы, именующие себя имажинистами, выбивающиеся из сил, чтобы приспособить язык к современности, остались далеко позади языка, и их судьба быть выметенными, как бумажный сор.

Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Для России

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова.

Из современных русских писателей живее всех эту опасность почувствовал Розанов, и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение связи со словом, за филологическую культуру, которая твердо стоит на фундаменте эллинистической природы русской речи. Анархическое отношение ко всему решительно, полная неразбериха, все нипочем, только одного не могу – жить бессловесно, не могу перенести отлучение от слова! Такова приблизительно была духовная организация Розанова. Этот анархический и нигилистический дух признавал только одну власть – магию языка, власть слова, и это, заметьте, не будучи поэтом, собирателем и нанизывателем слов, а будучи просто разговорщиком или ворчуном, вне всякой заботы о стиле.

Одна книга Розанова называется «У церковных стен». Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры. Подобно некоторым другим русским мыслителям, вроде Чаадаева, Леонтьева, Гершензона, он не мог жить без стен, без «акрополя». Все кругом поддается, все рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, Акрополя, все равно, как бы ни называлось это ядро, государством или обществом. Жажда орешка и какой бы то ни было символизирующей этот орешек стены определяет всю судьбу Розанова и окончательно снимает с него обвинение в беспринципности и анархичности.

«Тяжело человеку быть целым поколением – ему ничего больше не остается, как умереть, – мне время тлеть, тебе цвести». И Розанов не жил – он умирал разумной и мыслящей смертью, как умирают поколения. Жизнь Розанова – смерть филологии, увядание, усыхание словесности и ожесточенная борьба за жизнь, которая теплится в словечках и разговорчиках, в кавычках и цитатах, но в филологии, и только в филологии.

Отношение Розанова к русской литературе самое что ни на есть нелитературное. Литература – явление общественное, филология – явление домашнее, кабинетное. Литература – это лекция, улица; филология – университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология – это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни. Вот почему тяготение Розанова к домашности, столь мощно определившее весь уклад его литературной деятельности, я вывожу из филологической природы его души, которая в неутомимом искании орешка щелкала и лушила свои слова и словечки, оставляя нам только шелуху. Немудрено, что Розанов оказался ненужным и бесплодным писателем.

...«Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого – «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя уже определение, уже «что-то знаем». Так своеобразно определяет Розанов сущность своего номинализма: вечное «познавательное движение», вечное щелканье орешка, кончающееся ничем, потому что его никак не разгрызть. Да какой же Розанов литературный критик? Он все только щиплет, он случайный читатель, заблудившаяся овца – ни то ни се...

Критик должен уметь проглатывать темы, отыскивая нужное, делая обобщения; Розанов же увязнет с головой в строчке любого русского поэта, как он увяз в строчке Некрасова. «Еду ли ночью по улице темной» – первое, что пришло в голову ночью на извозчике. Розановское примечание – вряд ли сыщется другой такой русский стих во всей русской поэзии. Церковь Розанов полюбил за ту же самую филологию, что и семью; вот что он говорит: «Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге, то есть она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так «около души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя. Как же ей не оставить за это все?..»

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
Антифилологический дух, с которым боролся Розанов, вырвался из самых глубин истории; это в своем роде такой же неугасаемый огонь, как и огонь филологический.

Есть такие вечные огни на земле, пропитанной нефтью: где-нибудь случайно загорится и горит десятки лет. Нет нейтрализующего состава, погасить абсолютно нечем. Лютер был уже плохой филолог, потому что, вместо аргумента, он запустил чернильницей. Антифилологический огонь изъязвляет тело Европы, пылая горящими сопками на земле Запада, навеки опустошая для культуры ту почву, на которой он вспыхнул. Ничем нельзя нейтрализовать голодное пламя. Нужно предоставить ему гореть, обходя заклятые места, куда никому не нужно, куда никто не станет торопиться.

Европа без филологии – даже не Америка; это – цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения. По-прежнему будут стоять европейские Кремли и Акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди и будут смотреть на них, не понимая их, и даже скорее всего станут пугаться их, не понимая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры.

Да что говорить! Америка лучше этой, пока что умопостигаемой, Европы, Америка, истратив свой филологический запас, свезенный из Европы, как бы ошалела и призадумалась – и вдруг завела свою собственную филологию, откуда-то выкопала Уитмена, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам, дал образец первобытной, номенклатурной поэзии, под стать самому Гомеру.

Россия – не Америка, к нам нет филологического ввозу: не прорастет у нас диковинный поэт вроде Эдгара Поэ, как дерево от пальмовой косточки, переплывшей океан с пароходом. Разве что Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе, – переводчик по призванию, по рождению, в оригинальных своих произведениях.

Положение Бальмонта в России – это иностранное представительство от несуществующей фонетической державы, редкий случай типичного перевода без оригинала. Хотя Бальмонт и москвич, между ним и Россией лежит океан. Это поэт совершенно чужой русской поэзии, он оставит в ней меньший след, чем переведенный им Эдгар Поэ или Шелли, хотя собственные его стихи заставляют предполагать очень интересный подлинник.

У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории.

Поскольку Розанов в нашей литературе представитель домашнего юродствующего и нищенствующего эллинизма, постольку Анненский – представитель эллинизма героического, филологии воинствующей.

Стихи и трагедии Анненского можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь удельными князьями для защиты от печенегов, навстречу хазарской ночи.

На темный хребий мой я больше не в обиде:
И наг, и немощен был некогда Овидий.
Неспособность Анненского служить каким бы то ни было влияниям, быть посредником, переводчиком, прямо поразительна. Оригинальнейшей хваткой он когтил чужое и еще в воздухе, на большой высоте, надменно выпускал из когтей добычу, позволяя ей упасть самой. И орел его поэзии, когтивший Еврипида, Малларме, Леконта де Лиля, ничего не приносил нам в своих лапах, кроме горсти сухих трав, –

Поймите, к вам стучится сумасшедший,
Бог знает где и с кем всю ночь проведенный,
Блуждает взор, и речь его дика,
И камешков полна его рука;
Того гляди, другую опростает,
Вас листьями сухими закидает.

Гумилев назвал Анненского великим европейским поэтом. Мне кажется, когда европейцы его узнают, смиренно воспитают свои поколения на изучении русского

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru языка, подобно тому как прежние воспитывались на древних языках и классической поэзии, они испугаются дерзости этого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры и возложившего с нежностью, как подобает русскому поэту, звериную шкуру на все еще зябущего Овидия.

Как удивительна судьба Анненского! Прикасаясь к мировым богатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вернее, поднял горсточку праха и бросил ее обратно в пылающую сокровищницу Запада. Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Не было еще «Весов». Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена и писал по-латыни монографию о римских налогах. И в это время директор Царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, выпитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал.

И для Анненского поэзия была домашним делом и Еврипид был домашний писатель, сплошная цитата и кавычки. Всю мировую поэзию Анненский воспринимал как сноп лучей, брошенный Элладой. Он знал расстояние, чувствовал его пафос и холод, и никогда не сблизил внешне русского и эллинского мира. Урок творчества Анненского для русской поэзии – не эллинизация, а внутренний эллинизм, адекватный дух русского языка, так сказать, домашний эллинизм. Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это – домашняя утварь, посуда, всеокружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любимой и с тем самым чувством священной дрожи, с каким,

Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей прикрывали
Они святого старика.

Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм – это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм – это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм – это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое «я».

В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом. Спрашивается, нужен ли поэтому сугубый, нарочитый символизм в русской поэзии? Не является ли он грехом против эллинистической природы нашего языка, творящего образы, как утварь, на потребу человека?

По существу, нет никакой разницы между словом и образом. Слово есть уже образ запечатанный: его нельзя трогать. Он не пригоден для обихода, как никто не станет прикуривать от лампадки. Такие запечатанные образы тоже не очень нужны. Человек любит запрет, и даже дикарь кладет магическое запрещение, «табу», на известные предметы. Но, с другой стороны, запечатанный, изъятый из употребления образ враждебен человеку, он в своем роде чучело, пугало.

Все преходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие солнца, солнце – подобие розы, голубка – подобие девушки, а девушка – подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического «леса соответствий» – чучельная мастерская.

Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс «соответствий», кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой.

Весьма замечательную в русской поэзии эпоху символистов группы «Весов», развернувшуюся за два десятилетия в колоссальную, хотя на глиняных ногах,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru постройку, лучше всего определить как эпоху лжесимволизма. Пусть настоящее определение не будет понято как ссылка на классицизм, унижительная для этой прекрасной поэзии и плодотворного стиля Расина. Ложноклассицизм – кличка, данная школьным невежеством и прилепившаяся к большому стилю. Русский лжесимволизм действительно лжесимволизм. Журден открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу: изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь.

Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роше друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного назначения (как будто варить не абсолютное назначение). Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти. Как же быть с прикреплением слова к его значению; неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь. Его значимость несколько не перевод его самого. На самом деле никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, назвал ее придуманным именем.

Самое удобное и в научном смысле правильное – рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содержании, буде фонетика – форма, все остальное – содержание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее – значимость слова или его звучащая природа? Словесное представление, сложный комплекс явлений, связь, «система». Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и, наоборот, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре.

Старая психология умела только объективировать представления и, преодолевая наивный солипсизм, рассматривала представления как нечто внешнее. В этом случае решающим моментом был момент данности. Данность продуктов нашего сознания сближает их с предметами внешнего мира и позволяет рассматривать представления как нечто объективное. Чрезвычайно быстрое очеловечивание науки, включая сюда и теорию познания, наталкивает нас на другой путь. Представления можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце.

В применении к слову такое понимание словесных представлений открывает широкие новые перспективы и позволяет мечтать о создании органической поэтики, не законодательного, а биологического характера, уничтожающей канон во имя внутреннего сближения организма, обладающей всеми чертами биологической науки.

Задачи построения такой поэтики взяла на себя органическая школа русской лирики, возникшая по творческой инициативе Гумилева и Городецкого в начале 1912 года, к которой официально примкнули Ахматова, Нарбут, Зенкевич и автор этих строк. Очень небольшая литература по акмеизму и скупость на теорию его вождей затрудняет его изучение. Акмеизм возник из отталкивания: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» – таков был его первоначальный лозунг. Городецким в свое время была сделана попытка привить акмеизму литературное мировоззрение, «адамизм», род учения о новой земле и о новом Адаме. Попытка не удалась, акмеизм мировоззрением не занимался: он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений, гораздо более ценных, чем идея, а главным образом вкус к целостному словесному представлению, образу, в новом органическом понимании.

Литературные школы живут не идеями, а вкусами: принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов значит не сделать новой школы, а лишь основать полемику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей.

Не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма. Идеи оказались отчасти перенятыми у символистов, и сам Вячеслав Иванов много способствовал построению акмеистической теории. Но смотрите, какое случилось чудо: для тех, кто живет внутри русской поэзии, новая кровь потекла по ее жилам. Говорят, вера движет горы, а я скажу, в применении к поэзии: горами движет вкус. Благодаря тому, что в России, в начале столетия, возник новый вкус, такие громады, как

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
Рабле, Шекспир, Расин, снялись с места и двинулись к нам в гости. Подъемная сила акмеизма в смысле деятельной любви к литературе, ее тяжестим, ее грузу, необычайно велика, и рычагом этой деятельной любви и был именно новый вкус, мужественная воля к поэзии и поэтике, в центре которой стоит человек, не сплюснутый в лепешку лжесимволическими ужасами, а как хозяин у себя дома, истинный символизм, окруженный символами, то есть утварью, обладающей и словесными представлениями, как своими органами.

Не раз в русском обществе бывали минуты гениального чтения в сердце западной литературы. Так Пушкин, и с ним все его поколение, прочитал Шенье. Так следующее поколение, поколение Одоевского, прочитало Шеллинга, Гофмана и Новалиса. Так шестидесятники читали своего Бокля, и хотя обе стороны звезд с неба не хватало, и в этом случае идеальнейшего читателя найти было нельзя. Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на «Федре», Гофман на «Серапионовых братьях». Раскрылись ямбы Шенье и гомеровская «Илиада». Акмеизм не только литературное, но и общественное явление в русской истории. С ним вместе в русской поэзии возродилась хозяйственная сила. «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья: и Господа и дьявола равно прославлю я», – сказал Брюсов. Это убогое «ничевочество» никогда не повторится в русской поэзии. Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до «гражданина», но есть более высокое начало, чем «гражданин», – понятие «мужа».

В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и «мужа». Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громднее, потому и человек должен стать тверже, как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней так, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире.

Отшумит век, уснет культура, переродится народ, отдав свои лучшие силы новому общественному классу, и весь этот поток увлечет за собой хрупкую ладью человеческого слова в открытое море грядущего, где нет сочувственного понимания, где унылый комментарий заменяет свежий ветер вражды и сочувствия современников. Как же можно снарядить эту ладью в дальний путь, не снабдив ее всем необходимым для столь чужого и столь дорогого читателя? Еще раз я уподоблю стихотворение египетской ладье мертвых. Все для жизни припасено, ничего не забыто в этой ладье...

Но я вижу возможность многочисленных возражений и начало реакции на акмеизм и в этой первоначальной его формулировке, подобно кризису лжесимволизма. Чистая биология не подходит для построения поэтики. Биологическая аналогия хороша и плодотворна, но в результате ее последовательного применения получается биологический канон, не менее давящий и нестерпимый, чем лжесимволический. «Души готической рассудочная пропасть» глядит из физиологического понимания искусства. Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию.

На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имагинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира.

А. Блок
(7 августа 21 г. – 7 августа 22 г.)

1

Первая годовщина смерти Блока должна быть скромной: 7 августа только начинает жить в русском календаре. Посмертное существование Блока, новая судьба, *Vita Nuova*[42], переживает свой младенческий возраст.

Болотные испаренья русской критики, тяжелый ядовитый туман Иванова-Разумника, Айхенвальда, Зоргенфрея и др., сгустившийся в прошлом году, еще не рассеялся.

Лирика о лирике продолжается. Самый дурной вид лирического толкованья. Домыслы. Произвольные посылки. Метафизические догадки.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Все шатко, валко: сплошная отсебятина.

Не позавидуешь читателю, который пожелает почерпнуть знание о Блоке из литературы 1921 – 22 гг.

Работы, именно «работы», Эйхенбаума и Жирмунского тонут в этой литании, среди болотных испарений лирической критики.

Еще с первых же шагов его посмертной жизни мы должны научиться познавать Блока, бороться с оптическим обманом восприятия, с неизбежным коэффициентом искажения. Постепенно расширяя область безусловного и общеобязательного знания о поэте, мы расчищаем дорогу его посмертной судьбе.

Установление литературного генезиса поэта, его литературных источников, его родства и происхождения сразу выводит нас на твердую почву. На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан...

Рассматривая в целом поэтическую деятельность Блока, в ней различаешь две струи, два отличных начала – домашнее, русское, провинциальное, и европейское. Восьмидесятые годы – колыбель Блока, и недаром в конце пути, уже зрелым поэтом в поэме «Возмездие» он вернулся к своим жизненным истокам – к восьмидесятым годам.

Домашнее и европейское – два полюса не только поэзии Блока, но и всей русской культуры последних десятилетий. Начиная с Аполлона Григорьева наметилась глубокая духовная трещина в русском обществе. Отлучение от великих европейских интересов, отпадение от единства европейской культуры, отторгнутость от великого лона, воспринимаемая почти как ересь, в которой боялись себе признаться, стыдась, была уже свершившимся фактом. Словно спеша исправить чью-то ошибку, загладить вину косноязычного поколения, чья память была короткой и любовь горячей, но ограниченной, и за себя, и за них, за людей восьмидесятых, шестидесятых и сороковых годов, Блок торжественно клянется:

Мы любим все: парижских улиц ад
И венецянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна мощные громады.

Но более того, у Блока была историческая любовь, историческая объективность к домашнему периоду русской истории, который прошел под знаком интеллигенции и народничества. Тяжелый трехдольник Некрасова был для него величав, как «Труды и дни» Гесиода. Семиструнная гитара, подруга Аполлона Григорьева, была для него не менее священна, нежели классическая лира. Он подхватил цыганский романс и сделал его языком всенародной страсти. Кажется, будто высокий, математический лоб Софьи Перовской в блистательном свете блоковского познания русской действительности веет уже мраморным холодком настоящего бессмертия.

Не надивись историческому чутью Блока. Еще задолго до того, как он умолял слушать музыку революции, Блок слушал подземную музыку русской истории там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу. Из каждой строчки стихов Блока о России на нас глядят Костомаров, Соловьев и Ключевский, именно Ключевский, добрый гений, домашний дух-покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания.

Блок был человеком девятнадцатого века и знал, что дни его столетия сочтены. Он жадно расширял и углублял свой внутренний мир во времени, подобно тому как барсук роется в земле, устраивая свое жилище, прокладывая из него два выхода. Век – барсучья нора, и человек своего века живет и движется в скупом отмеренном пространстве, лихорадочно стремится расширить свои владения и больше всего дорожит выходами из подземной норы. И, движимый этим барсучьим инстинктом, Блок углублял свое поэтическое знание девятнадцатого века. Английский и германский романтизм, голубой цветок Новалиса, ирония Гейне, почти пушкинская жажда прикоснуться горячими устами к утоляющим в своей чистоте и разобщенности отдельно бьющим ключам европейского народного творчества: английского, французского, германского – издавна мучила Блока. Среди созданий Блока есть внушенные непосредственно англосаксонским, романским, германским гением, и эта непосредственность внушения еще раз заставляет вспомнить «Пир во время чумы» и то место, где «ночь лимоном и лавром пахнет» и песенку «Пью за здравие Мэри». Вся поэтика девятнадцатого века – вот границы могущества Блока, вот где он царь,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru вот на чем крепнет его голос, когда его движения становятся властными, интонации повелительными. Свобода, с которой обращается Блок с тематическим материалом этой поэтики, наводит на мысль, что некоторые сюжеты, индивидуальные и случайные до последнего времени, на наших глазах завоевали гражданское равноправие с мифом, такова тема Дон-Жуана и Кармен. Сжатой и образцовой повести Мериме повезло: легкая и воинственная музыка Бизе, как боевой рожок, разнесла по всем захолустьям весть о вечной молодости и жажде жизни романской расы. Стихи Блока дают последнее убежище младшему в европейской семье сказанию – мифу. Но вершина исторической поэтики Блока, торжество европейского мифа, который свободно движется в традиционных формах, не боится анахронизма и современности, – это «Шаги Командора». Здесь пласты времени легли друг на друга в заново вспаханном поэтическом сознании и зерна старого сюжета дали обильные всходы («Тихий, черный, как сова, мотор...», «Из страны блаженной, незнакомой, дальней слышно пенье петуха»).

2

В литературном отношении Блок был просвещенный консерватор. Во всем, что касалось вопросов стиля, ритмики, образности, он был удивительно осторожен: ни одного открытого разрыва с прошлым. Представляя себе Блока как новатора в литературе, вспоминаешь английского лорда, с большим тактом проводящего новый билль в палате. Это был какой-то не русский, скорее английский консерватизм. Литературная революция в рамках традиции и безупречной лояльности. Начиная с прямой, почти ученической зависимости от Владимира Соловьева и Фета, Блок до конца не разрывал ни с одним из принятых на себя обязательств, не выбросил ни одного пиетета, не растоптал ни одного канона. Он только усложнял свое поэтическое *credo* все новыми и новыми пиететами: так, довольно поздно он ввел в свою поэзию некрасовский канон и гораздо позже испытал прямое, каноническое влияние Пушкина, весьма редкий случай в русской поэзии. Литературная мягкость Блока происходила отнюдь не от бесхарактерности: он чрезвычайно сильно чувствовал стиль как породу, поэтому жизнь языка и литературной формы он ощущал не как ломку и разрушение, а как скрещивание, спаривание различных пород, кровей и как прививку различных плодов к одному и тому же дереву.

Самое неожиданное и резкое из всех произведений Блока «Двенадцать» не что иное, как применение независимо от него сложившегося и ранее существовавшего литературного канона, а именно частушки. Поэма «Двенадцать» – монументальная драматическая частушка. Центр тяжести – в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность, и каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии, но сила «Двенадцати» не только в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки вроде: «у ей керенки есть в чулке», и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы. Фольклористическая ценность «Двенадцати» напоминает разговоры младших персонажей в «Войне и мире». Независимо от различных праздных толкований, поэма «Двенадцать» бессмертна, как фольклор.

Поэзия русских символистов была экстенсивной, хищнической: они, то есть Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый, открывали новые области для себя, опустошали их и подобно конквистадорам стремились дальше. Поэзия Блока от начала до конца, от «Стихов о Прекрасной Даме» до «Двенадцати» включительно, была интенсивной, культурно-созидательной. Тематическое развитие поэзии Блока шло от культа к культу. От «Незнакомки» и «Прекрасной Дамы», через «Балаганчик» и «Снежную Маску» к России и русской культуре и далее к революции как высшему музыкальному напряжению и катастрофической сущности культуры.

Душевный строй поэта располагает к катастрофе. Культ же и культура предполагают скрытый и защищенный источник энергии, равномерное и целесообразное движение: «любовь, которая движет солнцем и остальными светилами». Поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить ее в зависимость от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой в конце концов пришел Блок.

О Блоке можно сказать – поэт Незнакомки и русской культуры; разумеется, нелепо предполагать, что Незнакомка и Прекрасная Дама – символы русской культуры, но одна и та же потребность культа, то есть целесообразного разряда поэтической энергии, руководила его тематическим творчеством и нашла свое высшее удовлетворение в служении русской культуре и революции.

Пшеница человеческая

Много, много зерен в мешке, как их ни перетряхивай, ни пересыпай, все одно и то же. Никакое количество русских, французов, англичан еще не образует народ, те же зерна в мешке, та же пшеница человеческая неразмолотая, чистое количество. Это чистое количество, эта пшеница человеческая жаждет быть размолотой, обращенной в муку, выпеченной в хлеб. Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но помола нет, мельник одряхлел и устал и широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут работы.

Духовая печь истории, некогда столь широкая и поместительная, жаркая и домовитая духовка, откуда вышли многие румяные хлебы, забастовала. Человеческая пшеница всюду шумит и волнуется, но не хочет стать хлебом, хотя ее к тому понуждают считающие себя ее хозяевами грубые собственники, владельцы амбаров и закровов.

Эра мессианизма окончательно и бесповоротно кончилась для европейских народов. Всякий мессианизм гласит приблизительно следующее: только мы хлеб, вы же просто зерно, не достойное помола, но мы можем сделать так, что и вы станете хлебом. Всякий мессианизм заранее недобросовестен, лжив и рассчитан на невозможный резонанс в сознании тех, к кому он обращается с подобным предложением. Ни один мессианствующий и витийствующий народ никогда не был услышан другим. Все говорили в пустоту, и бредовые речи лились одновременно из разных уст, не замечая друг друга.

Есть один факт, который способствует возникновению и процветанию всяческого мессианизма, заставляет народы бредить устами безответственных пифических оракулов, который на долгое время обратил Европу в пифическое торжище национальных идей, – этот факт – расщепление политической и существенной культурно-экономической жизни народов, расслоение политического и национального плана, в грубой формулировке: несовпадение политических границ с национальными. Но в цыганском таборе этнографии не место хищным зверям, здесь пляшет ручной медведь и орла привязывают за большую лапу. Политическое буйство Европы, ее неутомимое желание перекраивать свои границы можно рассматривать как продолжение геологического процесса, как потребность продолжить в истории эру геологических катастроф, колебаний, характерную для самого молодого, самого нежного, самого исторического материка, чье темя еще не окрепло, как темя ребенка.

Но политическая жизнь катастрофична по существу. Душа политики, ее природа – катастрофа, неожиданный сдвиг, разрушение. Хорошо бюргерам в «Фаусте», на скамеечке, покуривая трубку, рассуждать о турецких делах. Землетрясение приятно издалека, когда оно не страшно. Если не слышно гула политических событий – для Европы, насквозь политической по мироощущению, – это уже событие:

Царей и царств земных отрада

Возлюбленная тишина, –

то есть простое отсутствие катастрофы ощущалось почти материально, как некий тонкий эфир тишины. Катастрофичность политической стихии по существу привела к образованию в самых недрах исторической Европы сильнейшего течения, которое поставило себе задачей умерщвление политической жизни как таковой, уничтожение самостоятельной и катастрофической политической стихии, борьбу с исторической катастрофой, где бы и чем бы она ни проявлялась, – это течение вырвалось из такой глубины, что проявление его само походило на катастрофу, и, отнюдь не катастрофичное по своей природе, оно только по недоразумению могло показаться новым политическим землетрясением, новой исторической катастрофой в ряду прочих.

Отныне политика умерла как стихия, и трижды благословенна ее жизнь. Многие еще говорят на старом языке, но никакой политической конгресс наподобие венских или берлинских в Европе уже невозможен, никто не станет слушать актеров, да и актеры разучились играть.

Итак, остановка политической жизни Европы как самостоятельного, катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом «народностей» на простое человеческое зерно, пшеницу, и теперь к голосу этой человеческой пшеницы, к голосу массы, как ее нынче косноязычно называют, мы

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день.

Не на мельнице политической истории, не тяжелым жерновом катастрофы человеческая пшеница будет обращена в муку. Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова, благословенна экономика с ее пафосом всемирной домашности, благословен кремневый топор классовой борьбы – все, что поглощено великой заботой об устройении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, – сейчас одно и то же.

Ни один народ больше не самоопределится в процессе политической борьбы. Политическая независимость больше не делает народа; только бросив свой мешок на эту новую мельницу, под жернова этой новой заботы, мы получим обратно уже чистую муку – нашу новую сущность как народа.

Стыд вчерашнего мессианизма еще горит на лице европейских народов, и я не знаю более жгучего стыда после всего, что совершилось. Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничтожество, пока Европа не обретет себя как целое, не ощутит себя как нравственную личность. Вне общего, материнского европейского сознания невозможна никакая малая народность. Выход из национального распада, из состояния зерна в мешке к вселенскому единству, к интернационалу лежит для нас через возрождение европейского сознания, через восстановление европеизма как нашей большой народности.

«Чувство Европы» – глухое, подавленное, угнетенное войнами и гражданскими распрями – возвращается в круг действующих рабочих идей. Россия сохранила это чувство для Европы подспудно и ревностно, она разжигала этот огонь заранее, как бы тревожась, что он может загаснуть. Вспомним Герцена, не мировоззрение его, а его европейскую домовитость, хозяйственность – он бродил по странам Запада, как хозяин по огромной родной усадьбе. Вспомним отношение Карамзина и Тютчева к земле Запада, к европейской почве. И тот, и другой сильнее всего чувствовали почву Европы там, где она вздыбилась горами, где она хранит живую память геологической катастрофы. Здесь, в Швейцарии, Карамзин пролил сентиментальные слезы русского путешественника. Альпам посвящены лучшие стихи Тютчева. Совершенно своеобразное, насквозь одухотворенное отношение русского поэта к геологическому буйству альпийского кряжа объясняется именно тем, что здесь буйной геологической катастрофой вздыблена в мощные кряжи своя родная, историческая земля – земля, несущая Рим и собор святого Петра, носившая Канта и Гете. Оттого-то здесь –

Нечто праздничное веет,
Как дней воскресных тишина.
Так альпийские стихи Тютчева одухотворены историческим ощущением европейской почвы и двойной тиарой для поэта увенчаны европейские Гималаи.

В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось – вся масса литого золота исторических форм идей? – вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что выдает себя за величие, – подмена, бутафория, папье-маше? Нужно смотреть трезво: нынешняя Европа – огромный амбар человеческого зерна, настоящей человеческой пшеницы, и мешок с зерном сейчас монументальней готики.

Но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе, о том, как юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркая и с розовой пеной усталости у губ, перенести чрез земные воды драгоценную ношу, нежную Европу, и та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею.

Девятнадцатый век
К девятнадцатому веку применимы слова Бодлэра об альбатросе: «шатром гигантских крыл он пригвожден к земле».

Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми и грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно – прикрытый огромной палаткой непомерных крыл. Покой отчаянья. Крылья давят,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
противоречат своему естественному назначению.

Гигантские крылья девятнадцатого века – *ses ailes de gigant* – это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз – познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху.

Державин на пороге девятнадцатого столетия нацарапал на грифельной доске несколько стихов, которые могли бы послужить лейтмотивом всего грядущего столетия:

Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Здесь на ржавом языке одряхлевшего столетия со всей мощью и пронизательностью высказана потаенная мысль грядущего – извлечен из него высший урок, дана его моральная основа. Этот урок – релятивизм, относительность: «а если что и остается» и т. д.

Сущность познавательной деятельности девятнадцатого столетия заключается в проекции. Минувший век не любил говорить о себе от первого лица, но он любил проецировать себя на экране чужих эпох, и в этом была его жизнь, его движение. Своей бессонной мыслью, как огромным шальным прожектором, он раскатывал по черному небу истории; гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен; выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось.

И не один прожектор шарил по этому страшному небу: все науки превратились в собственные, отвлеченные и чудовищные, методологии (за исключением математической). Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным, – все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку: сколько наук, столько методологий. Наиболее типична философия: на всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться «введением в философию», вводила и вводила без конца, куда-то заводила и бросала. И все науки вместе шарили по беззвездному небу (а небо этого столетия было удивительно беззвездным) своими методологическими щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте.

Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, и сейчас мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут выше минералов.
Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности, какая разительная противоположность с блестящим и холодным безразличием методологической научной мысли девятнадцатого столетия...

Восемнадцатый век был веком секуляризации, то есть обмирщения человеческой мысли и деятельности. Ненависть к жречеству, гирератическому культу, ненависть к литургии глубоко заложена в его крови. Не будучи веком социальной борьбы по преимуществу, он был промежуток времени, когда общество болезненно чувствовало касту. Унаследованный от средневековья детерминизм тяготел над философией и просвещением и над его политическими опытами вплоть до «*tiers états*»[43].

Каста жрецов, каста воинов, каста земледельцев – вот понятия, которыми оперировали «просвещенные умы». Это отнюдь не классы: все перечисленные элементы мыслились необходимыми в священной архитектонике всякого общества. Огромная накопившаяся энергия социальной борьбы искала себе выхода. Вся агрессивная

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
потребность века, вся сила его принципиального негодования обрушилась на жреческую касту. Казалось, вся наковальня великих принципов служила только для того, чтобы выковать молот, которым можно было бы сокрушить ненавистных жрецов. Не было столетия более чуткого ко всему, что пахнет жречеством, – кафельный дым и всяческие курения обжигали его ноздри и заставляли выпрямляться позвоночник хищного зверя.

Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон...

Литургия была занозой в теле восемнадцатого века. Он не видел вокруг себя ничего, что так или иначе не было бы связано с литургией, не происходило бы от нее. Архитектура, музыка, живопись – все излучалось из одного центра, а этот центр подлежал уничтожению. В живописной композиции существует один вопрос, обуславливающий движение и равновесие красок: где источник света? Так восемнадцатый век, отвергнув источник света, исторически им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему. И он разрешил ее своеобразно, прорубив окно в им же самим выдуманное язычество, в мнимую античность, отнюдь не филологическую и не подлинную, а в вспомогательную, утилитарную, сочиненную ad hoc, для удовлетворения назревшей исторической потребности.

Рационалистические моменты мифологии как нельзя лучше подходили к этой потребности века, позволяя ему населить опустошенное небо образами человеческими, податливыми и послушными капризному самолюбию эпохи. Что же касается деизма, то он терпел все, готов был стерпеть все, лишь бы за ним сохранили скромное значение подмалевка, если это не был пустой холст.

По мере приближения Великой французской революции псевдоантичная театрализация жизни и политики делала все большие успехи, и к моменту самой революции практическим деятелям пришлось уже двигаться и бороться в густой толпе персонификаций и аллегорий, в узком пространстве настоящих театральные кулисы, на подмостках инсценированной античной драмы. Когда в этот жалкий картонный театр сошли настоящие фурии античного беснования, в напыщенной трескотне гражданских праздников и муниципальных хоров сначала трудно было поверить, и только поэзия Шенье, поэзия подлинного античного беснования, наглядно доказала, что существует союз ума и фурий, что древний ямбический дух, распалывший некогда Архилоха к первым ямбам, еще жив в мятежной европейской душе.

Дух античного беснования с пиршественной роскошью и мрачным великолепием проявился во французской революции. Разве не он бросил Жиронду на Гору и Гору на Жиронду? Разве не он вспыхнул в язычках фригийского колпака и в неслыханной жажде взаимного истребления, раздиравшей недра конвента? Свобода, равенство и братство – в этой триаде не оставлено места для беснующихся фурий подлинной беснующейся античности. Ее не пригласили на пир, она пришла сама, ее не звали, она явилась непрошеной, с ней говорили на языке разума, но понемногу она превратила в своих последователей самых яростных своих противников.

Французская революция кончилась, когда от нее отлетел дух античного беснования; она испепелила жречество, убила социальный детерминизм, довела до конца дело обмирщения Европы и выплеснулась на берег девятнадцатого столетия уже непонятая – не голова Горгоны, а пучок морских водорослей. Глубокое уважение к минувшему девятнадцатому столетию заставляет относиться с достаточным доверием к его реакционной глубине. Из союза ума и фурий родился ублюдок, одинаково чуждый и высокому рационализму энциклопедий, и античному воинству революционной бури – романтизму.

Но романтизм все-таки прямой потомок. В дальнейшем своем течении девятнадцатый век ушел от своего предшественника гораздо дальше, чем романтизм.

Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история, – активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга. Он был колыбелью Нирваны, не пропускавшей ни одного луча активного познания, –

В пещере пустой
Зыбки качанье
Под чьей-то рукой, –
Молчанье, молчанье...

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Скрытый буддизм, внутренний уклон, червоточина. Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость. Буддизм в науке – подрумяненной личиной и озабоченной суетой позитивизма; буддизм в искусстве – в аналитическом романе Гонкуров и Флобера; буддизм в религии – глядящий из всех дыр теории прогресса, подготовляющий торжество новейшей теософии, которая не что иное, как буржуазная религия прогресса, религия аптекаря, господина Гомэ, изготавливающаяся к дальнейшему плаванию и снабженная метафизическими снастями.

Не случайно, кажется мне, тяготенье Гонкуров и их единомышленников, первых французских импрессионистов, к японскому искусству, к гравюре Хокусая, к форме танки во всех ее видах, то есть к совершенной и замкнутой в себе и неподвижной композиции. Вся «Мадам Бовари» написана по системе танок. Потому Флобер так медленно и мучительно ее писал, что через каждые пять слов он должен был начинать сначала.

Танка – излюбленная форма атомистического искусства, – она не миниатюрна, и было бы грубой ошибкой благодаря ее краткости смешивать ее с миниатюрой. У нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что есть сама мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри атома.

Вишневая ветка и снежный конус излюбленной горы, покровительницы японских гравюров, отразились в сияющем лаке каждой фразы полированного флоберовского романа. Здесь все покрыто лаком чистого созерцания, и, как поверхность палисандрового дерева, стиль романа может отобразить любой предмет. Если подобные произведения не испугали современников, это следует отнести к их поразительной нечуткости и художественной невосприимчивости. Из всех критиков Флобера, быть может, наиболее пронизательным был королевский прокурор, угадавший в романе какую-то опасность. Но, увы, он ее искал не там, где она скрывалась.

Девятнадцатый век в самых крайних своих проявлениях должен был прийти к форме танки, к поэзии небытия и буддизму в искусстве. В сущности, Япония и Китай совсем не Восток, а крайний Запад: они западнее Лондона и Парижа.

Минувший век углублялся именно в направлении Запада, а не Востока и встретился с крайним востоком-западом в своем стремлении к пределу.

Рассматривая аналитический французский роман как вершину западного буддизма девятнадцатого столетия, убеждаемся в полном его бесплодии в литературном отношении. Он не имел продолжателей и не мог их иметь по существу, у него были только наивные эпигоны, и сейчас еще есть в очень большом количестве. Романы Толстого – чистый эпос и вполне здоровая европейская форма искусства. Синтетический роман Романа Роллана резко порвал с традицией французского аналитического романа и примыкает к синтетическому роману восемнадцатого века, главным образом к «Вильгельму Мейстеру» Гете, с которым его связывает основной художественный прием.

Существует особый вид синтетической слепоты к индивидуальным явлениям. Гете и Роман Роллан живописуют психологические ландшафты, ландшафты характеров и душевных состояний, но они не могут или не хотят дать диалога, им претит подойти вплотную к индивидуальности, а тем более им чужда эстетическая пытка психологического анализа, с ее внутренней формой японско-флоберовской аналитической танки. В жилах каждого столетия течет чужая, не его кровь, и чем сильнее, исторически интенсивнее век, тем тяжелее вес этой чужой крови.

После восемнадцатого, который ничего не понимал, не располагал малейшим чутьем сравнительно-исторического метода и, как слепой котенок в корзине, был заброшен среди непонятных ему миров, наступил век всепонимания – век релятивизма, с чудовищной способностью к перевоплощению, – девятнадцатый. Но вкус к историческим перевоплощениям и всепониманию – непостоянный и преходящий, и наше столетие начинается под знаком величественной нетерпимости, исключительности и сознательного непонимания других миров. В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может египетской и ассирийской:

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Переборы коленчатой тьмы.

В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковейному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк.

И в этой работе легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний исторический день. Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться. «Энциклопедии скептический причет», правовой дух естественного договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, схематический разум, друг целесообразности, – еще послужат человечеству. Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум – *ratio* энциклопедистов – священный огонь Прометея.

Конец романа

Отличие романа от повести, хроники, мемуаров или другой прозаической формы заключается в том, что роман – композиционно замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой группы лиц. Жития святых, при всей разработанности фабулы, не были романами, потому что в них отсутствовал светский интерес к судьбе персонажей, а иллюстрировалась общая идея. Но греческая повесть «Дафнис и Хлоя» считается первым европейским романом, так как эта заинтересованность впервые в ней появляется самостоятельной движущей силой. На протяжении огромного промежутка времени форма романа совершенствовалась и крепла, как искусство заинтересовывать судьбой отдельных лиц, причем это искусство совершенствуется в двух направлениях: композиционная техника превращает биографию в фабулу, то есть диалектически осмысленное повествование. Одновременно с фабулой крепнет другая сторона романа, вспомогательная по существу, – искусство психологической мотивировки. Рассказчики кватроченто и «*Cent nouvelle nouvelle*» [44] в своей мотивировке ограничивались исключительно ситуацией, то есть комбинацией внешнего положения, что придавало рассказам исключительную сухость, изящную легкость и занимательность. Романисты-психологи вроде Флобера и Гонкуров за счет фабулы уделяли все внимание психологическому обоснованию и блестяще справились с этой задачей, превратив вспомогательный прием в самодовлеющее искусство.

Вплоть до последних дней роман был центральной насущной необходимостью и организованной формой европейского искусства. «Манон Леско», «Вертер», «Анна Каренина», «Дэвид Копперфилд», «*Rouge et Noir*» [45] Стендаля, «Шагреневая кожа», «Мадам Бовари» – были столько же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни. Происходило массовое самопознание современников, глядевших в зеркало романа, и массовое подражание, приспособление современников к типическим организациям романа. Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией. В эпоху наполеоновских войн вокруг биографии Наполеона образовался целый вихрь подражательных маленьких биографий, воспроизводивших судьбу центральной исторической фигуры, не доводя ее, конечно, до конца, а варьируя на разные лады. Стендаль в «*Rouge et Noir*» рассказал одну из этих подражательных вихревых биографий.

Если первоначально действующие лица романа были люди необыкновенные, герои, или уже одаренные необычайными мыслями и чувствами, то на склоне европейского романа наблюдается обратное явление: героем романа становится обыкновенный человек, с обыкновенными чувствами и мыслями, и центр тяжести переносится на социальную мотивировку, то есть настоящим действующим лицом является уже общество, как, например, у Бальзака или у Золя.

Все это наводит на догадку о связи, которая существует между судьбой романа и положением в данное время вопроса о судьбе личностей в истории; здесь не приходится говорить о действительных колебаниях роли личности в истории, а лишь о ходячем распространенном решении этого вопроса в данную минуту, постольку, поскольку оно воспитывает и образует умы современников.

Расцвет романа в XIX веке следует поставить в прямую зависимость от наполеоновской эпопеи, необычайно повысившей акции личности в истории и через Бальзака и Стендаля утучнившей почву для всего французского и европейского романа. Типическая биография захватчика и удачника Бонапарта расплывалась у Бальзака в десятки так называемых «*roman de réussite*» – «романов удачи», где

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru основной движущей темой является не любовь, а карьера, то есть стремление пробиться из низших, из средних социальных слоев в верхние. Крупнейшее событие конца XIX века – Парижская коммуна – до сих пор не нашло достаточно убедительного отражения в романе, и до сих пор книга Lessagare, простая хроника, является единственным настоящим «Романом Парижской коммуны».

Ясно, что, когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным настоящим и общепризнанным событием, акции личности в истории падают в сознании современников, и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнанная роль личности в истории является как бы манометром, показывающим давление социальной атмосферы. Мера романа – человеческая биография или система биографий. С первых же шагов новый романист почувствовал, что отдельной судьбы не существует, и старался нужное ему социальное растение вырвать из почвы со всеми корнями, со всеми спутниками и атрибутами. Таким образом, роман всегда предлагает нам систему явлений, управляемую биографической связью, измеряемую биографической мерой, и лишь постольку держится роман композитивно, поскольку в нем живет центробежная тяга планетной системы, поскольку вообще существуют в данном обществе такие системы, поскольку центростремительная тяга, тяга от периферии к центру, не возобладала окончательно над центробежной.

Последним примером центробежного биографического европейского романа можно считать «Жан-Кристофа» Романа Роллана, эту лебединую песнь европейской биографии, величавой плавностью и благородством синтетических приемов приводящую на память «Вильгельма Мейстера» Гете. «Жан-Кристоф» замыкает круг романа; при всей своей современности, это старомодное произведение; в нем собран старинный центробежный мед германской и латинской расы. Для того чтобы создать последний роман, понадобилось две расы, сочетавшиеся в личности Романа Роллана, но этого было мало. Все-таки «Жан-Кристоф» приводится в движение тем же мощным толчком наполеоновского революционного удара (роль личности в истории), как и весь европейский роман, через бетховенскую биографию Кристофа, через соприкосновение с мощной фигурой музыкального мифа, рожденного тем же наполеоновским половодьем личности в истории.

Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления – катастрофической гибелью биографии.

Ныне, извлекая из общей связи явлений облюбованную им особь со всем, что ее непосредственно окружает, писатель-романист уже не может остановиться, а неизбежно притягивает вместе с личностью весь огромный мир общественных явлений; хочет он или не хочет, он пишет социальный роман, хронику, летопись, то есть разбивает композиционную цельность замысла, выходит из рамок романа как системы явлений, непосредственно относящихся к личности. Чувство времени, принадлежащее человеку для того, чтобы действовать, побеждать, гибнуть, любить, – это чувство времени составляло основной тон самочувствия европейского романа, ибо, еще раз повторяю, композиционная мера романа – человеческая биография. Простая совокупность всего, что считается человеком, еще не есть биография и не дает позвоночника роману. Человек, действующий во времени старого европейского романа, является как бы сторожем всей системы явлений, группирующихся около него: тем более велико было искусство последних европейских романистов, в качестве такого стержня избравших людей заурядных и ничем не замечательных.

Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немислим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке, куда так искусно спасался упадочный роман, уже предчувствуя свою гибель, в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Самое понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления.

Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий. Любопытно, что кризис романа, то есть фабулы, насыщенной временем,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru совпал с провозглашением принципа относительности Эйнштейном. Любопытно и то, что выхода из создавшегося положения писатели-романисты ищут в смещении планов, как, например, Андрей Белый и бессознательно подражающий ему Келлерман. А. Н. Толстой пишет свои романы на память и доводит их приблизительно до 1917 года и дальше не знает, что делать. Но большинство прозаиков уже совершенно отказались от романа и, не боясь упреков в газетности и злободневности, бессознательно пишут хронику (Пильняк, серапионовцы и др.). Очевидно, силою вещей современный прозаик становится летописцем, и роман возвращается к своим истокам – к «Слову о полку Игореве», к летописи, к агиографии, к Четьи-Минеи. Снова мысль прозаика векшей растекается по дереву истории, и не нам заманить эту векшу в ручную клетку.

Гуманизм и современность

Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством.

Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве.

Но есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтоестве личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями.

Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры. Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и, отвыкшие от монументальных форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости девятнадцатого века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это – крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить.

Простая механическая громадность и голое количество враждебны человеку, и не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная готика: свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально и каждая частность аukaется с громадой.

Инстинкт социальной архитектуры, то есть устройство жизни в величественных монументальных формах, казалось бы далеко превосходящих прямые потребности человека, глубоко присущ человеческим обществам, и не пустая прихоть диктует его.

Откажитесь от социальной архитектуры, и рухнет самая простая, для всех несомненная и нужная постройка, рухнет дом человека, человеческое жилье.

В странах, угрожаемых землетрясением, люди строят плоские жилища, и стремление к плоскости, отказ от архитектуры, начиная с французской революции, проходит через всю правовую жизнь девятнадцатого века, который весь прошел в напряженном ожидании подземного толчка, социального удара.

Но землетрясение не пощадило и плоские жилища. Хаотический мир ворвался – и в английский *home*[46], и в немецкий *Gemüt*[47], хаос поет в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и заслонками.

Как оградить человеческое жилье от грозных потрясений, где застраховать его стены от подземных толчков истории, кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?

Правовое творчество последних поколений оказалось бессильным оградить то, ради чего оно возникло, над чем оно билось и бесплодно мудрствовало.

Никакие законы о правах человека, никакие принципы собственности и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
неприкосновенности больше не страхуют человеческого жилья, дома больше не спасают от катастрофы, не дают ни уверенности, ни обеспечения.

Англичанин больше других лицемерно заботится о правовых гарантиях личности, но он забыл, что понятие home'a возникло много веков назад в его же стране как понятие революционное, как естественное оправдание первой социальной революции в Европе, по типу своему более глубокой и родственной нашему времени, чем французская.

Монументальность надвигающейся социальной архитектуры обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе всемирной домашности на потребу человеку, расширяя круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского.

Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и телеологии, так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня.

Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон.

То, что ценности гуманизма ныне стали редки, как бы изъяты из употребления и подспудны, вовсе не есть дурной знак. Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно.

Переход на золотую валюту дело будущего, и в области культуры предстоит замена временных идей – бумажных выпусков – золотым чеканом европейского гуманистического наследства, и не под заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день и, как ходячая звонкая монета, пойдут по рукам, когда настанет срок.

Заметки о поэзии

Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны, – разве щелканьем и цоканьем Языкова не был предсказан Пастернак и разве одного этого примера не достаточно, чтоб показать, как поэтические батареи разговаривают друг с другом перекидным огнем, нимало не смущаясь равнодушием разделяющего их времени? В поэзии всегда война. И только в эпохи общественного идиотизма наступает мир или перемирие. Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга. Корни слов воют в темноте, отнимая друг у друга пищу и земные соки. Борьба русской, то есть мирской, бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой, – сказывается до сих пор.

Первые интеллигенты – византийские монахи – навязали языку чужой дух и чужое обличье. Чернецы, то есть интеллигенты, и миряне всегда говорили в России на разных языках. Славянщина Кирилла и Мефодия для своего времени была тем же, чем воляпюк газеты для нашего времени. Разговорная речь любит приспособление. Из враждебных кусков она создает сплав. Разговорная речь всегда находит удобный путь. По отношению ко всей истории языка она настроена примиренчески и определяется расплывчатым благодушием, то есть оппортунизмом. Поэтическая речь никогда не бывает достаточно «замирена», и в ней через много столетий открываются старые нелады, – это янтарь, в котором жужжит муха, давным-давно затянута смолой, живое чужеродное тело продолжает жить и в окаменелости. Все, что работает в русской поэзии на пользу чужой, монашеской, словесности, всякая интеллигентская словесность, то есть «Византия», – реакционна. Все, что клонится к обмирщению поэтической речи, то есть к изгнанию из нее монашествующей интеллигенции, Византии, – несет языку добро, то есть долговечность, и помогает ему совершить подвиг самостоятельного существования в семье других наречий.

В русской поэзии первостепенное дело делали только те работники, какие непосредственно участвовали в великом обмирщении языка, его секуляризации. Это – Тредьяковский, Ломоносов, Батюшков, Языков, Пушкин и, наконец, Хлебников и Пастернак.

Рискуя показаться чрезвычайно элементарным, донельзя упростить предмет, я изобразил бы отрицательный и положительный полюсы в состоянии поэтического языка как буйное морфологическое цветение и отверждение морфологической лавы под

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
смысловой корой. Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень.

Множитель корня – согласный звук – показатель его живучести. Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные – семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание – отмиранье чувства согласной.

Русский стих насыщен согласными и цокает, и щелкает, и свистит ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь – литания гласных.

Благодаря тому, что борьба с монашески-интеллигентской Византией на военном поле поэзии после Языкова заглохла и на этом славном поприще долго не являлось нового героя, русские поэты один за другим стали глохнуть к шуму языка, становились тугими на ухо к прибою звуковых волн и только через слуховую трубку различали в шуме словаря свой собственный малый словарь. Так глухому старцу в «Горе от ума» кричат: «Князь, князь, назад!» Небольшой словарь еще не грех и не порочный круг. Он замыкает иногда говорящего и пламенным кругом, но он есть признак того, что говорящий не доверяет родной почве и не всюду может поставить свою ногу. Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов – словарь полинезийца.

У Пушкина есть два выражения для новаторов в поэзии, одно: «чтоб, возмутив бескрылое желанье в нас, чадах праха, снова улететь!», а другое: «когда великий Глюк явился и открыл нам новы тайны». Всякий, кто поманит родную поэзию звуком и образом чужой речи, будет новатором первого толка, то есть соблазнителем.

Неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада. С тем же правом можно расколдовать в музыке русской речи негритянские барабаны и односложные словоизъявления кафров. В русской речи спит она сама, и только она сама. Российскому стихотворцу не похвала, а прямая обида, если стихи его звучат как латынь. А как же Глюк? – Глубокие, пленительные тайны? – Для российской поэтической судьбы глубокие, пленительные глюковские тайны не в санскрите и не в эллинизме, а в последовательном обмирщении поэтической речи. – Давайте нам «Библию для мирян»!

Когда я читаю «Сестру мою – жизнь» Пастернака – я испытываю ту самую чистую радость освобожденной от внешних влияний мирской речи, черной поденной речи Лютера. Так радовались немцы в своих черепичных домах, впервые открывая свеженькие, типографской краской пахнущие, свои готические Библии.

Чтение же Хлебникова может сравниться с еще более величественным и поучительным зрелищем: так мог бы и должен был бы развиваться язык-праведник, не обремененный и не оскверненный историческими невзгодами и насилиями. Речь Хлебникова до того обмирщена, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии, ни интеллигентской письменности. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за все время существования русской книжной грамоты. Если принять такой взгляд, отпадает необходимость считать Хлебникова каким-то колдуном и шаманом. Он наметил пути развития языка.

Когда явился Фет, русскую поэзию взбудоражило

серебро и колыханье сонного ручья, –
а уходя, Фет сказал:

и горящую солью нетленных речей.

Эта горящая соль каких-то речей, этот посвист, щелканье, шелестение, сверканье, плеск, полнота звука, полнота жизни, половодье образов и чувств с неслышанной силой воспрянули в поэзии Пастернака. Перед нами значительное патриархальное явление русской поэзии Фета.

Величественная домашняя русская поэзия Пастернака уже старомодна. Она безвкусна потому, что бессмертна; она бесстильна потому, что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего соловья. Да, поэзия Пастернака прямое токованье (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок.

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Это – двух соловьев поединок...
Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это – кумыс после американского молока.

Книга Пастернака «Сестра моя – жизнь» представляется мне сборником прекрасных упражнений дыханья: каждый раз голос становится по-новому, каждый раз иначе регулируется мощный дыхательный аппарат.

У Пастернака синтаксис убежденного собеседника, который горячо и взволнованно что-то доказывает, а что он доказывает?

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.
Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире.

Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах: это – блестящая Нике, перемещенная с Акрополя на Воробьевы горы.

Выпад

1

В поэзии нужен классицизм, в поэзии нужен эллинизм, в поэзии нужно повышенное чувство образности, машинный ритм, городской коллективизм, крестьянский фольклор... Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем не должна, никому она не должна, кредиторы у нее все фальшивые! Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно, необходимо в искусстве: во-первых, это всегда произвольно и ни к чему не обязывает; во-вторых, это неиссякаемая тема для философствования; в-третьих, это избавляет от очень неприятной вещи, на которую далеко не все способны, а именно – благодарности к тому, что в данное время является поэзией.

О, чудовищная неблагодарность: Кузмину, Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, Вагинову – уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас обидел Бог. Народ не выбирает своих поэтов, точно так же, как никто не выбирает своих родителей. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает... Да ничего он не заслуживает, – пожалуй, просто ему не до них, но какая разница между чистым незнанием народа и полужнанием невежественного щеголя. Готтентоты, испытывая своих стариков, заставляют их карабкаться на дерево и потом трясут дерево: если старик настолько одряхлел, что свалится, значит, нужно его убить. Сноб копирует готтентота, его излюбленный критический прием напоминает только что описанный. Я думаю, что на это занятие нужно ответить презрением. Кому – поэзия, кому – готтентотская забава.

Ничто так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере; перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает, привередничает. Наконец у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства – постоянного перед переменным, неподвижного – перед движущимся. Бурная смена поэтических школ в России, от символистов до наших дней, свалилась на голову одного и того же читателя.

Читательское поколение девяностых годов выпадает, как несостоятельное, совершенно некомпетентное в поэзии. Поэтому символисты долго ждали своего читателя и силою вещей по уму, образованию и зрелости оказались гораздо старше той зеленой молодежи, к которой они обращались. Девятисотые годы, по упадочности общественного вкуса, были немного выше девяностых, и наряду с «Весами», боевой цитаделью новой школы, – существовала безграмотная традиция «шиповников», чудовищная по аляповатости и невежественной претенциозности альманашная литература.

Когда из широкого лона символизма вышли индивидуально законченные поэтические явления, когда род распался и наступило царство личности, поэтической особи, читатель, воспитанный на родовой поэзии, каковым был символизм, лоно всей новой русской поэзии, – читатель растерялся в мире цветущего разнообразия, где все уже не было покрыто шапкой рода, а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой. После родовой эпохи, влившей новую кровь, провозгласившей канон необычайной емкости, после густой смеси, торжествовавшей в густом благовесте Вячеслава Иванова, наступило время особи, личности. Но вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона. У читателя короткая память – он этого не хочет знать. О, жолуди, жолуди, зачем дуб, когда есть жолуди!

2

Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы. Снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсяннико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы.

Искажение поэтического произведения в восприятии читателя – совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности.

В отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным. Но все эти знаки не менее точны, нежели нотные знаки или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель ставит их от себя, как бы извлекая их из самого текста.

Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть читать буквы, ни даже с литературной начитанностью. Если процент обычной и литературной неграмотности в России очень велик, то поэтическая неграмотность уже просто чудовищна, и тем хуже, что ее смешивают с обычной и всякий умеющий читать считается поэтически грамотным. Сказанное сугубо относится к полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, в сущности уже безъязычной, аморфной в отношении языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской речевой стихии.

Вот потребности этой деклассированной в языковом отношении среды должна удовлетворять текущая русская поэзия.

Слово, рожденное в глубочайших недрах речевого сознания, обслуживает глухонемых и косноязычных – кретинов и дегенератов слова.

Великая заслуга символизма, его правильная позиция в отношении к русскому читательскому обществу была в его учительстве, в его врожденной авторитетности, в патриархальной вескости и законодательной тяжести, которой он воспитывал читателя. Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика. Критики как произвольного истолкования поэзии не должно существовать, она должна уступить объективному научному исследованию, науке о поэзии.

Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии – это глубокое и чистое неведение, незнание народа о своей поэзии.

Массы, сохранившие здоровое филологическое чутье, те слои, где произрастает, крепнет и развивается морфология языка, просто-напросто еще не вошли в соприкосновение с индивидуалистической русской поэзией. Она еще не дошла до своих читателей и, может быть, дойдет до них только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели.

Разговор о Данте

(Inf., XVI, 76)

I

Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний: первое из этих звучаний – это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве; второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями.

В таком понимании поэзия не является частью природы – хотя бы самой лучшей, отборной – и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами.

Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии: ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала.

Дант – орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он стратег превращений и скрещиваний, и меньше всего он поэт в «общеевропейском» и внешнекультурном значении этого слова.

Борцы, свивающиеся в клубок на арене, могут быть рассматриваемы как орудийное превращение и созвучие.

«...Эти обнаженные и лоснящиеся борцы, которые прохаживаются, кичась своими телесными доблестями, прежде чем сцепиться в решительной схватке...»

Между тем современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга.

Вообразите нечто понятное, схваченное, вырванное из мрака, на языке, добровольно и охотно забытом тотчас после того, как совершился проясняющий акт понимания-исполнения...

В поэзии важно только исполняющее понимание – отнюдь не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа.

Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться.

Иначе неизбежен долбеж, вколачиванье готовых гвоздей, именуемых «культурно-поэтическими» образами.

Внешняя, поясняющая образность несовместима с орудийностью.

Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования.

Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, – так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку.

Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество текстильных основ, отличающихся друг от друга только в исполнительской окраске, только в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудийной сигнализации.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Она прочнейший ковер, сотканный из влаги, – ковер, в котором струи Ганга, взятые как текстильная тема, не смешиваются с пробами Нила или Евфрата, но пребывают разноцветны – в жгутах, фигурах, орнаментах, но только не в узорах, ибо узор есть тот же пересказ. Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения, как разыгранный кусок природы. Животный, растительный, степной, скифский, египетский – какой угодно, национальный или варварский, – он всегда говорящ, видящ, деятелен.

Орнамент строфичен.

Узор строчковат.

Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме – *il disio!*[49]

Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к небу.

Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя.

Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску...

Когда я начал учиться итальянскому языку и чуть-чуть познакомился с его фонетикой и просодией, я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился: ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило – это инфантильность итальянской фонетики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету, какой-то извечный дадаизм.

E consolando usava l'idioma
Che prima i padri e le madri trastulla;

.....
Favoleggiava con la sua famiglia
De Troiani, di Fiesole, e di Roma[50].
(Par., xv, 122 – 123, 125 – 126)

Угодно ли вам познакомиться со словарем итальянских рифм? Возьмите весь словарь итальянский и листайте его как хотите... Здесь все рифмуется друг с другом. Каждое слово просится в *concordanza*[51].

Чудесно здесь обилие брачующихся окончаний. Итальянский глагол усиливается к концу и только в окончании живет. Каждое слово спешит взорваться, слететь с губ, уйти, очистить место другим.

Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы, Дант вводит детскую заумь в свой астрономический, концертный, глубоко публичный, проповеднический словарь.

Творенье Данта есть прежде всего выход на мировую арену современной ему итальянской речи – как целого, как системы.

Самый дадаистический из романских языков выдвигается на международное первое место.

II

Необходимо показать кусочки дантовских ритмов. Об этом не имеют понятия, а знать это нужно. Кто говорит – Дант скульптурен, тот во власти нищенских определений великого европейца. Поэзии Данта свойственны все виды энергии, известные современной науке. Единство света, звука и материи составляет ее внутреннюю природу. Чтение Данта есть прежде всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас от цели. Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость, то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козым тропам Италии.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru «Inferno»[52] и в особенности «Purgatorio»[53] прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. Шаг, сопряженный с дыханием и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии. Для обозначения ходьбы он употребляет множество разнообразных и прелестных оборотов.

У Данта философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах. Даже остановка – разновидность накопленного движения: площадка для разговора создается альпийскими усилиями. Стопа стихов – вдох и выдох – шаг. Шаг – умозаключающий, бодрствующий, силлогизирующий.

Образованность – школа быстрее ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намекам – вот любимая похвала Данта.

В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что «бежит быстрее».

«...Он отвернулся и показался мне одним из тех, которые бегут взапуски по зеленым лугам в окрестностях Вероны, и всей своей статью он напоминал о своей принадлежности к числу победителей, а не побежденных...»

Омолаживающая сила метафоры возвращает нам образованного старика Брунетто Латини в виде юноши – победителя на спортивном пробеге в Вероне.

Что же такое дантовская эрудиция?

Аристотель, как махровая бабочка, окаймлен арабской каймой Аверроеса.

Averrois, che il gran comento feo...[54]
(Inf., IV, 144)

В данном случае араб Аверроес аккомпанирует греку Аристотелю. Они компоненты одного рисунка. Они умещаются на мембране одного крыла.

Конец четвертой песни «Inferno» – настоящая цитатная оргия. Я нахожу здесь чистую и беспримесную демонстрацию упоминательной клавиатуры Данта.

Клавишная прогулка по всему кругозору античности. Какой-то шопеновский полонез, где рядом выступают вооруженный Цезарь с кровавыми глазами грифа и Демокрит, разъявивший материю на атомы.

Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования.

Я хочу сказать, что композиция складывается не в результате накопления частных деталей, а вследствие того, что одна за другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы, уходит в свое функциональное пространство, или измерение, но каждый раз в строго узаконенный срок и при условии достаточно зрелой для этого и единственной ситуации.

Самих вещей мы не знаем, но зато весьма чувствительны к их положению. И вот читая песни Данта, мы получаем как бы информационные сводки с поля военных действий и по ним превосходно угадываем, как звукоборствует симфония войны, хотя сам по себе каждый бюллетень чуть-чуть и кое-где передвигает стратегические флажки или показывает на кой-какие изменения в тембре канонады.

Таким образом, вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана. Ни одну минуту она не остается похожа на себя самое. Если бы физик, разложивший атомное ядро, захотел его вновь собрать, он бы уподобился сторонникам описательной и разъяснительной поэзии, для которой Дант на веки вечные чума и гроза.

Если б мы научились слышать Данта, мы бы слышали созревание кларнета и тромбона, мы бы слышали превращение виолы в скрипку и удлинение вентиля валторны. И мы были бы слушателями того, как вокруг лютни и теорбы образуется туманное ядро будущего гомофонного трехмастного оркестра.

Еще, если б мы слышали Данта, мы бы нечаянно окунулись в силовой поток, именуемый то композицией – как целое, то в частности своей – метафорой, то в уклончивости – сравнением, порождающий определения для того, чтобы они вернулись

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru в него, обогащали его своим таянием и, едва удостоившись первой радости становления, сейчас же теряли свое первородство, примкнув к стремящейся между смыслами и смыывающей их материи.

Начало десятой песни «Inferno». Дант вталкивает нас во внутреннюю слепоту композиционного сгустка:

«...Теперь мы вступили на узкую тропу между стеной скалы и мучениками – учитель мой и я у него за плечами...»

Все усилия направлены на борьбу с гушиной и неосвещенностью места. Световые формы прорезаются, как зубы. Разговор здесь необходим, как факелы в пещере.

Дант никогда не вступает в единоборство с материей, не приготовив органа для ее уловления, не вооружившись измерителем для отсчета конкретного каплющего или тающего времени. В поэзии, в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее, измерители суть орудия особого свойства, несущие особую активную функцию. Здесь дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает.

И вот мы видим, что диалог десятой песни «Inferno» намагничен временными глагольными формами – несовершенное и совершенное прошедшее, сослагательное прошедшее, само настоящее и будущее даны в десятой песни категорично, категорично, авторитарно.

Вся песнь построена на нескольких глагольных выпадах, дерзко выпрыгивающих из текста. Здесь разворачивается как бы фехтовальная таблица спряжений, и мы буквально слышим, как глаголы временят.

Выпад первый:

«La gente che per li sepolcri giace
P o t r e b b e s i veder?..» –

«Этот люд, уложенный в приоткрытые гроба, дозволено будет ли мне увидеть?..»

Второй выпад:

«...Volgiti: che fai?»[55]

В нем дан ужас настоящего, какой-то *terror praesentis*. Здесь беспримесное настоящее взято как чужанье. В полном отрыве от будущего и прошлого настоящее спрягается как чистый страх, как опасность.

Три оттенка прошедшего, складывающего с себя ответственность за уже свершившееся, даны в терцине:

Я пригвоздил к нему свой взгляд,
И он выпрямился во весь рост,
Как если бы уничижал ад великим презреньем.
Затем, как мощная труба, врывается прошедшее в вопросе фаринаты:

«...Chi fur ti maggior tui?» –
«Кто были твои предки?»

Как здесь вытянулся вспомогательный – маленькое обрубленное «*fur*» вместо «*fu*ron!» Не так ли при помощи удлинения вентиля образовалась валторна?

Дальше идет обмолвка совершенным прошедшим. Эта обмолвка подкосила старика Кавальканти: о своем сыне, еще здравствующем поэте Гвидо Кавальканти, он услышал от сверстника его и товарища – от Алигьери нечто – все равно что – в роковом совершенном прошедшем: «*ebbe*»[56].

И как замечательно, что именно эта обмолвка открывает дорогу главному потоку диалога: Кавальканти смывается, как отыгравший гобой или кларнет, а Фарината, как медлительный шахматный игрок, продолжает прерванный ход, возобновляет атаку:

«E se», continuando al primo detto,
«S'egli han quell'arte», disse, «male appresa,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Cìò mi tormenta più che questo letto»[57].

Диалог в десятой песни «Inferno» – нечаянный прояснитель ситуации. Она вытекает сама собой из междуречья.

Все полезные сведения энциклопедического характера оказываются сообщенными уже в начальных стихах песни. Амплитуда беседы медленно и упорно расширяется; косвенно вводятся массовые сцены и толповые образы.

Когда встает Фарината, презирающий ад наподобие большого барина, попавшего в тюрьму, маятник беседы уже раскачивается во весь диаметр Сумрачной равнины, изрезанной огнепроводами.

Понятие скандала в литературе гораздо старше Достоевского, только в тринадцатом веке, и у Данта, оно было гораздо сильнее. Дант нарывается, напарывается на нежелательную и опасную встречу с Фаринатой совершенно так же, как проходимцы Достоевского наталкивались на своих мучителей – в самом неподходящем месте. Навстречу плывет голос – пока еще неизвестно чей. Все труднее и труднее становится читателю дирижировать разрастающейся песнью. Этот голос – первая тема Фаринаты – крайне типичная для «Inferno» малая дантовская *argioso* умоляющего типа:

«...О тосканец, путешествующий живьем по огненному городу и разговаривающий столь красноречиво! Не откажись остановиться на минуту... По говору твоему я опознал в тебе гражданина из той благородной области, которой я – увы! – был слишком в тягость...»

Дант – бедняк. Дант – внутренний разночинец старинной римской крови. Для него-то характерна совсем не любезность, а нечто противоположное. Нужно быть слепым кротом для того, чтобы не заметить, что на всем протяжении «Divina Commedia»[58] Дант не умеет себя вести, не знает, как ступить, что сказать, как поклониться. Я это не выдумываю, но беру из многочисленных признаний самого Алигьери, рассыпанных в «Divina Commedia».

Внутреннее беспокойство и тяжелая, смутная неловкость, сопровождающая на каждом шагу неуверенного в себе, как бы недовоспитанного, не умеющего применить свой внутренний опыт и объективировать его в этикет измученного и загнанного человека, – они-то и придают поэме всю прелесть, всю драматичность, они-то и работают над созданием ее фона как психологической загрузочки.

Если бы Данта пустить одного, без «dolce padre»[59] – без Вергилия, скандал неминуемо разразился бы в самом начале и мы имели бы не хождение по мукам и достопримечательностям, а самую гротескную буффонаду.

Предотвращаемые Вергилием неловкости систематически корректируют и выправляют течение поэмы. «Divina Commedia» вводит нас вовнутрь лаборатории душевных качеств Данта. То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта. Тень, пугающая детей и старух, сама боялась – и Алигьери бросало в жар и холод: от чудных припадков самомнения до сознания полного ничтожества.

Слава Данта до сих пор была величайшей помехой к его познанию и глубокому изучению и еще надолго ею останется. Лапидарность его не что иное, как продукт огромной внутренней неуравновешенности, нашедшей себе выход в сонных казнях, в воображаемых встречах, в заранее обдуманых и взлелеянных желчью изысканных репликах, направленных на полное уничтожение противника, на окончательное торжество.

Сладчайший отец, наставник, разумник, опекун в который раз одергивает внутреннего разночинца четырнадцатого века, который так мучительно находил себя в социальной иерархии, в то время как Боккаччо – его почти современник – наслаждался тем же самым общественным строем, окунался в него, резвился в нем.

«Che fai?» – «что делаешь?» – звучит буквально как учительский окрик – ты с ума спятил!.. Тогда выручает игра на регистрах, заглушающих стыд и покрывающих смущение.

Представлять себе дантовскую поэму вытянутым в одну линию рассказом или даже

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru голосом – абсолютно неверно. Задолго до Баха, и в то время, когда еще не строили больших монументальных органов, но лишь очень скромные эмбриональные прообразы будущего чудища, когда ведущим инструментом была еще цитра, аккомпанирующая голосу, Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал мехи и ревел и ворковал во все трубы.

«Come avesse lo inferno in gran dispetto»[60] (Inf., X, 36) – стих-родоначальник всего европейского демонизма и байроничности. Между тем, вместо того чтобы взгромоздить свою скульптуру на цоколь, как сделал бы, например, Гюго, Дант обволакивает ее сурдинкой, окутывает сизым сумраком, упрячивает на самое дно туманного звукового мешка.

Она дана на ниспадающем регистре, она падает, уходит вниз, в слуховое окно.

Другими словами – фонетический свет выключен. Тени сизые смешались.

«Divina Commedia» не столько отнимает у читателя время, сколько наращивает его, подобно исполняемой музыкальной вещи.

Удлиняясь, поэма удаляется от своего конца, а самый конец наступает нечаянно и звучит как начало.

Структура дантовского монолога, построенного на органной регистровке, может быть хорошо понята при помощи аналогии с горными породами, чистота которых нарушена вкрапленными инородными телами.

Зернистые примеси и лавовые прожилки указывают на единый сдвиг, или катастрофу, как на общий источник формообразования.

Стихи Данта сформированы и расцвечены именно геологически. Их материальная структура бесконечно важнее пресловутой скульптурности. Представьте себе монумент из гранита или мрамора, который в своей символической тенденции направлен не на изображение коня или всадника, но на раскрытие внутренней структуры самого же мрамора или гранита. Другими словами, вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита и якобы для раскрытия его идеи, – таким образом вы получите довольно ясное понятие о том, как соотносится у Данта форма и содержание.

Всякий период стихотворной речи – будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая – необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, «солнце», мы не выбрасываем из себя готового смысла, – это был бы семантический выкидыш, – но переживаем своеобразный цикл.

Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося «солнце», мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить – значит всегда находиться в дороге.

Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, например, – «мёд», а кончается – «медь»; начинается – «лай», а кончается – «лёд».

Дант, когда ему нужно, называет веки глазами губами. Это когда на ресницах виснут ледяные кристаллы мерзлых слез и образуют корку, мешающую плакать.

Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli,
Gocciar su per le labbra...[61]
(Inf., XXXII, 46 – 47)

Итак, страданье скрещивает органы чувств, создает гибриды, приводит к губастому глазу.

У Данта не одна форма, но множество форм. Они выжимаются одна из другой и только условно могут быть вписаны одна в другую.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Он сам говорит:

Io premerei di mio concetto il suco –
(Inf., XXXII, 4)

«Я выжал бы сок из моего представления, из моей концепции», – то есть форма ему представляется выжимкой, а не оболочкой.

Таким образом, как это ни странно, форма выжимается из содержания-концепции, которое ее как бы облекает. Такова четкая дантовская мысль.

Но выжать что бы то ни было можно только из влажной губки или тряпки. Как бы мы жгутом ни закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма. Другими словами, всякое формообразование в поэзии предполагает ряды, периоды или циклы формо-звучаний совершенно так же, как и отдельно произносимая смысловая единица.

Научное описание дантовской «Комедии», взятой как течение, как поток, неизбежно приняло бы вид трактата о метаморфозах и стремилось бы проникать в множественные состояния поэтической материи, подобно тому как врач, ставящий диагноз, прислушивается к множественному единству организма. Литературная критика подошла бы к методу живой медицины.

III

Вникая по мере сил в структуру «Divina Commedia», я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну-единственную, единую и недробимую строфу. Вернее, – не строфу, а кристаллографическую фигуру, то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная формообразующая тяга. Она есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник. Отсутствие у меня сколько-нибудь ясных сведений по кристаллографии – обычное в моем кругу невежество в этой области, как и во многих других, – лишает меня наслаждения постигнуть истинную структуру «Divina Commedia», но такова удивительная стимулирующая сила Данта, что он пробудил во мне конкретный интерес к кристаллографии, и в качестве благодарного читателя – lettore – я постараюсь его удовлетворить.

Формообразование поэмы превосходит наши понятия о сочинительстве и композиции. Гораздо правильнее признать ее ведущим началом инстинкт. Предлагаемые примерные определения меньше всего имеют в виду метафорическую отсебятину. Тут происходит борьба за представимость целого, за наглядность мыслимого. Лишь при помощи метафоры возможно найти конкретный знак для формообразующего инстинкта, которым Дант накапливал и переливал терцины.

Надо себе представить таким образом, как если бы над созданием тринадцатитысячегранника работали пчелы, одаренные гениальным стереометрическим чутьем, привлекая по мере надобности все новых и новых пчел. Работа этих пчел – все время с оглядкой на целое – неравнокачественна по трудности на разных ступенях процесса. Сотрудничество их ширится и осложняется по мере сотообразования, посредством которого пространство как бы выходит из себя самого.

Пчелиная аналогия подсказана, между прочим, самим Дантом. Вот эти три стиха – начало шестнадцатой песни «Inferno»:

Già era in loco ove s'udia il rimbombo
Dell'acqua che cadea nell'altro giro,
Simile a quel che l'arnie fanno rombo[62].

Дантовские сравнения никогда не бывают описательны, то есть чисто изобразительны. Они всегда преследуют конкретную задачу дать внутренний образ структуры, или тяги. Возьмем обширнейшую группу «птичьих» сравнений – все эти тянущиеся караваны то журавлей, то грачей, то классические военные фаланги ласточек, то не способное к латинскому строю анархически беспорядочное воронье, – эта группа развернутых сравнений всегда соответствует инстинкту паломничества, путешествия, колонизации, переселения. Или же, например, возьмем не менее обширную группу речных сравнений, живописующих зарождение на Апеннинах орошающей тосканскую долину реки Арчо или же спуск в долину Ломбардии альпийской вскормленницы – реки По. Эта группа сравнений, отличающаяся необычайной щедростью и ступенчатым ниспадением из трехстишия в трехстишие, всегда приводит

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandelshamjoseph.ru
к комплексу культуры, родины и оседлой гражданственности, – к комплексу
политическому и национальному, столь обусловленному водоразделами, а также
мощностью и направлением рек.

Сила дантовского сравнения – как это ни странно – прямо пропорциональна
возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической
необходимостью. Скажите, пожалуйста, какая была необходимость приравнять
близящуюся к окончанию поэму к части туалета – «*gonna*» (по-теперешнему – «юбка»,
а по-староитальянскому – в лучшем случае «плащ» или вообще «платье»), а себя
уподоблять портному, у которого – извините за выражение – вышел весь материал?

IV

По мере того как Дант все более и более становился не по плечу и публике
следующих поколений, и самим художникам, его обволакивали все большей и большей
таинственностью. Сам автор стремился к ясному и отчетливому знанию. Для
современников он был труден, был утомителен, но вознаграждал за это познанием.
Дальше пошло гораздо хуже. Пышно развернулся невежественный культ дантовской
мистики, лишенный, как и само понятие мистики, всякого конкретного содержания.
Появился «таинственный» Дант французских гравюр, состоящий из капюшона, орлиного
носа и чем-то промыляющий на скалах. У нас в России жертвой этого
сластолюбивого невежества со стороны не читающих Данта восторженных его адептов
явился не кто, как Блок:

Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет...

Внутреннее освещение дантовского пространства, выводимое только из структурных
элементов, никого решительно не интересовало.

Сейчас я покажу, до чего мало были озабочены свеженькие читатели Данта его так
называемой таинственностью. У меня перед глазами фотография с миниатюры одного
из самых ранних дантовских списков середины XIV века (собрание Перуджинской
библиотеки). Беатриче показывает Данту Троицу. Яркий фон с павлиньими разводами
– как веселенькая ситцевая набойка. Троица в вербном кружке – румяная,
краснощекая, купчески круглая. Дант Алигьери изображен весьма удалым молодым
человеком, а Беатриче – бойкой и круглолицей девушкой. Две абсолютно бытовые
фигурки: пышущий здоровьем школяр ухаживает за не менее цветущей горожанкой.

Шпенглер, посвятивший Данту превосходные страницы, все же увидел его из ложи
немецкой бург-оперы, и когда он говорит – «Дант», сплошь и рядом нужно понимать
– «Вагнер» в мюнхенской постановке.

Чисто исторический подход к Данту так же неудовлетворителен, как политический
или богословский. Будущее дантовского комментария принадлежит естественным
наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное
мышление.

Мне изо всей силы хочется опровергнуть отвратительную легенду о безусловно
тусклой окрашенности или пресловутой шпенглеровской коричневости Данта. Для
начала сошлюсь на показание современника-иллюминатора. Эта миниатюра из той же
коллекции Перуджинского музея. Она к первой песни: «Увидел зверя и вспять
обратился».

Вот описание расцветки этой замечательной миниатюры, более высокого типа, чем
предыдущая, и вполне адекватной тексту.

Одежда Данта я р к о – г о л у б а я («*azzurro chiara*»). Борода у Вергилия
длинная и волосы серые. Тога тоже серая. Плащик розовый. Горы обнаженные, серые.
Таким образом, мы здесь видим ярко-лазурный и розовый крапы в дымчато-серой
породе.

В семнадцатой песни «*Inferno*» имеется транспортное чудовище, по имени Герион, –
подобие сверхмощного танка, к тому же нечто крылатое. Свои услуги он предлагает
Данту и Вергилию, получив соответствующий наряд от владычной иерархии на
доставку двух пассажиров в нижерасположенный восьмой круг.

Due branche avea pilose infin l'ascelle:
Lo dosso e il petto ed ambedue le coste
Dipinte avea di nodi e di rotelle.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Con più color, sommesse e soprapposte,
Non fer mai drappo Tartari nè Turchi,
Nè fur tai tele per Aragne imposte[63].
(Inf., XVII, 13 – 18)

Речь идет о расцветке кожи Гериона. Его спина, грудь и бока пестро расцвечены орнаментом из узелков и щиточков. Более яркой расцветки, поясняет Дант, не употребляют для своих ковров ни турецкие, ни татарские ткачи...

Ослепительна мануфактурная яркость этого сравнения, и до последней степени неожиданна торгово-мануфактурная перспектива, в нем раскрывающаяся.

По теме своей семнадцатая песнь «Ада», посвященная ростовщичеству, весьма близка и к товарному ассортименту, и к банковскому обороту. Ростовщичество, восполнявшее недостаток банковской системы, в которой уже чувствовалась настоящая потребность, было вопиющим злом того времени, но также и необходимостью, облегчавшей товарооборот Средиземноморья. Ростовщиков позорили в церкви и в литературе, и всё же к ним прибегали. Ростовщичеством промышляли и благородные семейства – своеобразные банкиры с землевладельческой, аграрной базой, – это особенно раздражало Данта.

Ландшафт семнадцатой песни – раскаленные пески, то есть нечто перекликающееся с аравийскими караванными путями. На песке сидят самые знатные ростовщики – Gianfigliacci и Ubbriachi из Флоренции, Scrovigni из Падуи. На шее у каждого из них висят мешочки – или ладанки, или кошельки – с вышитыми на них фамильными гербами по цветному фону: лазурный лев на золотом фоне – у одного; гусь, более белый, чем только что вспаханное масло, на кроваво-красном – у другого; и голубая свинья на белом фоне – у третьего.

Прежде чем погрузиться на Гериона и спланировать на нем в пропасть, Дант обзревает эту странную выставку фамильных гербов. Обращая внимание на то, что мешочки ростовщиков даны как образчики красок. Энергия красочных эпитетов и то, как они поставлены в стих, заглушает геральдику. Краски называются с какой-то профессиональной резкостью. Другими словами, краски даны в той стадии, когда они еще находятся на рабочей доске художника, в его мастерской. И что же тут удивительного? Дант был свой человек в живописи, приятель Джотто, внимательно следивший за борьбой живописных школ и сменой модных течений.

Credette Cimabue nella pittura...[64]
(Purg., XI, 94)

Насмотревшись досыта на ростовщиков, садятся на Гериона. Вергилий обвивает шею Данта и говорит служебному дракону: «Спускайся широкими и плавными кругами: помни о новой ноше...»

Жажда полета томила и изнуряла людей Дантовой эры не меньше, чем алхимия. То был голод по рассеченному пространству. Ориентация потеряна. Ничего не видно. Впереди только татарская спина – страшный шелковый халат Герионовой кожи. О скорости и направлении можно судить только по хлещущему в лицо воздуху. Еще не изобретена летательная машина, еще не было Леонардовых чертежей, но уже разрешена проблема планирующего спуска.

И, наконец, сюда врывается соколиная охота. Маневры Гериона, замедляющего спуск, уподобляются возвращению неудачно спущенного сокола, который, взмыв понапрасну, медлит вернуться на оклик сокольника и, уже спустившись, обиженно вспархивает и садится поодаль.

Теперь попробуем охватить всю семнадцатую песнь в целом, но с точки зрения органической химии дантовской образности, которая ничего общего не имеет с аллегоричностью. Вместо того чтобы пересказывать так называемое содержание, мы взглянем на это звено дантовского труда как на непрерывное превращение материально-поэтического субстрата, сохраняющего свое единство и стремящегося проникнуть внутрь себя самого.

Образное мышление у Данта, так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать обрацаемостью или обратимостью. Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле, представьте себе самолет, – отвлекаясь от технической невозможности, – который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немислимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обуславливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора.

Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения.

Семнадцатая песнь «Inferno» – блестящее подтверждение обратимости поэтической материи в только что упомянутом смысле. фигура этой обратимости рисуется примерно так: завитки и щиточки на пестрой татарской коже Гериона – шелковые ковровые ткани с орнаментом, развеянные на средиземноморском прилавке, – морская, торговая, банковско-пиратская перспектива – ростовщичество и возвращение к Флоренции через геральдические мешочки с образчиками не бывших в употреблении свежих красок – жажда полета, подсказанная восточным орнаментом, поворачивающим материю песни к арабской сказке с ее техникой летающего ковра, – и, наконец, второе возвращение во Флоренцию при помощи незамыслимого, именно благодаря своей ненужности, сокола.

Не довольствуясь этой воистину чудесной демонстрацией обратимости поэтической материи, оставляющей далеко позади все ассоциативные ходы новейшей европейской поэзии, Дант, как бы в насмешку над недогадливым читателем, уже после того, как все разгружено, все выдохнуто, отдано, спускает на землю Гериона и благосклонно снаряжает его в новое странствие, как бородку стрелы, спущенной с тетивы.

V

До нас, разумеется, не дошли Дантовы черновики. Мы не имеем возможности работать над историей его текста. Но отсюда, конечно, еще не следует, что не было перемаранных рукописей и что текст вылупился готовым, как Леда из яйца или Афина Паллада из головы Зевса. Но злополучное шестивековое расстояние, а также весьма простительный факт недошедших черновиков сыграли с нами злую шутку. Уже который век о Данте пишут и говорят так, как будто он изъяснялся непосредственно на гербовой бумаге.

Лаборатория Данта? Нас это не касается. Какое до нее дело невежественному пиетету? Рассуждают так, как если бы Дант имел перед глазами еще до начала работы совершенно готовое целое и занимался техникой муляжа: сначала из гипса, потом в бронзу. В лучшем случае ему дают в руки резец и позволяют скульптурничать, или, как любят выражаться, «ваять». При этом забывают одну маленькую подробность: резец только снимает лишнее и черновик скульптора не оставляет материальных следов (что очень нравится публике) – сама стадийность работы скульптора соответствует серии черновиков.

Черновики никогда не уничтожаются.

В поэзии, в пластике и вообще в искусстве нет готовых вещей.

Здесь нам мешает привычка к грамматическому мышлению – ставить понятие искусства в именительном падеже. Самый процесс творчества мы подчиняем целевому предложному падежу и мыслим так, как если бы болванчик со свинцовым сердечком, покачавшись как следует в разные стороны, претерпев различные колебания по опросному листику: о чем? о ком? кем и чем? – под конец утверждался в буддийском гимназическом покое именительного падежа. Между тем готовая вещь в такой же мере подчиняется косвенным, как и прямым падежам. К тому же все наше учение о синтаксисе является мощнейшим пережитком схоластики, и, будучи в философии, в теории познания, поставлено на должное, служебное место, будучи совершенно преодолено математикой, которая имеет свой самостоятельный, самобытный синтаксис, – в искусствоведении эта схоластика синтаксиса не преодолевается и наносит ежечасно колоссальный вред.

В европейской поэзии дальше всего ушли от дантовского метода и – прямо скажу – ему полярны, противоположны именно те, кого называют парнасцами: Эредиа, Леконт де Лиль. Гораздо ближе Бодлэр. Еще ближе Верлэн, и наиболее близок во всей французской поэзии Артур Рембо. Дант по природе своей колебатель смысла и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
нарушитель целостности образа. Композиция его песней напоминает расписание сети
воздушных сообщений или неустанное обращение голубиных почт.

Итак, сохранность черновика – закон сохранения энергетике произведения. Для того
чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в несколько иную
сторону. Именно таков и закон парусного лавирования.

Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета парусного
мореплавания и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в
виду, что он созерцал образцы парусного лавирования и маневрирования. Дант
глубоко чтит искусство современного ему мореплавания. Он был учеником этого
наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человечеству с
древнейших времен.

Мне хочется указать здесь на одну из замечательных особенностей дантовской
психики – на его страх перед прямыми ответами, быть может обусловленный
политической ситуацией опаснейшего, запутаннейшего и разбойнейшего века.

В то время как вся «Divina Commedia», как было уже сказано, является вопросом
и ответником, каждое прямое высказывание у Данта буквально вымучивается: то при
помощи повивальной бабки – Вергилия, то при участии няньки – Беатриче и т. д.

«Inferno», песнь шестнадцатая. Разговор ведется с чисто тюремной страстностью:
во что бы то ни стало использовать крошечное свидание. Вопросы троим именитых
флорентийцев. О чем? Конечно, о Флоренции. У них колени трясутся от нетерпения,
и они боятся услышать правду. Ответ получается лапидарный и жестокий – в форме
выкрика. При этом у самого Данта после отчаянного усилия дергается подбородок и
запрокидывается голова – и это дано ни более ни менее как в авторской ремарке:

Così gridai colla faccia levata[65].

Иногда Дант умеет так описывать явление, что от него ровным счетом ничего не
остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать
гераклитовой метафорой, – с такой силой подчеркивающей текучесть явления и
такими росчерками перечеркивающей его, что прямому созерцанию, после того как
дело метафоры сделано, в сущности, уже нечем поживиться. Мне уже не раз
приходилось говорить, что метафорические приемы Данта превосходят наши понятия о
композиции, поскольку наше искусствоведение, рабствующее перед синтаксическим
мышлением, бессильно перед ним.

Когда мужичонка, взбирающийся на холм
В ту пору года, когда существо, освещающее мир,
Менее скрытно являет нам свой лик
И водяная мошкара уступает место комарикам,
Видит пляшущих светляков в котловине,
В той самой, может быть, где он трудился как жнец

и как пахарь, –

Так язычками пламени отсверкивал пояс восьмой,
Весь обозримый с высоты, на которую я взошел;
И подобно тому, как тот, кто отомстил при помощи

медведей.

Видя удаляющуюся повозку Ильи,
Когда упряжка лошадей рванулась в небо,
Смотрел во все глаза и ничего разглядеть не мог.
Кроме одного-единственного пламени,
Тающего, как поднимающееся облачко, –
Так языкастое пламя наполняло щели гробниц,
Утаивая добро гробов – их поживу,
И в оболочке каждого огня притаился грешник.
(Inf., XXVI, 25 – 42)

Если у вас не закружилась голова от этого чудесного подъема, достойного органических
средств Себастьяна Баха, то попробуйте указать, где здесь второй, где здесь
первый член сравнения, что с чем сравнивается, где здесь главное и где
второстепенное, его поясняющее.

Импрессионистская подготовка встречается в целом ряде дантовских песней. Цель ее
– дать в виде разбросанной азбуки, в виде прыгающего, светящегося,
разбрызганного алфавита те самые элементы, которым по закону обратимости

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
поэтической материи надлежит соединиться в смысловые формулы.

Так вот в этой интродукции мы видим легчайший светящийся Гераклитов танец летней мошары, подготавливающий нас к восприятию важной и трагической речи Одиссея.

Двадцать шестая песнь «Inferno» – наиболее парусная из всех композиций Данта, наиболее лавирующая, наилучше маневрирующая. По изворотливости, уклончивости, флорентийской дипломатичности и какой-то греческой хитрости она не имеет себе равных.

В песни ясно различимы две основных части: световая, импрессионистская подготовка и стройный драматический рассказ Одиссея о последнем плавании, о выходе в атлантическую пучину и страшной гибели под звездами чужого полушария.

По вольному течению мысли разбираемая песнь очень близка к импровизации. Но если вслушаться внимательнее, то окажется, что певец внутренне импровизирует на любимом заветном греческом языке, пользуясь для этого – лишь как фонетикой и тканью – родным итальянским наречием.

Если ребенку дать тысячу рублей, а потом предложить на выбор оставить себе или сдачу, или деньги, то, конечно, он выберет сдачу, и таким способом вы сможете у него отобрать всю сумму, подарив ему гривенник. Совершенно то же самое произошло с европейской художественной критикой, которая пригвоздила Данта к гравюрным ландшафтам ада. К Данту еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость, чтобы оценить ее как подверженный самым пестрым случайностям горный хрусталь.

Наша наука говорит: отодвинь явление – и я с ним справлюсь и освою его. «Далековатость» (выражение Ломоносова) и познаваемость для нее почти однозначны.

У Данта расстающиеся и прощающиеся образы. Трудно спускаться по излогам его многоразлучного стиха.

Еще не успели мы оторваться от тосканского мужичонки, любующегося фосфорной пляской светлячков, еще в глазах импрессионистская рябь от растекающейся в облачко колесницы Ильи, – как уже процитирован костер Этеокла, уже названа Пенелопа, уже проморгали троянского коня, уже Демосфен одолжил Одиссею свое республиканское красноречие и – снаряжается корабль старости.

Старость в понимании Данта прежде всего кругозорность, высшая объемность, кругосветность. В Одиссеевой песни земля уже кругла.

Эта песнь о составе человеческой крови, содержащей в себе океанскую соль. Начало путешествия заложено в системе кровеносных сосудов. Кровь планетарна, солярна, солонна...

Всеми извилинами своего мозга дантовский Одиссей презирает склероз, подобно тому как фарината презирает ад.

«Неужели мы рождены для скотского благополучия и остающуюся нам горсточку вечерних чувств не посвятим дерзанию выйти на запад, за Геркулесовы вехи – туда, где мир продолжается без людей?..»

Обмен веществ самой планеты осуществляется в крови – и Атлантика всасывает Одиссея, проглатывает его деревянный корабль. Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. Они для этого созданы. Они снаряды для уловления будущего. Они требуют комментария в Futurum.

Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени – сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его.

Дант – антимодернист. Его современность неистощима, неисчислима и неиссякаема.

Вот почему Одиссеева речь, выпуклая, как чечевица зажигательного стекла, обратима и к войне греков с персами, и к открытию Америки Колумбом, и к дерзким опытам Парацельса, и к всемирной империи Карла Пятого.

Песнь двадцать шестая, посвященная Одиссею и Диомиду, прекрасно вводит нас в анатомию дантовского глаза, столь естественно приспособленного лишь для вскрытия самой структуры будущего времени. У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе: слишком большой охотничий участок.

К самому Данту применимы слова гордеца Фаринаты:

«Noi veggiam, come quei ch'ha mala luce»[66].
(Inf., X, 100)

То есть: мы – грешные души – способны видеть и различать только отдаленное будущее, имея на это особый дар. Мы становимся абсолютно слепы, как только перед нами захлопываются двери в будущее. И в этом своем качестве мы уподобляемся тому, кто борется с сумерками и, различая дальние предметы, не разбирает того, что вблизи.

Плясовое начало сильно выражено в ритмике терцин двадцать шестой песни. Здесь поражает высшая беззаботность ритма. Стопы укладываются в движение вальса:

E' se già fosse, non saria per tempo.
Così foss'rei, da che pure esser dee;
Chè più graverà, com'più m'attempo[67].
(Inf., XXVI, 10-12)

Нам, иностранцам, трудно проникнуть в последнюю тайну чужеродного стиха. Не нам судить, не за нами последнее слово. Но мне представляется, что здесь – именно та пленительная уступчивость итальянской речи, которую может до конца понять только слух прирожденного итальянца.

Здесь я цитирую Марину Цветаеву, которая обмолвилась «уступчивостью речи русской»...

Если следить внимательно за движением рта у толкового чтеца, то покажется, будто он дает уроки глухонемым, то есть работает с таким расчетом, чтобы быть понятным и без звука, артикулируя каждую гласную с педагогической наглядностью. И вот достаточно посмотреть, как звучит двадцать шестая песнь, чтоб ее услышать. Я бы сказал, что в этой песни беспокойные, дергающиеся гласные.

Вальс по преимуществу волновой танец. Даже отдаленное его подобие было бы невозможно в культуре эллинской, египетской, но мыслимо в китайской – и вполне законно в новой европейской. (Этим сопоставлением я обязан Шпенглеру.) В основе вальса чисто европейское пристрастие к повторяющимся колебательным движениям, то самое прислушивание к волне, которое пронизывает всю нашу теорию звука и света, все наше учение о материи, всю нашу поэзию и всю нашу музыку.

VI

Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай ногти в гневе и бессилии! Ведь признано же, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, невыводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя!

Дант и его современники не знали геологического времени. Им были неведомы палеонтологические часы – часы каменного угля, часы инфузорийного известняка – часы зернистые, крупитчатые, слойчатые. Они кружились в календаре, делили сутки на квадранты. Однако средневековье не помещалось в системе Птолемея – оно прикрывалось ею.

К библейской генетике прибавили физику Аристотеля. Эти две плохо соединимые вещи не хотели срачиваться. Огромная взрывчатая сила Книги Бытия – идея спонтанного генезиса со всех сторон наступала на крошечный островок Сорбонны, и мы не ошибемся, если скажем, что Дантовы люди жили в архаике, которую по всей округности омывала современность, как тютчевский океан объемлет шар земной. Нам уже трудно себе представить, каким образом абсолютно всем знакомые вещи – школьная шпателька, входившая в программу обязательного начального обучения, – каким образом вся библейская космогония с ее христианскими придатками могла восприниматься тогдашними образованными людьми буквально как свежая газета, как настоящий экстренный выпуск.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru и если мы с этой точки зрения подойдем к Данту, то окажется, что в предании он видел не столько священную его, ослепляющую сторону, сколько предмет, обыгрываемый при помощи горячего репортажа и страстного экспериментирования.

В двадцать шестой песни «Paradiso» [68] Дант дорывается до личного разговора с Адамом, до подлинного интервью. Ему ассистирует Иоанн Богослов – автор Апокалипсиса.

Я утверждаю, что все элементы современного экспериментирования имеются налицо в дантовском подходе к преданию. А именно: создание специальной нарочитой обстановки для опыта, пользование приборами, в точности которых нельзя усумниться, и проверка результата, апеллирующая к наглядности.

Ситуация двадцать шестой песни «Paradiso» может быть определена как торжественный экзамен в концертной обстановке и на оптических приборах. Музыка и оптика образуют узел вещи.

Антиномичность дантовского «опыта» заключается в том, что он мечется между примером и экспериментом. Пример извлекается из патриаршей торбы древнего сознания с тем, чтобы быть возвращенным в нее обратно, как только минет надобность. Эксперимент, выдергивая из суммы опыта те или иные нужные ему факты, уже не возвращает их обратно по заемному письму, но пускает в оборот.

Евангельские притчи и схоластические примерчики школьной науки суть поедаемые и уничтожаемые злаки. Экспериментальная же наука, вынимая факты из связанной действительности, образует из них как бы семенной фонд – заповедный, неприкосновенный и составляющий как бы собственность нерожденного и должествующего времени.

Позиция экспериментатора по отношению к фактологии, поскольку он стремится к смычке с нею в самой достоверности, по существу своему зыбуча, взволнованна и вывернута на сторону. Она напоминает уже упомянутую мной фигуру вальсирования, ибо после каждого полуоборота на отставленном носке пятки танцора хотя и смыкаются, но смыкаются каждый раз на новой паркетине и качественно различно. Кружащий нас головы мексико-вальс экспериментирования был зачат в треченто, а может быть, и задолго до него, и был он зачат в процессе поэтического формообразования, в волновой процессуальности, в обратимости поэтической материи, самой точной из всех материй, самой пророческой и самой неукротимой.

За богословской терминологией, школьной грамматикой и аллегорическим невежеством мы проглядели экспериментальные пляски Дантовой «Комедии» – мы облагородили Данта по типу мертвой науки, в то время как его теология была сосудом динамики.

Для осязающей ладони, наложенной на горлышко согретого кувшина, он получает свою форму именно потому, что он теплый. Теплота в данном случае первее формы, и скульптурную функцию выполняет именно она. В холодном виде, насильственно оторванная от своей накаленности, Дантова «Комедия» годится лишь для разбора механистическими щипчиками, а не для чтения, не для исполнения.

Come quando dall'acqua o dallo specchio
Salta lo raggio all'opposita parte,
Salendo su per lo modo parecchio
A quel che scende, e tanto si diparte
Dal cader delta pietra in equal tratta.
Si come mostra esperienza ed arte...
(Purg., XV, 16 – 21)

«Подобно тому как солнечный луч, ударяющий о поверхность воды или в зеркало, отпрыдывает назад под углом, который соответствует углу его падения, что отличает его от упавшего камня, который отскакивает перпендикулярно от земли, – что подтверждается и на опыте, и на искусстве...»

В ту минуту, когда у Данта забрезжила потребность в эмпирической проверке данных предания, когда у него впервые появился вкус к тому, что я предлагаю назвать священной – в кавычках – индукцией, концепция «Divina Commedia» была уже сложена и успех ее был уже внутренне обеспечен.

Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету – она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверованья, которыми распоряжается Дант.

col quale il fantolin corre alia mamma[69] –
(Purg., XXX, 44)
так ластится Дант к авторитету.

Ряд песен «Paradiso» даны в экзаменационной оболочке, в твердой капсуле экзамена. В некоторых местах даже явственно слышится хриплый бас экзаменатора и дребезжащий голосок бакалавра. Вкрапленность гротеска и жанровой картинки («экзамен бакалавров») составляет необходимую принадлежность высокоподъемных и концертных композиций третьей части. А первый ее образчик дан уже во второй песни «Рая» (диспут с Беатриче о происхождении лунных пятен).

Для уразумения самой природы дантовского общения с авторитетами, то есть формы и метода его познания, необходимо учесть и концертную обстановку школярских песен «Комедии», и подготовку самих органов для восприятия. Я уже не говорю о совершенно замечательном по своей постановке эксперименте со свечой и тремя зеркалами, где доказывается, что обратный путь света имеет своим источником преломление луча, но не могу не отметить подготовки глаза к апперцепции новых вещей.

Эта подготовка развивается в настоящее анатомирование: Дант угадывает слоистое строение сетчатки: «di gonna in gonna»[70]...

Музыка здесь не извне приглашенный гость, но участница спора; а еще точнее – она способствует обмену мнений, увязывает его, благоприятствует силлогистическому пищеварению, растягивает предпосылки и сжимает выводы. Роль ее и всасывающая и рассасывающая, – роль ее чисто химическая.

Когда читаешь Данта с размаху и с полной убежденностью, когда вполне переселяешься на действенное поле поэтической материи; когда сопрягаешься и соизмеряешь свои интонации с переключками оркестровых и тематических групп, возникающих ежеминутно на изрытой и всколебленной смысловой поверхности: когда начинаешь улавливать сквозь дымчато-кристаллическую породу формозвучания внедренные в нее вкрапленности, то есть призвуки и примыслы, присужденные ей уже не поэтическим, а геологическим разумом, – тогда чисто голосовая интонационная и ритмическая работа сменяется более мощной, координирующей деятельностью – дирижированьем и над голосоведущим пространством вступает в силу рвущая его гегемония дирижерской палочки, выпячиваясь из голоса, как более сложное математическое измерение из трехмерности.

Что первее – слушанье или дирижированье? Если дирижированье лишь подталкиванье и без того катящейся музыки, то к чему оно, если оркестр и сам по себе хорош, если он безукоризненно сыгрался? Оркестр без дирижера, лелеемый как мечта, принадлежит к тому же разряду «идеалов» всеевропейской пошлости, как всемирный язык эсперанто, символизирующий лингвистическую сыгранность всего человечества.

Посмотрим, как появилась дирижерская палочка, и мы увидим, что пришла она не поздно и не рано, а именно тогда, когда ей следовало прийти, и пришла как новый, самобытный вид деятельности, творя по воздуху свое новое хозяйство.

Послушаем, как родилась или, вернее, вылупилась из оркестра современная дирижерская палочка.

1732 – Такт (темп или удар) – раньше отбивался ногой, теперь обыкновенно рукой. Дирижер – *conducateur* – *der Anführer* (Вальтер. «Музыкальный словарь»).

1753 – Барон Гримм называет дирижера Парижской оперы дровосеком, согласно обычаю отбивать такт во всеуслышанье, – обычаем, который со времен Люлли господствовал во французской опере (Шюнеман. «Geschichte der Dirigierens»[71], 1913).

1810 – На франкенгаузенском музыкальном празднестве Шпор дирижировал палочкой, скатанной из бумаги, «без малейшего шума и без всяких гримас» (Шпор. «Автобиография»)[72].

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
Дирижерская палочка сильно опоздала родиться – химически реактивный оркестр ее предварил. Полезность дирижерской палочки далеко не исчерпывающая ее мотивировка. В пляске дирижера, стоящего спиной к публике, находит свое выражение химическая природа оркестровых звучаний. И эта палочка далеко не внешний, административный придаток или своеобразная симфоническая полиция, могущая быть устраненной в идеальном государстве. Она не что иное, как танцующая химическая формула, интегрирующая внятные для слуха реакции. Прошу также отнюдь не считать ее добавочным немым инструментом, придуманным для вящей наглядности и доставляющим дополнительное наслаждение. В некотором смысле эта неуязвимая палочка содержит в себе качественно все элементы оркестра. Но как содержит? Она не пахнет ими и не может пахнуть. Она не пахнет точно так же, как химический знак хлора не пахнет хлором, как формула нашатыря или аммиака не пахнет аммиаком или нашатырем.

Дант выбран темой настоящего разговора не потому, чтобы я предлагал сосредоточить на нем внимание в порядке учебы у классиков и усадить его за своеобразным кирпотинским табльд'отом вместе с Шекспиром и Львом Толстым, – но потому, что он самый большой и неоспоримый хозяин обратимой и обращающейся поэтической материи, самый ранний и в то же время самый сильный химический дирижер существующей только в наплывах и волнах, только в подъемах и лавированьях поэтической композиции.

VII

Дантовские песни суть партитуры особого химического оркестра, в которых для внешнего уха наиболее различимы сравнения, тождественные с порывами, и сольные партии, то есть арии и ариозо, – своеобразные автопризнания, самобичевания или автобиографии, иногда короткие и уместяющиеся на ладони, иногда лапидарные, как надгробная надпись; иногда развернутые, как похвальная грамота, выданная средневековым университетом; иногда сильно развитые, расчлененные и достигшие драматической оперной зрелости, как, например, знаменитая кантилена франчески.

Тридцать третья песнь «Inferno», содержащая рассказ Уголино о том, как его с тремя сыновьями уморил голодом в тюремной башне пизанский архиепископ Руджери, дана в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого, как прогорклый, отравленный мед.

Густота виолончельного тембра лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения. В мире не существует силы, которая могла бы ускорить движение меда, текущего из наклоненной склянки. Поэтому виолончель могла сложиться и оформиться только тогда, когда европейский анализ времени достиг достаточных успехов, когда были преодолены бездумные солнечные часы и бывший наблюдатель теневой палочки, передвигающейся по римским цифрам на песке, превратился в страстного соучастника дифференциальной муки и в страстотерпца бесконечно малых. Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила. Спросите у Брамса – он это знает. Спросите у Данта – он это слышал.

Рассказ Уголино – одна из самых значительных дантовских арий, один из тех случаев, когда человек, получив какую-то единственную возможность быть выслушанным, которая никогда уже не повторится, весь преобразуется на глазах у слушателя, играет на своем несчастье как виртуоз, извлекает из своей беды дотолем никем не слышанный и ему самому неведомый тембр.

Следует твердо помнить, что тембр – структурное начало, подобно щелочности или кислотности того или иного химического соединения. Колба не является пространством, в котором совершается химическая реакция. Это было бы чересчур просто.

Виолончельный голос Уголино, обросшего тюремной бородой, голодающего и запертого вместе с тремя сыновьями-птенцами, из которых один носит резкое скрипичное имя Ансельмуччио, выливается из узкой щели –

Breve pertugio dentro dalla muda[73], –
(Inf., XXXIII, 22)

он вызревает в коробке тюремного резонатора – тут виолончель не на шутку братается с тюрьмой.

Il carcere – тюрьма дополняет и акустически обуславливает речевую работу автобиографической виолончели.

В подсознании итальянского народа тюрьма играла выдающуюся роль. Тюремные кошмары всасывались с молоком матери. Треченто бросало людей в тюрьму с удивительной беспечностью. Обыкновенные тюрьмы были доступны обозрению, как церкви или наши музеи. Интерес к тюрьме эксплуатировался как самими тюремщиками, так и устрашающим аппаратом маленьких государств. Между тюрьмой и свободным наружным миром существовало оживленное общение, напоминающее диффузию – взаимное просачивание.

И вот история Уголино – один из бродячих анекдотов, кошмарик, которым матери пугают детей, – один из тех приятных ужасов, которые с удовольствием проборматываются, ворочаясь с боку на бок в постели, как средство от бессонницы. Она балладно общеизвестный факт, подобно Бюргеровой «Леноре», «Лорелее» или «Er̄lkönig'y» [74].

В таком виде она соответствует стеклянной колбе, столь доступной и понятной независимо от качества химического процесса, в ней совершающегося.

Но виолончельное Largo, преподносимое Дантом от лица Уголино, имеет свое пространство, свою структуру, раскрывающиеся через тембр. Колба-баллада с ее общеизвестностью разбита вдребезги. Начинается химия с ее архитектурной драмой.

«I'non so chi tu sei, nè per che modo
Venuto se'quaggiù; ma Fiorentino
Mi sembri veramente quand'io t'odo.
Tu dei saper ch'io fui Conte Ugolino...»
(Inf., XXXIII, 10-14)

«Я не знаю, кто ты и как сюда сошел, но поговору ты мне кажешься настоящим флорентийцем. Ты должен знать, что я был Уголино...»

«Ты должен знать» – «tu dei saper» – первый виолончельный нажим, первое выпячивание темы.

Второй виолончельный нажим: если ты не заплачешь сейчас, то я не знаю, что же способно выжать слезы из глаз твоих...

Здесь раскрываются воистину безбрежные горизонты сострадания. Больше того, страдающий приглашается как новый партнер и уже звучит из отдаленного будущего его вибрирующий голос.

Однако я не случайно упомянул про балладу. Рассказ Уголино именно баллада по своей химической сущности, хотя и заключенная в тюремную реторту. Здесь следующие элементы баллады: разговор отца с сыновьями (вспомните «Лесного царя»); погоня за ускользящей скоростью, то есть, продолжая параллель с «Лесным царем», в одном случае – бешеный скак с трепещущим сыном на руках, в другом – тюремная ситуация, то есть отсчет капающих тактов, приближающих отца с тремя детьми к математически представимому, но для отцовского сознания невозможному порогу голодной смерти. Тот же ритм скачки дан здесь в скрытом виде – в глухих завываниях виолончели, которая из всех сил стремится выйти из ситуации и дает звуковую картину еще более страшной, медленной погони, разлагая скорость на тончайшие фибры.

Наконец, подобно тому как виолончель сумасбродно беседует сама с собой и выжимает из себя вопросы и ответы, рассказ Уголино интерполируется трогательными и беспомощными репликами сыновей:

«...ed Anselmuccio mio
Disse: «Tu guardi sì, padre: che hai?»
(Inf., XXXIII, 30 – 31)
«...и Ансельмуччио мой сказал: «Отец, куда ты смотришь? Что с тобой?»»

То есть драматическая структура самого рассказа вытекает из тембра, а вовсе не сам тембр подыскивается для нее и напяливается на нее, как на колодку.

VIII

Мне кажется, Дант внимательно изучал все дефекты речи, прислушивался к заикам,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
шепелявящим, гнусящим, не выговаривающим букв, и многому от них научился.

Так хочется сказать о звуковом колорите тридцать второй песни «Inferno».

Своеобразная губная музыка: «abbo» – «gabbo» – «babbo» – «Tebe» – «plebe» – «zebe» – «converrebbe». В создании фонетики как бы участвует нянька. Губы то ребячески выпячиваются, то вытягиваются в хоботок.

Лабials образуют как бы «цифрованный бас» – basso continue, то есть аккордную основу гармонизации. К ним пристраиваются чмокающие, сосущие, свистящие, а также цокающие и дзекающие зубные.

Выдергиваю на выбор одну только ниточку: «cagnazzi» – «riprezzo» – «quazzi» – «mezzo» – «gravezza»...

Щипки, причмокивания и губные взрывы не прекращаются ни на одну секунду.

В песнь вкраплен словарик, который бы я назвал ассортиментом бурсацкой травли или кровожадной школьной дразнилки: «cuticagna» – загривок; «dischiomi» – выщипываешь волосья, патлы; «sonar con el mascelle» – драть глотку, лаять; «rigliare a gabbo» – бахвалиться, брать спрехвала. При помощи этой нарочито бесстыжей, намеренно инфантильной оркестровки Дант выращивает кристаллы для звукового ландшафта Джудекки (круг Иуды) и Каи́ны (круг Каина);

Non fece al corso sue sì grosso velo
D'inverno la Danoia in Osteric,
Ne Tanai làz sotto il freddo cielo,
Com'era quivi: chè, se Tambernic
Vi fosse su caduto, o Pietrapana,
Non avria pur dall'orlo fatto cric[75].
(Inf., XXXII, 25 – 30)

Вдруг ни с того ни с сего раскрякалась славянская утка: «Osteric», «Tambernic», «cric» (звукоподражательное словечко – «треск»).

Лед дает фонетический взрыв и рассыпается на имена Дуная и Дона. Холодообразующая тяга тридцать второй песни произошла от внедрения физики в моральную идею: предательство – замороженная совесть – атараксия позора – абсолютный ноль.

Тридцать вторая песнь по темпу современное скерцо. Но какое? Анатомическое скерцо, изучающее дегенерацию речи на звукоподражательном инфантильном материале.

Тут вскрывается новая связь – еда и речь. Постыдная речь обратима вспять, обращена назад – к чавканью, укусу, бульканью – к жвачке.

Артикуляция еды и речи почти совпадают. Создается странная саранчовая фонетика:

Mettendo i denti in nota di cicogna –
«Работая зубами на манер челюстей кузнечиков».

Наконец, необходимо отметить, что тридцать вторая песнь переполнена анатомическим любострастием.

«...Тот самый знаменитый удар, который одновременно нарушил и целостность тела и повредил его тень...» Там же с чисто хирургическим удовольствием, «...тот, кому Флоренция перерубила шейные позвонки...» –

Di cui segò Fiorenza la gorgiera...
И еще: «Подобно тому как голодный с жадностью кидается на хлеб, один из них, навалившись на другого, впился зубами в то самое место, где затылок переходит в шею...» –

Là've il cervel s'aggiunge colla nuca...
Все это приплясывает дюреровским скелетом на шарнирах и уводит к немецкой анатомии.

Ведь убийца – немножечко анатом.

Ведь палач для средневековья – чуточку научный работник.

Искусство войны и мастерство казни – немножечко преддверье к анатомическому театру.

IX

Inferno – это ломбард, в котором заложены без выкупа все известные Данту страны и города. Мощнейшая конструкция infernalных кругов имеет каркас. Ее не передать в виде воронки. Ее не изобразить на рельефной карте. Ад висит на железной проволоке городского эгоизма.

Неправильно мыслить inferno как нечто объемное, как некое соединение огромных цирков, пустынь с горящими песками, смердящих болот, вавилонских столиц и докрасна раскаленных мечетей. Ад ничего в себе не заключает и не имеет объема, подобно тому как эпидемия, поветрие язвы или чумы, – подобно тому как всякая зараза лишь распространяется, не будучи пространственной.

Городолюбие, городострашие, городоненавистничество – вот материя inferno. Кольца ада не что иное, как сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный, запрещенный и безвозвратно утраченный город развеян всюду – он им окружен. Мне хочется сказать, что inferno окружен Флоренцией. Итальянские города у Данта – Пиза, Флоренция, Лукка, Верона – эти милые гражданские планеты – вытянуты в чудовищные кольца, растянута в пояса, возвращены в туманное, газообразное состояние.

Антиландшафтный характер inferno составляет как бы условие его наглядности.

Представьте себе, что производится грандиозный опыт Фуко, но не одним, а множеством маятников, перемахивающих друг в друга. Здесь пространство существует лишь постольку, поскольку оно влагалище для амплитуд. Уточнить образы Данта так же немислимо, как перечислить фамилии людей, участвовавших в переселении народов.

«Подобно тому как фламандцы между Гуцантом и Брюгге, опасаясь нахлестывающего морского прилива, воздвигают плотины, чтобы море побежало вспять; и наподобие того как падованцы сооружают насыпи вдоль набережной Бренцы в заботе о безопасности своих городов и замков в предвиденье весны, растапливающей снега на Кьярентане (часть снеговых Альп), – такими были и эти, хоть и не столь монументальные, дамбы, кто бы ни был строивший их инженер...» (Inf., XV, 4 – 12).

Здесь луны многочленного маятника раскачиваются от Брюгге до Падуи, читают курс европейской географии, лекцию по инженерному искусству, по технике городской безопасности, по организации общественных работ и по государственному значению для Италии альпийского водораздела.

Мы – ползающие на коленях перед строчкой стиха, – что сохранили мы от этого богатства? Где восприимчики его, где его ревнители? Как быть с нашей поэзией, позорно отстающей от науки?

Страшно подумать, что ослепительные взрывы современной физики и кинетики были использованы за шестьсот лет до того, как прозвучал их гром, и нету слов, чтобы заклеить постыдное, варварское к ним равнодушие печальных наборщиков готового смысла.

Поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает.

Из всех наших искусств только живопись, притом новая, французская, еще не перестала слышать Данта. Это живопись, удлиняющая тела лошадей, приближающихся к финишу на ипподроме.

Каждый раз, когда метафора поднимает до членораздельного порыва растительные краски бытия, я с благодарностью вспоминаю Данта.

Мы описываем как раз то, чего нельзя описать, то есть остановленный текст природы, и разучились описывать то единственное, что по структуре своей поддается поэтическому изображению, то есть порывы, намеренья и амплитудные колебания.

Птоломей вернулся с черного крыльца!.. Напрасно жгли Джордано Бруно!..

Наши создания еще в утробе своей известны всем и каждому, а дантовские многочленные, многопарусные и кинетически раскаленные сравнения до сих пор сохраняют прелесть никому не сказанного.

Изумительна его «рефлексология речи» – целая до сих пор не созданная наука о спонтанном психофизиологическом воздействии слова на собеседников, на окружающих и на самого говорящего, а также средства, которыми он передает порыв к говорению, то есть сигнализирует светом внезапное желание высказаться.

Здесь он ближе всего подходит к волновой теории звука и света, детерминирует их родство.

«Подобно тому как зверь, накрытый попоной, нервничает и раздражается и только шевелящиеся складки материи выдают его недовольство, так же первосозданная душа (Адама) изъявила мне сквозь оболочку (света), до чего ей приятно и весело ответить на мой вопрос...» (Par., XXVI, 97 – 102).

В третьей части «Комедии» («Paradiso») я вижу настоящий кинетический балет. Здесь всевозможные виды световых фигур и плясок, вплоть до пристукивания свадебных каблучков.

«Передо мной пылали четыре факела, и тот, который ближе, вдруг оживился и так зарозовел, как если бы Юпитер и Марс вдруг превратились в птиц и обменялись перьями...» (Par., XXVII, 10 – 15).

Не правда ли, странно: человек, который собрался говорить, вооружается туго натянутым луком, делает припас бородатых стрел, приготавливает зеркала и выпуклые чечевичные стекла и щурится на звезды, как портной, вдевающий нитку в игольное ушко...

Эта сборная цитата, сближающая разные места «Комедии», придумана мной для наивящей характеристики речеподготавливающих ходов дантовской поэзии.

Подготовка речи еще более его сфера, нежели сама артикуляция, то есть речь.

Вспомните дивную мольбу, обращенную Вергилием к хитрейшему из греков.

Вся она зыблется мягкостью итальянских дифтонгов.

Эти виющиеся, заискивающие и заикающиеся язычки незащищенных светильников, лопочущие о промасленном фитиле...

«O voi, che siete due dentro ad un foco,
S'io meritai di voi mentre ch'io vissi,
S'io meritai di voi assai o poco...»[76]
(Inf., XXVI, 79 – 81)

По голосу Дант определяет происхождение, судьбу и характер человека, как современная ему медицина разбиралась в здоровье по цвету мочи.

Х

Он преисполнен чувством неизъясимой благодарности к тому кошничному богатству, которое падает ему в руки. Ведь у него немалая забота: надо приуготовить пространство для наплывов, надо снять катаракту с жесткого зрения, надо позаботиться о том, чтобы щедрость изливающейся поэтической материи не протекла между пальцами, не ушла в пустое сито.

Tutti dicean: «Benedictus qui venis»,
E fior gittando di sopra e dintorno,
«Manibus o date lilia plenis»[77].
(Purg., XXX, 19 – 21)

Секрет его емкости в том, что ни единого словечка он не привносит от себя. Им движет все что угодно, только не выдумка, только не изобретательство. Дант и фантазия – да ведь это несовместимо!.. Стыдитесь, французские романтики, несчастные incroyables'и в красных жилетах, оболгавшие Алигьери! Какая у него фантазия? Он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик... Он весь изогнулся

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
в позе писца, испуганно косящегося на иллюминированный подлинник, одолженный ему
из библиотеки приора.

Я, кажется, забыл сказать, что «Комедия» имела предпосылкой как бы гипнотический сеанс. Это верно, но, пожалуй, слишком громко. Если взять это изумительное произведение под углом письменности, под углом самостоятельного искусства письма, которое в 1300 году было вполне равноправно с живописью, с музыкой и стояло в ряду самых уважаемых профессий, то ко всем уже приложенным аналогиям прибавится еще новая – письмо под диктовку, списыванье, копированье.

Иногда, очень редко, он показывает нам свой письменный прибор. Перо называется «реппа», то есть участвует в птичьем полете; чернило называется «inchiostro», то есть монастырская принадлежность; стихи называются тоже «inchiostri», или обозначаются латинским школьным «versi», или же, еще скромнее, – «carte», то есть изумительная подстановка вместо стихов страницы.

И когда уже написано и готово, на этом еще не ставится точка, но необходимо куда-то понести, кому-то показать, чтобы проверили и похвалили.

Тут мало сказать списыванье – тут чистописанье под диктовку самых грозных и нетерпеливых дикторов. Диктор-указчик гораздо важнее так называемого поэта.

..Вот еще немного потружусь, а потом надо показать тетрадь, облитуя слезами бородатого школьника, строжайшей Беатриче, которая сияет не только славой, но и грамотностью.

Задолго до азбуки цветов Артура Рэмбо Дант сопряг краску с полногласием членораздельной речи. Но он – красильщик, текстильщик. Азбука его – алфавит развевающихся тканей, окрашенных цветными порошками – растительными красками.

Sopra candido vel cinta d'oliva
Donna m'apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva[78].
(Purg., XXX, 31 – 33)

Его порывы к краскам скорее могут быть названы текстильными порывами, нежели алфавитными. Краска для него распаивается только в ткани. Текстиль у Данта – высшее напряжение материальной природы, как субстанции, определяемой окрашенностью. А ткачество – занятие наиболее близкое к качественности, к качеству.

..Теперь я попробую описать один из бесчисленных дирижерских полетов Дантовой палочки. Мы возьмем этот полет вкрапленным в реальную оправу драгоценного и мгновенного труда.

Начнем с письма. Перо рисует каллиграфические буквы, выводит имена собственные и нарицательные. Перо – кусочек птичьей плоти. Дант, никогда не забывающий происхождения вещей, конечно, об этом помнит. Техника письма с его нажимами и закруглениями перерастает в фигурный полет птичьих стай.

E come augelli surti di riviera,
Quasi congratulando a lor pasture,
Fanno di sè or tonda or altra schiera,
Si dentro ai lumi sante creature
Volitando cantavano, e faciensi
Or D, or I, or L, in sue figure[79].
(Par., XVIII, 73 – 78)

Подобно тому как буквы под рукой у писца, повинующегося диктору и стоящего вне литературы как готового продукта, идут на приманку смысла, как на сладостный корм, – так же точно и птицы, намагниченные зеленой травой, то врозь, то вместе, клюют что попало, то разворачиваясь в окружность, то вытягиваясь в линию..

Письмо и речь несоизмеримы. Буквы соответствуют интервалам. Старая итальянская грамматика, так же как и наша русская, все та же волнуемая птичья стая, все та же пестрая тосканская «schiera»[80], то есть флорентийская толпа, меняющая законы, как перчатки, и забывающая к вечеру изданные сегодня утром для общего блага указы.

Нет синтаксиса – есть намагниченный порыв, тоска по корабельной корме, тоска по

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
червячному корму, тоска по неизданному закону, тоска по Флоренции.

XI

Вернемся еще раз к вопросу о дантовском колорите.

Внутренность горного камня, запрятанное в нем Алладиново пространство, фонарность, ламповость, люстровая подвесочность заложённых в нем рыбьих комнат – наилучший из ключей к разумению колорита «Комедии».

Минералогическая коллекция – прекраснейший органический комментарий к Данту.

Позволю себе маленькое автобиографическое признание.

Черноморские камушки, выбрасываемые приливом, оказали мне немалую помощь, когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами, шпатами, кварцами и т. д. Тут я понял, что камень как бы дневник погоды, как бы метеорологический сгусток. Камень не что иное, как сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанная в функциональное пространство. Для того чтобы это понять, надо себе представить, что все геологические изменения и самые сдвиги вполне разложимы на элементы погоды. В этом смысле метеорология первичнее минералогии, объемлет ее, омывает, одревливает и осмысливает.

Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу, высвечивают ее из камня-погоды.

Камень – импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий; но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он Алладинова лампа, пронцающая геологический сумрак будущих времен.

Соединив несоединимое, Дант изменил структуру времени, а может быть, и наоборот: вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал обертона времени.

Избранный Дантом метод анахронистичен – и Гомер, выступающий со шпагой, волочущейся на боку, в сообществе Вергилия, Горация и Лукиана из тусклой тени приятных Орфеевых хоров, где они вчетвером коротают бесслезную вечность в литературной беседе, – наилучший его выразитель.

Показателями стояния времени у него являются не только круглые астрономические тела, но решительно все вещи и характеры. Все машинальное ему чуждо. К каузальной причинности он брезглив: такие пророчества годятся свиньям на подстилку.

«Faccian le bestie Fiesolane strame
Di lor medesme, e non tocchnin la pianta,
S'lcuna surge ancor nel lor letame...»[81]
(Inf., XV, 73 – 75)

На прямой вопрос, что такое дантовская метафора, я бы ответил – не знаю, потому что определить метафору можно только метафорически, – и это научно обосновываемо. Но мне кажется, что метафора Данта обозначает стояние времени. Ее корешок не в словечке «как», но в слове «когда». Его «quando» звучит как «some». Овидиев гул ему ближе, чем французское красноречие Вергилия.

Снова и снова я обращаюсь к читателю и прошу его нечто себе «представить», то есть обращаюсь к аналогии, ставящей себе единственную цель – восполнить недостаточность нашей определительной системы.

Итак, вообразите себе, что в поющий и ревуший орган вошли, как в приоткрытый дом, и скрылись в нем патриарх Авраам и царь Давид, весь Израиль с Исааком, Иаковом и всеми их родичами и Рахилью, ради которой Иаков столько претерпел.

А еще раньше в него вошли наш праотец Адам с сыном своим Авелем, и старик Ной, и Моисей – законодатель и законопослушник...

«Trasseci l'ombra del primo parente,
D'Abel suo figtio, e quella di Noè,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Di Moisé legista e ubbidiente;
Abraam patriarca, e David re,
Israël con lo padre, e co'suoi nati,
E con Rachele, per cui tanto fe'...»[82]
(Inf., IV, 55 – 60)

После этого орган приобретает способность двигаться – все трубы его и мехи приходят в необычайное возбуждение, и, ярясь и неистовствуя, он вдруг начинает пятиться назад.

Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, вошли друг в друга, смешались и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное Дантовой «Комедии».

Отнять Данта у школьной риторики – значит оказать немаловажную услугу всему европейскому просвещению. Я надеюсь, что здесь не потребуются вековых трудов, но только дружными международными усилиями удастся создать подлинный антикомментарий к работе целого ряда поколений схоластов, ползучих филологов и лжебиографов. Неуважение к поэтической материи, которая постигается лишь через исполнительство, лишь через дирижерский полет, – оно-то и было причиной всеобщей слепоты к Данту, величайшему хозяину и распорядителю этой материи, величайшему дирижеру европейского искусства, опередившему на многие столетия формирование оркестра, адекватного – чему? – интегралу дирижерской палочки...

Каллиграфическая композиция, осуществляемая средствами импровизации, – такова приблизительно формула дантовского порыва, взятого одновременно и как полет и как нечто готовое. Сравнения суть членораздельные порывы.

Самые сложнейшие конструктивные части поэмы выполняются на дудочке, на приманке. Сплошь и рядом дудочка предпосылается вперед.

Тут я имею в виду дантовские интродукции, выпускаемые им как будто наудачу, как будто пробные шары.

Quando si parte il giuoco delta zara,
Colui che perde si riman dolente,
Ripetendo le volte, e tristo impara:
Con l'altro se ne va tutta la gente:
Qual va dinanzi, e qual di retro il prende,
E qual da lato gli si reca a mente.
Ei non s'arresta, e questo e quello intende;
A cui porge la man più non fa pressa;
E così dalla calca si difende.
(Purg., VI, 1 – 9)

«Когда заканчивается игра в кости, проигравший в печальном одиночестве переигрывает партию, уныло подбрасывая костяшки. Вслед за удачливым игроком увязывается вся компания: кто забегает вперед, кто одергивает его сзади, кто подмазывается к нему сбоку, напоминая о себе; но баловень счастья идет себе дальше, всех без различия выслушивает и при помощи рукопожатий освобождается от назойливых приставал...»

И вот «уличная» песнь «Чистилища» с ее толкотней назойливых флорентийских душ, требующих, во-первых, сплетен, во-вторых, заступничества и, в-третьих, снова сплетен, идет на приманке жанра, на типичной фламандской дудочке, которая стала живописью только триста лет спустя.

Напрашивается еще одно любопытное соображение: комментарий (разъяснительный) – неотъемлемая структурная часть самой «Комедии». Чудо-корабль вышел из верфи вместе с прилипшими к нему ракушками. Комментарий выводится из уличного говора, из молвы, из многоустой флорентийской клеветы. Он неизбежен, как альциона, вьющаяся за батюшковским кораблем.

..Вот, вот, посмотрите: идет старый Марцукко... Как он прекрасно держался на похоронах сына!.. Замечательно мужественный старик... А вы знаете, Пьетро де ла Брочья совсем напрасно отрубили голову – он чист как стеклышко... Тут замешана черная женская рука... Да вот, кстати, он сам – подойдем, спросим...

Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы точно так же, как лишена содержания, по той простой причине, что она существует лишь в исполнении. Готовая вещь есть не что иное, как каллиграфический продукт, неизбежно остающийся в результате исполнительского порыва. Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая, остановленная вещь есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с чернильницей.

Говоря о Данте, правильнее иметь в виду порывообразование, а не формообразование – текстильные, парусные, школярские, метеорологические, инженерийные, муниципальные, кустарно-ремесленные и прочие порывы, список которых можно продолжить до бесконечности.

Другими словами – нас путает синтаксис. Все именительные падежи следует заменить указующими направлением дательными. Это закон обратимой и обращающейся поэтической материи, существующей только в исполнительском порыве.

...Здесь все вывернуто: существительное является целью, а не подлежащим фразы. Предметом науки о Данте станет, как я надеюсь, изучение соподчиненности порыва и текста.

И. Эренбург. Одуванчики
Париж, 1912

«Одуванчики» – третья книга Эренбурга. Острая парижская тоска растворяется в безнадежной «левитановской» влюбленности в русскую природу. Но скромная, серьезная быль г. Эренбурга гораздо лучше и пленительнее его «сказок». Очень простыми средствами он достигает подчас высокого впечатления беспомощности и покинутости. Он пользуется своеобразным «тютчевским» приемом, вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритмически-суровый ямб. Приятно читать книгу поэта, взволнованного своей судьбой, и осознать небольшие, но крепкие корни неслучайных лирических настроений. Эпитеты бледны, но обдуманно, неожиданности нет, но нет и скуки. Один из немногих, г. Эренбург понял, что от поэта не требуется исключительных переживаний. Тем ценнее общеобязательность лирического события. Однако несколько застенчивое, несвободное отношение автора к явлениям своей душевной жизни передается читателю, между тем как истинное поэтическое целомудрие делает ненужным стыдливое отношение к собственной душе.

Игорь Северянин. Громокипящий кубок
Поэзы. Предисловие Федора Сологуба.

Изд. «Гриф». Москва, 1913 г.

Поэтическое лицо Игоря Северянина определяется главным образом недостатками его поэзии. Чудовищные неологизмы и, по-видимому, экзотически обаятельные для автора иностранные слова пестрят в его обиходе. Не чувствуя законов русского языка, не слыша, как растет и прозябает слово, он предпочитает словам живым слова, отпавшие от языка или не вошедшие в него. Часто он видит красоту в образе «галантерейности». И все-таки легкая восторженность и сухая жизнерадостность делают Северянина поэтом. Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении. Нельзя писать «просто хорошие» стихи. Если «я» Северянина трудно уловимо, это не значит, что его нет. Он умеет быть своеобразным лишь в поверхностных своих проявлениях, наше дело заключить по ним об его глубине.

Иннокентий Анненский. Фамира-Кифаред
Вакхическая драма. Изд. Португалова. М., 1913 г.

К жестокой сказке Софокла Иннокентий Анненский подходит с болезненной осторожностью современного человека.

Тема любви матери к собственному сыну превратилась у Анненского в мучительное чувство лирической влюбленности, и так далеки небожители от этих смятенных,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru отравленных музыкой душ, что нимфа Аргиопа, когда решается погубить кифареда, очарованного музами, не сразу находит слова для обращения к Зевсу. И когда Гермес спускается на землю, чтобы возвестить волю богов, он более похож на куклу, сделанную руками волшебника Леонардо для какого-нибудь князя итальянского Возрождения, чем на живого олимпийца.

Пока Фамира был причастен музыке, он метался между женщинами и звездами. Но когда кифара отказалась ему служить и музыка лучей померкла в выжженных углем глазах, он, жутко безучастный к своей судьбе, сразу становится чужд трагедии, как птица, что сидит на его простертой ладони.

Только поучение звучит совсем как голос древнего хора:

Благословенны боги, что хранят Сознание нам и в муке.
«Фамира-Кифаред» прежде всего произведение словесного творчества. Вера Анненского в могущество слова безгранична. Особенно замечательно его умение передавать словами все оттенки цветного спектра. Театральность пьесы весьма сомнительна. Она написана поэтом, питавшим глубокое отвращение к театральной феерии, и не как советы исполнителям, а как само исполнение следует понимать чудесные ремарки, в выразительности не уступающие тексту.

Пляски и хоры Анненского воспринимаются как уже воплощенные, и музыкальная иллюстрация ничего не прибавит к славе «Фамира-Кифареда».

Для чего, в самом деле, тимпан и флейту, претворенные в слово, возвращать в первобытное состояние звука?

Напечатана книга всего в 100 экземплярах.

О современной поэзии
(К выходу «Альманаха Муз»)

Вышел альманах с произведениями двадцати пяти современных поэтов. По этому случаю можно бы сказать, как полагается, о высоком техническом уровне современной поэзии, упомянуть о том, что все теперь умеют писать стихи, и пожалеть, как у нынешних искусственно и мертво выходит. Однако я ничего подобного не скажу: критики очень любят предаваться грустным размышлениям, где только увидят кучу стихов. Очень немного им нужно, чтобы показалось «высоким уровнем», а огульным упреком в искусственности они избавляют себя от труда, часто непосильного, разбираться в сложностях искусства. Чтобы раз навсегда прекратились эти лицемерные жалобы равнодушных и посторонних людей на мнимое оскудение поэзии, будто бы застывшей в «александрийском совершенстве», полезно разъяснить, что такое «прогресс» в поэзии. Никакого «высокого уровня» у современников в сравнении с прошлым нет. Большинство стихов и теперь просто плохи, как были плохи всегда большинство стихов. Плохие стихи имеют свою преемственность – если хотите, они совершенствуются, поспешая за хорошими, своеобразно перерабатывая и искажая их. Теперь пишут плохо по-новому – вот и вся разница! Да и какой вообще может быть прогресс в поэзии в смысле улучшения. Разве Пушкин усовершенствовал Державина, то есть в некотором роде отменил его? Державинской или Ломоносовской оды никто теперь не напишет, несмотря на все наши «завоевания». Оглядываясь назад, можно представить путь поэзии как непоправимую, невознаградимую утрату. Столько же новшеств, сколько потерянных секретов: пропорции непревзойденного Страдивариуса и рецепт для краски старинных художников лишают всякого смысла разговоры о прогрессе в искусстве.

«Альманах Муз» составлен крайне разнообразно: в нем представлены многочисленные разновидности плохих и хороших стихов; ни о каком среднем уровне и говорить не приходится, так как некоторым участникам сборника как до звезды небесной далеко до других.

Из поэтов старшего поколения представлены В. Брюсов и Вячеслав Иванов, стихи коих уже могли бы возбуждать благородную печаль о том, что теперь так не пишут. В стихах В. Иванова какая-то пресыщенность, все заранее известно. Поэт достиг, очевидно, того величия, когда ему позволено и сонному прикасаться к кифаре, чуть касаясь ее перстами:

Но грустны, как забытые сны,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru

Мне явленные лики весны.

Валерий Брюсов обладает свойством быть энергичным и в наиболее слабых своих стихах. Два стихотворения Брюсова в «Альманахе Муз» принадлежат к самой неприятной его манере и воскрешают весьма суетное литературное настроение, к счастью отошедшее вместе с определенной эпохой. Нескромное прославление стихосложения врывается в довольно бледный пейзаж:

В строфы виденье навек вплетено,
А в другом:

Березы, пышным стягом,
Спешат пред вещим магом
Склонить главу свою..

«Вещим магом» теперь никого не удивишь. Мишурная мантия ложного символизма совершенно вылиняла, потеряла всякий вид и по справедливости вызывает веселую улыбку поэтической молодежи.

Пленителен классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гетевское слияние «формы» и «содержания», убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая и нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), выплывая из забвения (классицизм):

Наверно, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.

Однако кларизм Кузмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды, какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает.

Сочетание тончайшего психологизма (школа Анненского) с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух, привыкший с понятием песни связывать некоторую душевную элементарность, если не бедность. Психологический узор в ахматовской песне так же естественен, как прожилки кленового листа.

И в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней..

Однако стихи «Альманаха» мало характерны для «новой» Ахматовой. В них еще много острот и эпиграмм, между тем для Ахматовой настала иная пора. В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните: «смирренная, одетая убого, но видом величавая жена». Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.

Кое-что о грузинском искусстве

В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женственную мягкость и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу:

На холмы Грузии легла ночная мгла..

Может быть, во всей грузинской поэзии нет двух таких стихов, по-грузински пьяных и пряных, как два стиха Лермонтова:

Пену сладких вин
Сонный льет грузин.

Я бы сказал, что в русской поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным, –

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной, –

и разработанный Лермонтовым в целую мифологию с мифом о Тамаре в центре.

Любопытно, что этим мифом, обетованной страной поэзии, для русской поэзии стала не Армения, а Грузия.

Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовностью, присущей национальному характеру, и легким, целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа и история

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru этого народа. Грузинский эрос – вот что притягивало русских поэтов. Чужая любовь всегда была нам дороже и ближе своей, а Грузия умела любить. Ее старое искусство, мастерство ее зодчих, живописцев, поэтов, проникнуто утонченной любовностью и героической нежностью.

Да, культура опьяняет. Грузины сохраняют вино в узких длинных кувшинах и зарывают их в землю. В этом – прообраз грузинской культуры: земля сохранила ее узкие, но благородные формы художественной традиции, запечатала полный брожения и аромата сосуд.

То, что нельзя вывести из рассудочных данных культуры, из учета ее накопленных богатств, есть именно дух пьянства, продукт таинственного внутреннего брожения: узкая глиняная амфора с вином, зарытая в землю.

Никогда русская культура не навязывала Грузии своих ценностей. Русификация края никогда не шла дальше форм административной жизни. Русские администраторы начала прошлого века с Воронцовым-Дашковым во главе, уродуя экономическую жизнь края и подавляя общественность, не сумели затронуть быта и относились к нему с невольным уважением, о культурной русификации в Грузии не было и речи. Поэтому национальное и политическое самоопределение Грузии, резко распадающиеся на два периода – до и после советизации Грузии, для грузинской культуры и искусства должны были быть экзаменом верности самой себе, и культурная Россия, целое столетие любовно следившая за Грузией, сейчас с тревогой глядит на страну, готовую изменить своему культурному призванию. Сущность грузинского искусства всегда была в обращенности Грузии к Востоку, причем Грузия никогда не сливалась с Востоком, была отдельной от него.

Я бы причислил грузинскую культуру к типу культур орнаментальных. Окаймляя огромную и законченную область чужого, они впитывают в себя главным образом его узор, в то же время ожесточенно сопротивляясь внутренне враждебной сути могущественных соседних областей.

Сейчас в Грузии стоном стоит клич: «Прочь от Востока – на Запад! Мы не азиаты – мы европейцы, парижане!» Как велика наивность грузинской художественной интеллигенции!.. Тенденция – прочь от Востока! – всегда существовала в грузинском искусстве, но разрешалась не грубым лозунгом, а высокохудожественными формальными средствами.

Войдите в национальный музей грузинской живописи в Тифлисе. Перед вами предстанет длинная вереница строгих портретов, преимущественно женских, по своей технике и глубокому статическому покою напоминающих старую немецкую живопись. В то же время плоскостное восприятие формы и линейная композиция (ритм линий) дышат приемами персидской миниатюры. Часто встречается золотой фон и богатый золотой орнамент. Эти работы безымянных живописцев – настоящая победа грузинского искусства над Востоком, – и как ничтожны перед ними танцующие осколки скрипки, некогда разбитой Пикассо, пленившей новую грузинскую живопись. С этой скрипкой – то же самое, что с мошенническими реликвиями монахов: скрипка была одна, ее разбили один раз, но нет такого города, где бы не показывали щепочки – вот кусочек от Пикассо!

Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нем свежую борозду. Чудесный случай наблюдать развитие языка живописного доставляют нам вывески, в частности тифлисские, на наших глазах вырастающие в мощное искусство Пиросмановили.

Нико Пиросмановили был простой и неграмотный живописец вывесок. Он писал на клеенке в три цвета – охрами, зеленой землей и черной костью (со всеми вариациями серого). Его заказчики, тифлисские духанчики, требовали интересного сюжета, и он шел им навстречу. На одной из его картин я прочел собственноручную подпись – «Шамиль со свево караулом» (с сохранением орфографии). Нельзя не поклониться перед величием его «безграмотных» (не анатомических) львов, великолепных верблюдов с несоразмерными человеческими фигурами и палатками, победивших плоскость силою одного цвета. Если бы французы знали о существовании Пиросмановили, они бы ездили в Грузию учиться живописи. Впрочем, они скоро узнают, так как по недосмотру вещи его почти все вывезены за границу.

Другое явление современного грузинского искусства, представляющее европейскую ценность, – это поэт Важа Пшавела. Он переиздается Наркомпросом, и в молодой

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
Грузии образуется даже нечто вроде культа Важа Пшавела, но боже мой, до чего ограниченно его непосредственное влияние на молодую грузинскую поэзию!.. Это был настоящий ураган слова, пронесшийся по Грузии, с корнем вырвавший деревья:

Твои встречи – люди мирные,
Непохожие на война,
Темнокудрый враг железо ест
И деревья выкорчевывает.

Образность его поэм, почти средневековых в своем эпическом величии, стихийна. В них клокочет вещественность, осязаемость, бытийственность. Все, что он говорит, невольно становится образом, но ему мало слова, – он его как бы рвет зубами на части, широко пользуясь и без того страстным темпераментом грузинской фонетики.

Молодая грузинская поэзия перенесла Важа Пшавела, как бурю, и теперь не знает, что делать с его наследством.

В настоящее время она представлена так называемой группой «Голубых Рогов», имеющих резиденцию в Тифлисе, с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе во главе. «Голубые Роги» почитаются в Грузии верховными судьями в области художественной, но самим им бог судья. Воспитанные на раболепном преклонении перед французским модернизмом, к тому же воспринятым из вторых рук через русские переводы, они ублажают себя и своих читателей дешевой риторической настойкой на бодлэрианстве, дерзаниях Артура Рэмбо и упрощенном демонизме. Все это сдобрено поверхностной экзотикой быта. Мимо них прошло все огромное цветение русской поэзии за последнее двадцатилетие. Для нас они Пенза или Тамбов... Единственный русский поэт, имеющий на них бесспорное влияние, – это Андрей Белый, эта мистическая русская Вербицкая для иностранцев.

Другое течение грузинской литературы, консервативное, совершенно бесцветно. Литературная жизнь необыкновенно шумна и криклива, множество диспутов, ссор, банкетов, расколов. Не покроет всю эту суету сует львиный рык художника: «Вы не Запад и не Восток, не Париж и не Багдад; глубокой воронкой врезалось в историческую землю ваше искусство, ваша художественная традиция. Вино старится – в этом его будущее, культура бродит – в этом ее молодость. Берегите же свое искусство – зарытый в землю узкий глиняный кувшин!»

Письмо о русской поэзии

В блестящее время парижских, брюссельских, нижегородских и прочих всемирных выставок существовал обычай возводить архитектурные постройки в стиле чего угодно, но обязательно грандиозно.

Сооружения эти, олицетворявшие художества, кустарную промышленность, сельское хозяйство и пр., недолго держались в своем эфемерном величии: выставка кончалась, и деревянные планки свозили на телегах.

Грандиозные создания русского символизма напоминают мне эти выставочные сооружения. Иногда мне кажется, что Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый специально построены для каких-то всемирных выставок, и вот-вот приедут их разбирать. По существу, они уже разобраны. От Бальмонта с его горящими зданиями, мировыми поэмами, сверхчеловеческими дерзновениями и демонической самовлюбленностью осталось несколько скромных хороших стихотворений. Брюсов еще стоит, он пережил «выставку», но все знают, что это такое. От космической поэзии Вячеслава Иванова, где «даже минерал произносит несколько слов», осталась маленькая византийская часовенка, где собрано уцелевшее великолепие многих сгоревших храмов, и, наконец, Белый... здесь мне придется отказаться от моей архитектурной параллели: Белый неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарлатанства – теософией.

«Куда вам, нынешним, до стариков, – вздыхают любители большого стиля, воспитанные на выставочных павильонах, – то-то были поэты, какие темы, какой размах, какая эрудиция...»

Любителям русского символизма невдомек, что это огромный махровый гриб на болоте девяностых годов, нарядный и множеством риз облеченный.

В конце прошлого века русская поэзия вышла из круга домашних напевов Фета и Голенищева-Кутузова, приобщилась к широкому кругу интересов европейской мысли и потребовала себе мирового значения. Все было внове для молодых сотрудников

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
«Весов» – Брюсова, Эллиса, Зинаиды Гиппиус. До сих пор еще, перечитывая старые «Весы», захватывает дух от радостного удивления и волнующей лихорадки открытия, которой была одержима эта эпоха. Вселенская мысль, никогда не умиравшая даже в русской помещичье-дворянской поэзии, но после Пушкина ставшая подспудной в глухих созданиях Тютчева и Владимира Соловьева, шумным половодьем смысла домашнюю рухлядь: русской поэтической мысли снова открылся Запад, новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как единая религия, будучи на самом деле весь из кусочков вражды и противоречий. Русский символизм не что иное, как запоздалый вид наивного западничества, перенесенного в область художественных воззрений и поэтических приемов. Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли:

– Мы помним все – парижских улиц ад
И венецянские пролады,
Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна мощные громады... –
юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбежный спутник влюбленности, перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей, пораженное болезненной водянкой мировых тем. При таком положении нарушается самый интересный в поэзии процесс, рост поэтической личности, – сразу взяли самую высокую, напряженную ноту, оглушили себя сами и не использовали голоса как органическую способность развития.

Самое удобное измерять наш символизм градусами поэзии Блока. Это живая ртуть, у него и тепло и холодно, а там всегда жарко. Блок развивался нормально, – из мальчика, начитавшегося Соловьева и Фета, он стал русским романтиком, умудренным германскими и английскими братьями, и, наконец, русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушкина – в просвещении стать с веком наравне.

Блоком мы измеряли прошлое, как землемер разграфляет тонкой сеткой на участки необозримые поля. Через Блока мы видели и Пушкина, и Гете, и Боратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в вечном движении.

Всегда будет чрезвычайно любопытным и загадочным, откуда пришел поэт Блок... Он пришел из дебрей германской натурфилософии, из студенческой комнатки Аполлона Григорьева, и – странно – он чем-то возвращает нас в семидесятые годы Некрасова, когда в трактирах ужинали юбиляры, а на театре пел Гарция.

Кузмин пришел от волжских берегов, с раскольничьими песнями, итальянской комедией родного, домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой, – от «Концерта» в Palazzo Pitti Джорджоне до последних поэм Дебюсси.

Клюев – пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя.

Наконец, Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова.

Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу.

Вся эта форма, вышедшая из асимметричного параллелизма народной песни и высокого лирического прозаизма Анненского, приспособлена для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой.

Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко.

Во время расцвета мишурного русского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать. Анненский никогда не сливался с богатырями на глиняных ногах русского символизма – он с достоинством нес свой

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
жребий отказа – отречения. Дух отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания, непререкаемого и абсолютного (необходимая предпосылка трагедий), и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, вместо того чтобы спустить на воду корабль всенародной трагедии, бросает в водопад куклу, потому что –

Сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Ныне мы стоим перед поздним шумным рецидивом символизма, поэзией московских школ, главным образом имажинистов, – тоже наивное явление, только хищническое и дикарское, – на этот раз не перед духовными ценностями культуры, а ее механическими игрушками. Любой швейцар старого московского дома с лифтом и центральным отоплением культурнее имажиниста, который никак не может привикнуть к лифту и пропеллеру. Молодые московские дикари открыли еще одну Америку – метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных метафорических уподоблений.

Бесконечно менее интересный и почтенный, чем символизм, но родственный ему, имажинизм не последнее, должно быть, явление в русской литературе. Хищническая экстенсивная поэзия на нашей почве будет возрождаться до тех пор, пока ее сделает невозможной русская культура. Право же, дурная поэзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как и всякая бесхозяйственность.

Кровавая мистерия 9-го января

Когда режиссер затевает массовую постановку, он бросает в действие толпы людей, указывает им место, могучим электрическим током вливает в них движение, и они живут под его перстами, шумят, плачут, шарахаются, как тростники под напором ветра. У исторических событий нет режиссуры. Без указаний, без сговору выходят участники на площади и улицы, глухим беспокойством выгнанные из укромного жилья. Неведомая сила бросает их на городские стогны, во власть неизвестного.

Хорошо, если найдется трибун, чей голос укажет строй – порядок человеческой стихии, если есть общая цель – крепость, которую нужно взять, Бастилия, которую нужно разрушить. Тогда муравейник, разрыхленный палкой, превращается в стройную систему сосудов, бегущих к центру, где все должно разрешиться, где должно произойти событие.

В трагический день девятого января – эта величественная массовая постановка обошлась без центра, без события; людские толпы не докатились до Дворцовой площади.

Петербургским рабочим не пришлось встретиться с царем, массовое движение, задуманное по строго определенному плану, было обезглавлено волей истории, и ни один из актеров великого дня не выполнил указаний режиссера – не дошел до огромной, как озеро, подковообразной площади с мраморным столпником-Ангелом в середине.

Сколько раз разбивалась процессия петербургских рабочих, докатившись до последней роковой заставы, сколько раз повторялась мистерия девятого января? Она разрослась одновременно во всех концах великого города – и за Московской, и за Нарвской заставой, и на Охте, и на Васильевском, и на Выборгской...

Вместо одного грандиозного театра получилось несколько равноправных маленьких.

И каждый из них справился самостоятельно со своей задачей: обезглавливанием веры в царя, цареубийственным апофеозом, начертанным кровью на снегу.

Любая детская шапочка, рукавичка или женский платок, жалко брошенный в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет.

Может, во всей летописи русской революции не было другого такого дня, столь насыщенного содержанием, как 9 января. Сознание значительности этого дня в умах современников перевешивало его понятный смысл, тяготело над ними как нечто грозное, тяжелое, необъяснимое.

Урок девятого января – цареубийство – настоящий урок трагедии: нельзя жить, если

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandelshamjoseph.ru не будет убит царь. Девятое января – трагедия с одним только хором, без героя, без пастыря. Гапон ступевался: как только началось действие, он был уже ничем, он был уже нигде. Столько убитых, столько раненых – и ни одного известного человека (только профессору Тарле поранило голову саблей – единственная знаменитость). Хор, забытый на сцене, брошенный, предоставленный самому себе. Кто знает законы греческой трагедии, тот поймет – нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища. В ту самую минуту вспыхнула вся трагическая глубина сознания народных масс, когда засвистали пули, люди бросились врассыпную, попадали на землю в зверином страхе, забывая друг о друге.

Характерно, что никто не слышал сигнальных рожков перед стрельбой. Все отчеты говорят, что их прослышали, что стреляли как бы без предупреждения. Никто не слышал, как прозвучал в морозном январском воздухе последний рожок императорской России – рожок ее агонии, ее предсмертный стон. Императорская Россия умерла как зверь – никто не слышал ее последнего хрипа.

Девятое января – петербургская трагедия; она могла развернуться только в Петербурге, – его план, расположение его улиц, дух его архитектуры оставили неизгладимый след на природе исторического события. Девятое января не удалось бы в Москве. Центростремительная тяга этого дня, правильное движение по радиусам, от окраины к центру, так сказать, вся динамика девятого января обусловлена архитектурно-историческим смыслом Петербурга.

Архитектурная идея Петербурга неизбежно приводит к представлению мощного центрального единства. Всеми своими улицами, облупленными, желтыми и зелено-серыми, Петербург естественно течет в мощный гранитный водоем Дворцовой площади, к красной подкове зданий, рассеченной надвое глубокой меднобитной аркой с взвившейся на дыбы ристалищной четверней.

Люди не пошли к Медному всаднику на Сенатскую площадь, потому что с ним тягаться под стать только всей России и тяжба с ним была еще впереди.

Люди шли на Дворцовую площадь, как идут каменщики, чтобы положить последний кирпич, венчающий их революционное строение.

Рабочие построили Зимний дворец – теперь они шли испытать царя.

Но это не удалось – царь рухнул, дворец стал гробом и пустыней; площадь – зияющим провалом, и самый стройный город в мире – бессмысленным нагромождением зданий.

Что теперь делать? Огромная желтая Обуховская больница со своими палисадничками, двориками и покойничками одна не растерялась – она знала, что ей делать. Как старуха тетка, появляющаяся в семье в дни смертей и рождений, эта старая желтая повитуха приняла тысячи случайно убитых, подстреленных, как дичь, с незаметной ранкой и свинцовым грузиком в теле.

Никто не знал в этот желтый зимний день, что она принимает новорожденную красную Россию, что каждое убийство было рождением.

Даже хитрый мужичонка в далекой Сибири еще не знал, кого ему предстоит спасать, и не снаряжался в далекий путь.

Мрачно стоял обезглавленный Петербург, дымились костры на улицах, мерзли на углах запоздалые, ненужные патрули, но город без души немислим – и освобожденная новая душа Петербурга, как нежная сиротливая Психея, уже бродила на снегах. Первое шествие рабочих от кирпичных и деревянных застав к гранитной чаше Невы, к цельному, как дарохранительница, архитектурному слитку с ковчегом Адмиралтейства и саркофагом Исаакия, не удалось.

Но оно началось снова – весь Петербург, грязный, желтый, кирпичный, с домами-ящиками, с лачугами, фабриками и пустырями поднялся и снова со всех сторон пошел через двенадцать лет к Дворцовой площади, чтобы достроить дело рук своих и последним свободно положенным кирпичом оправдать на рабочих костях стоящую мощную и прекрасную твердыню рабочего труда.

«Гротеск»

Когдаходишь в маленькую, уютную теплую каюту «Гротеска», сразу начинают

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
щекотать ноздри воспоминанья, такой тонкий приятный запах прошлого, словно весь «Гротеск», как знаменитый страсбургский пирог, только что доставлен, горячий и дымящийся, из кухни петербургской «Бродячей Собаки» и «Дома Интермедии».

Здесь незримо присутствует «гений» Потемкина, автора великой англо-негритянской трагедии «Black and white» [83] (кстати, входит в репертуар «Гротеска»), и все семейство больших и маленьких «Вампук» перекочевало в этот хрупкий ковчег остроумия.

«Гротеск» не просто забавный неисхищенный маленький театр, это правнучек, кровный отпрыск семьи российского театрального Сатирикона, может быть, нелюбимый бабушкин внучек, да что делать – бабушка постарела, приласкать некому. Давно отшумел блестящий петербургский 1913 год.

Камина красного тяжелый, зимний жар,
Над черным кофеом встающий тонкий пар,
Веселость едкая литературной шутки.
Что это было, что это было! Из расплавленной остроумием атмосферы горячечного, тесного, шумного, как улей, но всегда порядочного, сдержанно беснующегося гробик-подвала в маленькие сенцы, заваленные шубами и шубками, где проходят последние объяснения, прямо в морозную ночь, на тихую Михайловскую площадь; взглянешь на небо, и далее звезды покажутся сомнительными: остроумничают, ехидствуют, мерцают с подмигиваньем.

И не освежает морозный воздух, не успокаивают звезды. Скрипит снег под легенькими полозьями извозчичьих санок, и, как «бесы невидимкой при луне», в снежной пыли кувыркаются последние петербургские остроты, нелепость последнего скетча сливается с снежной нелепицей, и холодок остроумия, однажды попав в кровь, «как льдинка в пенном вине», будет студить и леденить ее, пока не заморозит.

Да, я любила их, те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные.
В том году театральное остроумие взвилось, как стоцветная ракета в темную ночь. «Дом Интермедии», «Кривое зеркало», «Би-ба-бо» рассыпали холодный фейерверк гротеска, скетча и пародии в воздухе, который был «предчувствием томим» для театральной публики; посвященная, она прошла через культуру остроумия, высшую школу издевательства, академию изысканной нелепости.

Простой петербуржец из трамвая, банка, министерства ничего не понимал в этом, но мы сходили с ума от факира, который, показывая бритву перед каким-то фокусом, пояснял, что она бреет растительность, «и даже на лице».

Дело было так. Из своеобразного ощущения исторической минуты родилось сильнейшее и острейшее чувство нелепости, возведенное в культ кривозеркальцами и сатириконцами. Это чувство нелепости положило начало позднему и утонченно упадочному расцвету русского театрального гротеска.

Настоящими участниками этой мистерии абсолютно нелепого могли быть только люди, дошедшие до «предела», у которых было что терять и которых толкала на путь сокрушительного творчества из нелепого внутренняя опустошенность – предчувствие конца. Появились приемы, выработалась традиция, театр гротеска вышел на улицу. Иррациональный, нерассудочный элемент, заключенный в эстетической категории нелепого, должен был выветриться, уступить место простому остроумничанью, «Сатирикону» с шутками Мисс и стилизацией Агнивцева. То-то и печально, что в ростовском «Гротеске» господствует не тень Потемкина, который даже трезвый и приличный походил на отмытого негра, а изысканный Агнивцев с браслетами, щеночками и собачками, этот Кузмин на сахарине с маргариновым старым Петербургом, где стилизация не прячется в углах губ, а прет из каждой строчки, как лошадиное дышло.

В «Гротеске» кончилось творчество нелепого, все остроумно, мило, занято. Но когда выходишь из «Гротеска» на морозную улицу, звезды не ехидствуют и снег не хрустит с усмешкой.

Антракты «Гротеска», благодаря Курихину, острее, художественнее, гротескнее самого действия. Каждое слово – чистое золото нелепости:

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru
«Вот позвольте представить, Марья Васильевна, самая красивая девушка Ростова и Нахичевани».

За это «и Нахичевани» можно все отдать.

В антрактах Курихина живет традиция творчества нелепого, он единственный из джиммистов, составляющих ядро «Гротеска», подлинный мастер иррационального, гротескного юмора тонкого упадочного театра, стоящего на грани пустоты.

Шуба

Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. Спросят – холодно ли сегодня на дворе, и не знаешь, что ответить, может быть, и холодно, а я-то почему знаю?

Есть такие шубы, в них ходили попы и торговые старики, люди спокойные, несуетливые, себе на уме – чужого не возьмет, своего не уступит, шуба что ряса, воротник стеной стоит, сукно тонкое, не лицеванное, без возраста, шуба чистая, просторная, и носить бы ее, даром что с чужого плеча, да не могу привыкнуть, пахнет чем-то нехорошим, сундуком да ладаном, духовным завещанием.

Купил я ее в Ростове, на улице, никогда не думал, что шубу куплю. Ходили мы все, петербуржцы, народ подвижный и ветреный, европейского кроя, в легоньких зимних, ватой подбитых, от Манделя, с детским воротничком, хорошо, если каракуль, полугрейках, ни то ни се. Да соблазнил меня Ростов шубным торгом, город дорогой, ни к чему не приступишься, а шубы дешевле пареной репы.

Шубный товар в Ростове выносят на улицу перекупщики-шубейники. Продают не спеша, с норовом, с характером. Миллионов не называют. Большим числом брезгуют. Спросят восемь, отдадут за три. У них своя сторона, солнечная, на самой широкой улице. Там они расхаживают с утра до двух часов пополудни, с шубами внакидку на плечах, поверх тулупчика или никчемного пальтишки. На себя напялят самое невзрачное, негрешее, чтобы товар лицом показать, чтобы мех выпушкой играл соблазнительней.

Покупать шубу, так в Ростове. Старый шубный митрополичий русский город. Здесь гуляют поповские гладкие шубы без карманов: зачем попу карман, только знай запахайся, деньги не убегут.

Не дает мне покоя моя шуба, тянет меня в дорогу, в Москву да в Киев, – жалко зиму пропустить, пропадет обновка. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречистенку. Хочется и в Харьков, на Сумскую, и в Петербург на Большой проспект, на какую-нибудь Подрезову улицу. Все города русские смешались в моей памяти и слиплись в один большой небывалый город, с вечно санным путем, где Крещатик выходит на Арбат и Сумская на Большой проспект.

Я люблю этот небывалый город больше, чем настоящие города порознь, люблю его, словно в нем родился, никогда из него не выезжал.

Отчего же беспокойно мне в моей шубе? Или страшно мне в случайной вещи, – соскочила судьба с чужого плеча на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что устроилась.

Вспоминаю я, сколько раз я замерзал в разных городах за последние четыре года: и замерзание в Петербурге, возвращение с обледенелым пайком в руках в комнатку Дома Искусств, жгучие железные перила черной лестницы, без перчаток, никак до них не доберешься, чудом поднимешься на свой этаж, грохнешь паек на столик в кухонку, к старушонке, понемногу оттаять, прийти в чувство.

Жили мы в убогой роскоши Дома Искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали.

Впрочем, молодые не унывали, особенно Виктор Борисович Шкловский, задорнейший и талантливейший литературный критик нового Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и литературного темперамента на десятерых. Он, как настоящий захватчик, утвердился революционным порядком в елисеевской спальне, с камином, двуспальной постелью, киотом и окнами на Невский.

На него было любо смотреть, и елисеевская бывшая челядь его уважала и боялась. Вот он возвращается с огромным мешком картона на спине из экспедиции по дрова. Комнаты нам недотапливали, зато тут же в доме находились девственные залежи топлива: брошенный банк, около сорока пустых комнат, где по колено навалено толстых банковских картонов. Ходи кому не лень, но мы не решались, а Шкловский, бывало, пойдет в этот лес и вернется с несметной добычей. Затрещит затопленный канцелярским валежником камин, а хозяин разбросает по глянцевитым ломберным елисеевским столам и на кровати, и на стульях, и чуть ли не на полу листочки с выписками из Розанова и начнет клеить свою удивительную теорию о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную форму.

Приехала к нам и Мариетта Шагинян, прямо из Ростова, со своей монашеской глухотой, не от мира сего, вернее не от нашего петербургского мира. Ее засмеяли, когда она, единственная из всего населения Дома Искусств, вышла на чистку снега, скромную трудовую повинность, возложенную на нас советской властью и встреченную, конечно, снобическим саботажем.

Вспоминаю я моего соседа по камчатке бывших меблированных комнат, куда сплывили нас за неимением места в хоромах Дома Искусств, – поэта Владислава Ходасевича, автора «Счастливого домика», чей негромкий, старческий, серебряный голос за двадцатилетие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь.

Это была суровая и прекрасная зима 20 – 21 года. Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я любил этот Невский, пустой и черный, как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими, редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы.

Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее недорого, но больше всего мне совестно за мою шубу перед старушонкой, что ютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына, на обратном пути добрые люди посоветовали ей сдать вещи в багаж, и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб, все, буквально все заработанное за всю жизнь.

Литературная Москва

Москва – Пекин; здесь торжество материка, дух Срединного царства, здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел, здесь материк Евразии празднует свои вечные именины.

Кому не скучно в Срединном царстве, тот – желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира.

Здесь извозчики в трактирах пьют чай, как греческие философы; здесь на плоской крыше небольшого небоскреба показывают ночью американскую сыщицкую драму; здесь приличный молодой человек на бульваре, не останавливая ничьего внимания, высвистывает сложную арию Тангейзера, чтобы заработать свой хлеб, и в полчаса на садовой скамейке художник старой школы сделает вам портрет на серебряную академическую медаль; здесь папиросные мальчишки ходят стаями, как собаки в Константинополе, и не боятся конкуренции; ярославцы продают пирожные, кавказские люди засели в гастрономической прохладе. Здесь ни один человек, если он не член Всероссийского союза писателей, не пойдет летом на литературный диспут, и Долидзе на летнее время, по крайней мере, душой переселяется в Азуркеты, куда он собирается уже двенадцать лет.

Когда в Политехническом музее Маяковский чистил поэтов по алфавиту, среди аудитории нашлись молодые люди, которые вызвались, когда до них дошла очередь, сами читать свои стихи, чтобы облегчить задачу Маяковскому. Это возможно только в Москве, и нигде в мире, только здесь есть люди, которые, как шииты, готовы лечь на землю, чтобы по ним проехала колесница зычного голоса.

В Москве Хлебников, как лесной зверь, мог укрываться от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru но зато в Москве же И. А. Аксенов, в скромнейшем из скромных литературных собраний, возложил на могилу ушедшего великого архаического поэта прекрасный венок аналитической критики, осветив принципом относительности Эйнштейна архаику Хлебникова и обнаружив связь его творчества с древнерусским нравственным идеалом шестнадцатого и семнадцатого веков, – в то время, как в Петербурге просвещенный «Вестник литературы» сумел только откликнуться скудоумной, высокомерной заметкой на великую утрату. Со стороны видней – с Петербургом неладно, он разучился говорить на языке времени и дикого меда.

Для Москвы самый печальный знак – богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве – это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музыки, это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией как поэтических изобретений, так и воспоминаний. Большинство московских поэтесс ушиблены метафорой. Это бедные Изиды, обреченные на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующей вернуть поэтическому образу, Озирису, свое первоначальное единство.

Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество как домашнее рукоделие. В то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды.

Изобретенье и воспоминание идут в поэзии рука об руку, вспомнить – значит тоже изобрести, вспоминающий тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы – забвенье этой двойной правды. Москва специализировалась на изобретеньи во что бы то ни стало.

Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением. Нужно быть факиром, чтобы отказываться от одного из видов дыхания. Жажда поэтического дыхания через воспоминанья сказалась в том повышенном интересе, с которым Москва встретила приезд Ходасевича, слава богу, уже лет двадцать пять пишущего стихи, но внезапно оказавшегося в положении молодого, только начинающего поэта.

Как от Таганки до Плющихи, раскинулась необъятно литературная Москва от «Мафа» до «Лирического круга». На одном конце как будто изобретенье, на другом – воспоминанье: Маяковский, Крученых, Асеев – с одной, с другой – при полном отсутствии домашних средств – должны были прибегнуть к петербургским гастролерам, чтобы наметить свою линию. В силу этого о «Лирическом круге» как о московском явлении говорить не приходится.

Что же происходит в лагере чистого изобретенья? Здесь, если откинуть совершенно несостоятельного и невразумительного Крученых, и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда (несмотря на это, у Крученых безусловно патетическое и напряженное отношение к поэзии, что делает его интересным как личность). Здесь Маяковским разрешается элементарная и великая проблема «поэзии для всех, а не для избранных». Экстенсивное расширение площади под поэзию, разумеется, идет за счет интенсивности, содержательности, поэтической культуры. Великолепно осведомленный о богатстве и сложности мировой поэзии, Маяковский, основывая свою «поэзию для всех», должен был послать к черту все непонятное, то есть предполагающее в слушателе малейшую поэтическую подготовку. Однако обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю – столь же неблагоприятная задача, как попытаться усесться на кол. Совсем неподготовленный совсем ничего не поймет, или же поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей. Маяковский же пишет стихи, и стихи весьма культурные: изысканный раешник, чья строфа разбита тяжеловесной антитезой, насыщена гиперболическими метафорами и выдержана в однообразном коротком паузнике. Поэтому совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя. Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину совершилось.

Если в стихах Маяковского выражено стремление к общедоступности, то в стихах Асеева сказался организационный пафос нашей эпохи. Блестящая рассудочная образность его языка производит впечатление чего-то свежемобилизованного. По существу, между табакерочной поэзией восемнадцатого века и машинной поэзией двадцатого века Асеева нет никакой разницы. Рационализм сентиментальный и рационализм организационный. Чисто рационалистическая, машинная, электромеханическая, радиоактивная и вообще технологическая поэзия невозможна по одной причине, которая должна быть близка и поэту и механику: рационалистическая, машинная поэзия не накапливает энергию, не дает ее приращенья, как естественная иррациональная поэзия, а только тратит, только расходует ее. Разряд равен заводу. На сколько заверчено, на столько и раскручивается. Пружина не может отдать больше, чем ей об этом заранее известно. Вот почему рационалистическая поэзия Асеева не рациональна, бесплодна и бесполо. Машина живет глубокой и одухотворенной жизнью, но семени от машины не существует.

Ныне изобретательская горячка поэтической Москвы уже проходит, все патенты уже заявлены, новых заявлений уже давно нет. Двойная правда изобретенья и воспоминанья нужна, как хлеб. Вот почему в Москве нет ни одной настоящей поэтической школы, ни одного живого поэтического кружка, ибо все объединения находятся по ту или другую сторону разделенной правды.

Изобретенье и воспоминанье – две стихии, которыми движется поэзия Б. Пастернака. Будем надеяться, что стихи его будут изучены в самом непродолжительном времени и о них не будет наговорено столько лирических нелепостей, сколько пришлось на долю всех русских поэтов, начиная с Блока.

Мировые города, как Париж, Москва, Лондон, удивительно деликатны по отношению к литературе. Они позволяют ей прятаться в какой-нибудь щели, пропадать без вести, жить без прописки, под чужим именем, не иметь адреса. Смешно говорить о московской литературе, так же точно, как и о всемирной.

Первая существует только в воображении обозревателя, так же как вторая – только в названии почтенного петербургского издательства. Непредупрежденному человеку может показаться, что в Москве совсем нет литературы. Если он встретит случайно поэта, то тот замахнет руками, сделает вид, что страшно куда-то спешит, и исчезнет в зеленые ворота бульвара, напутствуемый благословениями папиросных мальчишек, умеющих как никто оценить человека и угадать в нем самые скрытые возможности.

Литературная Москва. Рождение фавулы

1

Некогда монахи в прохладных своих готических трапезных вкушали более или менее постную пищу, слушая чтеца, под аккомпанемент очень хорошей для своего времени прозы из книги Четьи-Минеи. Читали им вслух не только для поучения, а чтение прилагалось к трапезе как настольная музыка, и, освежая головы сотрапезников, приправа чтеца поддерживала стройность и порядок за общим столом.

А представьте какое угодно общество, самое просвещенное и современное, что пожелает возобновить обычай застольного чтения и пригласит чтеца, и, желая всем угодить, чтец прихватит «Петербург» Андрея Белого, и вот он приступил, и произошло что-то невообразимое – у одного кусок стал поперек горла, другой рыбу ест ножом, третий обжегся горчицей.

Невозможно представить себе такого процесса, такой работы, такого общего усилия, аккомпанементом к которому бы послужила проза Андрея Белого. Ее периоды, рассчитанные на мафусаилов век, не вяжутся ни с какими действиями, а сказки Шехеразады рассчитаны на триста шестьдесят шесть дней, по одной на каждую ночь високосного года, а «Декамерон» дружит с календарем, послушный смене дня и ночи. Да что – «Декамерон»! Достоевский – отличное застольное чтение, если не сейчас, то в очень недалеком будущем, когда вместо того, чтобы плакать и умиляться над ним, как горничные умиляются над Бальзаком и отличными бульварными романами, будут воспринимать его чисто литературно и тогда в первый раз прочтут и поймут.

Извлечение пирамид из глубины собственного духа – занятие неудобоваримое, необщественное, это – зонд в желудке. Это не работа, а операция. С тех пор как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru стал оператором, проза – клинической катастрофой, на наш вкус весьма неприятной, и тысячу раз я брошу беллетристику с психологией Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева-Ценского, Замятина ради великолепного Брет-Гарта в переводе неизвестного студента девяностых годов – «не говоря ни слова, он одним движением руки и ноги сбросил его с лестницы и преспокойно обернулся к незнакомке».

Где теперь этот студент? Я боюсь, что он напрасно стыдится своего литературного прошлого и в часы досуга предоставляет себя вивисекции авторам-психологам, но уже не грубым портам из клиники сборников «Знания», где малейшая операция, извлечение интеллигентского зуба, грозила заражением крови, а превосходным операторам из поликлиники Андрея Белого, оборудованной всеми средствами импрессионистической антисептики.

2

«Кармен» Мериме кончается филологическим рассуждением на тему о положении в семье языков цыганского наречья. Величайшее напряжение страсти и фабулы разрешается неожиданно филологическим трактатом, а звучит он приблизительно как эпод трагического хора: «и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Происходило это до Пушкина.

Чего же нам особенно удивляться, если Пильняк или серапионовцы вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и еще бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это – организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы – накопление. Она вся – ткань, морфология.

Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, то есть собирателями. Я думаю, это – не в обиду, это – хорошо. Всякий настоящий прозаик – именно эклектик, собиратель. Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе. Почему имена великих прозаиков, этих подрядчиков грандиозных словесных замыслов, безымянных по существу, коллективных по исполнению, как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Раблэ или «Война и мир», превращаются в легенду и миф.

Жаждя безымянной «эклектической» прозы совпала у нас с революцией. Сама поэзия потребовала прозы. Она утратила всякий масштаб – оттого что не было прозы. Она достигла нездорового расцвета и не смогла удовлетворить потребности читателя, приобщиться к чистому действию словесных масс, минуя личность автора, минуя все случайное, личное и катастрофическое (лирика).

Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип безымянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид.

3

Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого. Андрей Белый – вершина русской психологической прозы, – он воспарил с изумительной силой, но только довершил крылатыми и разнообразными приемами топорную работу своих предшественников, так называемых беллетристов.

Неужели его ученики, серапионовы братья и Пильняк, возвращаются обратно в лоно беллетристики, замыкая таким образом круг вращений, и теперь остается только ждать возобновленья сборников «Знания», где психология и быт возобновят свой старый роман, роман каторжника с тачкой?

Как только исчезла фабула, на смену явился быт. Раньше Журден не догадывался, что говорит прозой, раньше не знали, что есть быт.

Быт – это мертвая фабула, это гниющий сюжет, это каторжная тачка, которую волочит за собою психология, потому что надо же ей на что-нибудь опереться, хотя бы на мертвую фабулу, если нет живой. Быт – это иностранщина, всегда фальшивая экзотика, его не существует для своего домашнего, хозяйского глаза: деятельный участник народной жизни умеет замечать только нужное, только кстати, – другое дело турист, иностранец (беллетрист): он пялит глаза на все и некстати обо всем рассказывает.

Нынешние русские прозаики, как серапионовцы и Пильняк, такие же психологи, как и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru их предшественники до революции и Андрея Белого. У них нет фабулы. Они не годятся для застольного чтения. Только психология прикована у них к другой каторжной тачке – не к быту, а к фольклору. Вот об этом различии хотелось бы подробнее поговорить, – водораздел быта и фольклора очень серьезный. Совсем не одно и то же. Маркой выше. Качественно лучше.

Быт – куриная слепота к вещам. Фольклор – сознательное закрепление, накопление языкового и этнографического материала. Быт – омертвление сюжета, фольклор – рождение сюжета. Прислушайся к фольклору и услышишь, как шевелится в нем тематическая жизнь, как дышит фабула, и во всякой фольклорной записи фабула присутствует утробно – здесь начинается интерес, здесь все чревато фабулой, все заигрывает, интригует и грозит ею. Наседка сидит на куче соломы и клохчет и кудахчет, фольклорный прозаик тоже о чем-то клохчет и кудахчет, и кому охота, те его слушают. На самом же деле он занят более важным – высиживает фабулу.

Серapiоновцы и Пильняк (их старший брат, и не нужно его от них отделять) не могут угодить серьезному читателю, они подозрительны по анекдоту, то есть угрожают фабулой. фабулы, то есть большого повествовательного дыхания, нет и в помине, но анекдот щекочет усиками из каждой щели, совсем как у Хлебникова.

Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Премного разных трав и вер.

«Премного разных трав и вер» у Пильняка, Никитина, Федина, Козырева и других, и еще одного серapiоновца, почему-то не записанного в братство, – Лидина, и у Замятина, и у Пришвина. Милый анекдот, первое свободное и радостное порхание фабулы, освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии.

4

А пока что окопаемся. На нас идет фольклор прожорливой гусеницей. Кишачими стаями ползет саранча наблюдений, замет, примечаний, словечек, кавычек, разговорчиков. Совка-гамма, великое нашествие, гроза урожайных полей. Так в литературе узаконен черед фабулы и фольклора, и фольклор родит фабулу, как прожорливая гусеница – легкого мотылька. Если раньше мы не замечали этого чередования, то потому, что фольклор не стремился закрепиться и пропал бесследно. Но как период накопления и прожорливого нашествия, он предшествовал расцвету всякой фабулы. И так как не стремился в литературу, не будучи признаваем таковой, то оставался в частных письмах, в предании домашних рассказчиков, в отчасти опубликованных дневниках и мемуарах, в прошениях и канцелярских реляциях, в судебных протоколах и вывесках. Не знаю, – может быть, кому-нибудь и нравятся рассуждения Пильняка, вроде тех, какие Лесков влагал в уста первых железнодорожных собеседников, коротавших скуку не слишком быстро передвижения, а мне во всем Пильняке милее эпический разговор дьякона в бане с неким Драубэ на тему о смысле мироздания: там ни одного «что-то», ни одного лирического сравнения, нестерпимого в прозе, а элементарная игра рождающейся фабулы, как, помните, у Гоголя, – подъезжая к Плюшкину, сразу не разберешь, «мужик или баба, нет, баба, нет, мужик».

Одновременно с фольклорной линией в прозе до сих пор продолжается чисто бытовая. Все различия серapiоновцев – Пильняка, Замятина, Пришвина, Козырева и Никитина следует простить за объединяющий их общий фольклорный признак, залог жизненности. Все они, как подлинные дети фольклора, сбиваются на анекдот. Абсолютно не сбивается на анекдот Всеволод Иванов, и к нему относится сказанное выше о быте.

Если прислушаться к прозе в эпоху процветания фольклора, то услышишь как бы густой звон сцепившихся в воздухе кузнечиков, – таков общий звук современной русской прозы, и не хочется разнимать этого звона, не выдуманного часовщиком, слагающегося из несметной тьмы крылышкующих трав и вер. В эпоху, неизбежно затем наступающую, в эпоху процветания фабулы, кроющие друг друга тьмы, голоса кузнечиков сменяются звонким пением жаворонка – фабулы, и тогда высоко звенит жаворонок, о котором сказал поэт:

Гибкий, резвый, звучный, ясный –
Он всю душу мне потряс.
Буря и натиск

Отныне русская поэзия первой четверти двадцатого века во всей своей совокупности уже не воспринимается читателями как «модернизм» с присущей этому понятию

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru двусмысленностью и полупрезрительностью, а просто как русская поэзия. Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох.

Русский читатель, за четверть века испытавший не одну, а несколько поэтических революций, приучился более или менее сразу схватывать объективно-ценное в окружающем его многообразии поэтического творчества. Всякая новая литературная школа, будь то романтизм, символизм или футуризм, приходит как бы искусственно раздутой, преувеличивая свое исключительное значение, не сознавая своих внешних исторических границ. Она неизбежно проходит через период «бури и натиска». Только впоследствии, обычно уже тогда, когда главные представители школ теряют свежесть и работоспособность, выясняется их настоящее место в литературе и объективная ценность ими созданного. При этом после половодья «бури и натиска» литературное течение невольно сжимается до естественного русла, и запоминаются навсегда именно эти, несравненно более скромные, границы и очертания.

Русская поэзия первой четверти века переживала два раза резко выраженный период «бури и натиска». Один раз – символизм, другой раз – футуризм. Оба главные течения обнаружили желание застыть на гребне и в этом желании потерпели неудачу, так как история, подготавливая гребни новых волн, в назначенное время властно повелела им пойти на убыль, возвратиться в лоно общей материнской стихии языка и поэзии.

Однако поэтический подъем символизма и футуризма, дополняя друг друга исторически, были по существу совершенно разного порядка. «Бурю и натиск» символизма следует рассматривать как явление бурного и пламенного приобщения русской литературы к поэзии европейской и мировой. Таким образом, это бурное явление по существу имело внешнекультурный смысл. Ранний русский символизм был сильнейшим сквозняком с Запада.

Русский футуризм гораздо ближе к романтизму, – на нем все черты национального поэтического возрождения, причем разработка им национальной сокровищницы языка и глубокой, своей поэтической традиции опять-таки сближает его с романтизмом, в отличие от чужестранного русского символизма, бывшего «культуртрегером», переносителем поэтической культуры с одной почвы на другую. Соответственно этому существенному различию символизма и футуризма – первый дал образец внешнего, второй – внутреннего устремления.

Стержнем символизма было пристрастие к большим темам – космического и метафизического характера. Ранний русский символизм – царство больших тем и понятий с большой буквы, непосредственно заимствованных у Бодлэра, Эдгара Поэ, Малларме, Суинберна, Шелли и других. Футуризм главным образом жил поэтическим приемом и разрабатывал не тему, а прием, то есть нечто внутреннее, соприродное языку. У символистов тема выставлялась вперед, как щит, прикрывающий прием. Исключительно отчетливы темы раннего Брюсова, Бальмонта и др. У футуристов тему трудно отделить от приема, и неопытный глаз, хотя бы в сочинениях Хлебникова, видит только чистый прием или голую заумность.

Подвести итоги символическому периоду легче, чем футуристическому, потому что последний не получил резкого завершения и не оборвался с той же определенностью, как символизм, погашенный враждебными влияниями. Он почти незаметно отказался от крайностей «бури и натиска» и продолжает сам разрабатывать в духе общей истории языка и поэзии то, что в нем оказалось объективно-ценного.

Подвести итоги символизму сравнительно легко.

От разбухшего, пораженного водянойкой больших тем раннего символизма почти ничего не осталось. Грандиозные космические гимны Бальмонта оказались детски слабыми и беспомощными по фактуре стиха. Прославленный урбанизм Брюсова, вступившего в поэзию как певец мирового города, исторически потускнел, так как звуковой и образный материал Брюсова оказался далеко не соприродным его любимой теме. Трансцендентальная поэзия Андрея Белого оказалась не в силах предохранить метафизическую мысль от старомодности и обветшалости. Несколько лучше обстоит дело со сложным византийско-эллинистическим миром Вячеслава Иванова. Будучи по существу таким же пионером, колонизатором, как и все прочие символисты, он относился к Византии и Элладе не как к чужой стране, предназначенной для завоевания, а справедливо видел в них культурные истоки русской поэзии. Но, благодаря отсутствию чувства меры, свойственному всем символистам, невероятно

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru перегрузил свою поэзию византийско-эллинскими образами и мифами, чем значительно ее обесценил. О Сологубе и Анненском хотелось бы говорить особо, так как они никогда не участвовали в «буре и натиске» символизма. Поэтическая судьба Блока теснейшим образом связана с девятнадцатым веком русской поэзии, поэтому о ней также следует говорить особо. Здесь же необходимо упомянуть о деятельности младших символистов, или акмеистов, не пожелавших повторять ошибки разбухшего водянойкой больших тем раннего символизма. Гораздо более трезво оценивая свои силы, они отказались от мании грандиозного раннего символизма, заменив ее кто монументальностью приема, кто ясностью изложения, далеко не с одинаковым успехом.

Ни одно поэтическое наследие так не обветшало и не устарело за самый короткий срок, как символическое. Русский символизм правильнее назвать даже лжесимволизмом, чтобы оттенить его злоупотребления большими темами и отвлеченными понятиями, плохо запечатленными в слове. Все лжесимволическое, то есть огромная часть написанного символистами, сохраняет лишь условный историко-литературный интерес. Объективно-ценное скрывается под кучей бутафорского, лжесимволического хлама.

Тяжелую дань эпохе и культурной работе заплатило трудолюбивейшее и благороднейшее поколение русских поэтов. Начнем с отца русского символизма – Бальмонта. От Бальмонта уцелело поразительно немного – какой-нибудь десяток стихотворений. Но то, что уцелело, воистину превосходно и по фонетической яркости и по глубокому чувству корня и звука выдерживает сравнение с лучшими образцами заумной поэзии. Не вина Бальмонта, если нетребовательные читатели повернули развитие его поэзии в худшую сторону. В лучших своих стихотворениях – «О ночь, побудь со мной», «Старый дом» – он извлекает из русского стиха новые и после не повторявшиеся звуки иностранной, какой-то серафической фонетики. Для нас это объясняется особым фонетическим свойством Бальмонта, экзотическим восприятием согласных звуков. Именно здесь, а не в вульгарной музыкальности источник его поэтической силы.

В лучших (неурбанических) стихотворениях Брюсова никогда не устареет черта, делающая его самым последовательным и умелым из всех русских символистов. Это мужественный подход к теме, полная власть над ней – умение извлечь из нее все, что она может и должна дать, исчерпать ее до конца, найти для нее правильный и емкий строфический сосуд. Лучшие его стихи – образец абсолютного овладения темой: «Орфей и Эвридика», «Тезей и Ариадна», «Демон самоубийства». Брюсов научил русских поэтов уважать тему как таковую. Есть чему поучиться и в последних его книгах – «Далях» и «Последних мечтах». Здесь он дает образцы емкости стиха и удивительного расположения богатых смыслом, разнообразных слов в скупом отмеренном пространстве.

Андрей Белый в «Урне» обогатил русскую лирику острыми прозаизмами германского метафизического словаря, выявляя иронический звук философских терминов. В книге «Пепел» искусно вводится полифония, то есть многоголосие, в поэзию Некрасова, чьи темы подвергаются своеобразной оркестровке. Музыкальное народничество Белого сводится к жесту нищенской пластики, сопровождающему огромную музыкальную тему.

Вячеслав Иванов более народен и в будущем более доступен, чем все другие русские символисты. Значительная доля обаяния его торжественности относится к нашему филологическому невежеству. Ни у одного символического поэта шум словаря, могучий гул наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи, не звучит так явственно, как у Вячеслава Иванова, – «Ночь немая, ночь глухая», «Мэнада» и проч. Ощущение прошлого как будущего роднит его с Хлебниковым. Архаика Вячеслава Иванова происходит не от выбора тем, а от неспособности к относительному мышлению, то есть сравнению времен. Эллинистические стихи Вячеслава Иванова написаны не после и не параллельно с греческими, а раньше их, потому что ни на одну минуту он не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии.

Таковы основоположники русского символизма.

Работа ни одного из них не пропала даром. У каждого есть чему учиться и в настоящую и в какую угодно минуту. Перейдем к их сверстникам, на долю которых выпало горькое счастье с самого начала не разделять исторических ошибок других, но и не принимать участия в освежительном буйстве первых символических пиров, – к Сологубу и Анненскому.

Сологуб и Анненский начали свою деятельность совершенно незамеченными еще в девяностые годы. Влияние Анненского сказалось на последующей русской поэзии с необычайной силой. Первый учитель психологической остроты в новой русской лирике, искусство психологической композиции он передал футуризму. Влияние Сологуба, почти столь же сильное, выразилось чисто отрицательно: доведя до крайней простоты и совершенства путем высокого рационализма приемы старой русской лирики упадочного периода, включая Надсона, Апухтина и Голенищева-Кутузова, очистив эти приемы от мусорной эмоциональной примеси и окрасив их в цвет своеобразного эротического мифа, он сделал невозможными всякие попытки возвращения к прошлому и, кажется, фактически не имел подражателей. Органически сострадая банальности, нежно соболезнуя мертвенному слову, Сологуб создал культ мертвенных и отживших поэтических формул, вдохнув в них чудесную и последнюю жизнь. Ранние стихи Сологуба и «Пламенный круг» – циническая и жестокая расправа над поэтическим трафаретом, не соблазнительный пример, а грозное предостережение смельчаку, который впредь попробует писать подобные стихи.

Анненский с такой же твердостью, как Брюсов, ввел в поэзию исторически объективную тему, ввел в лирику психологический конструктивизм. Сгорая жаждой учиться у Запада, он не имел учителей, достойных своего задания, и вынужден был притворяться подражателем. Психологизм Анненского – не каприз и не мерцание изощренной впечатлительности, а настоящая твердая конструкция. От «Стальной цикады» Анненского к «Стальному соловью» Асеева лежит прямой путь. Анненский научил пользоваться психологическим анализом как рабочим инструментом в лирике. Он был настоящим предшественником психологической конструкции в русском футуризме, столь блестяще возглавляемой Пастернаком. Анненский до сих пор не дошел до русского читателя и известен лишь по вульгаризации его методов Ахматовой. Это один из самых настоящих подлинников русской поэзии. «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец» хочется целиком перенести в антологию.

У российского символизма были свои Вергилии и Овидии, у него же были и свои Каталлы, не столь по возрасту, сколь по типу творчества. Здесь следует упомянуть о Кузmine и Ходасевиче. Это типичные младшие поэты со всей свойственной младшим поэтам чистотой и прелестью звука. Для Кузмина старшая линия мировой литературы как будто вообще не существует. Он весь замешен на пристрастии к ней и на канонизации младшей линии, не выше комедии Гольдони и любовных песенок Сумарокова. В своих стихах он довольно удачно культивировал сознательную небрежность и мешковатость речи, испещренной галлицизмами и полонизмами. Зажигаясь от младшей поэзии Запада, хотя бы Мюссе, – новый «Ролла», – он дает читателю иллюзию совершенно искусственной и преждевременной дряхлости русской поэтической речи. Поэзия Кузмина – преждевременная старческая улыбка русской лирики.

Ходасевич культивировал тему Боратынского: «Мой дар убог, и голос мой негромок» – и всячески варьировал тему недоноска. Его младшая линия – стихи второстепенных поэтов пушкинской и послепушкинской поры – домашние поэты-любители, вроде графини Ростопчиной, Вяземского и др. Идя от лучшей поры русского поэтического дилетантизма, от домашнего альбома, дружеского послания в стихах, обыденной эпиграммы, Ходасевич донес даже до двадцатого века замысловатость и нежную грубость простонародного московского говорка, каким пользовались в барских литературных кругах прошлого века. Стихи его очень народны, очень литературны и очень изысканны.

Напряженный интерес ко всей русской поэзии в целом, начиная от мощно неуклюжего Державина до Эхила русского ямбического стиха – Тютчева, предшествовал футуризму. Все старые поэты в ту пору, приблизительно перед началом мировой войны, показались внезапно новыми. Лихорадка переоценки и поспешного исправления исторической несправедливости и короткой памяти охватила всех. В сущности, тогда вся русская поэзия новой пытливости и обновленному слуху читателя предстала как заумная. Революционная переоценка прошлого предшествовала созидательной революции. Утверждение и оправдание настоящих ценностей прошлого столь же революционный акт, как создание новых ценностей.

Но, к величайшему сожалению, память и дело быстро разошлись, не пошли рука об руку. Будущники и пассажиры очень быстро очутились в двух враждующих станах. Будущники огульно отрицали прошлое; однако это отрицание было не чем иным, как диетой. Из соображений гигиены они запрещали себе чтение старых поэтов или

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru читали их под сурдинку, не признаваясь в этом публично. Точно такую же диету прописали себе и пассажиры. Я решаюсь утверждать, что многие почтенные литераторы до последнего времени, когда они были к этому вынуждены, не читали своих современников.

Казалось, никогда еще история литературы не показывала такой непримиримой вражды и непонимания. Какая-нибудь вражда классиков с романтиками – детская игра по сравнению с развернувшейся в России пропастью. Но очень скоро подоспел критерий, позволяющий разобраться в страстной литературной тяжбе двух поколений: кто не понимает нового, тот ничего не смыслит в старом, а кто смыслит в старом, тот обязан понимать и новое. Все несчастье, когда вместо настоящего прошлого с его глубокими корнями становится «вчерашний день». Этот «вчерашний день» – легко усваиваемая поэзия, отгороженный курятник, уютный закуток, где кудахчут и топчутся домашние птицы. Это не работа над словом, а скорее отдых от слова.

Границы такого мира, уютного отдохновения от деятельной поэзии, сейчас определяются приблизительно Ахматовой и Блоком, и не потому, чтобы Ахматова или Блок после необходимого отбора из их произведений оказались плохи сами по себе, ведь Ахматова и Блок никогда не предназначались для людей с отмирающим языковым сознанием. Если в них умирало языковое сознание эпохи, то умирало славной смертью.

Это было то, «что в существе разумном мы зовем – возвышенной стыдливостью страданья», а никак не закоренелая тупость, граничащая с злобным невежеством их присяжных критиков и поклонников. Ахматова, пользуясь чистейшим литературным языком своего времени, применяла с исключительным упорством традиционные приемы русской, да и не только русской, а всякой вообще народной песни. В ее стихах отнюдь не психологическая изломанность, а типический параллелизм народной песни с его яркой асимметрией двух смежных тезисов, по схеме: «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Отсюда двусторчатая строфа с неожиданным выпадом в конце. Стихи ее близки к народной песне не только по структуре, но и по существу, являясь всегда, неизменно «причитаниями». Принимая во внимание чисто литературный, сквозь стиснутые зубы процеженный, словарь поэта, эти качества делают ее особенно интересной, позволяя в литературной русской даме двадцатого века угадывать бабу и крестьянку.

Блок – сложнейшее явление литературного эклектизма, – это собиратель русского стиха, разбросанного и растерянного исторически разбитым девятнадцатым веком. Великая работа собирания русского стиха, произведенная Блоком, еще не ясна для современников и только инстинктивно чувствуется ими как певучая сила. Собирательная природа Блока, его стремление к централизации стиха и языка, напоминает государственное чутье исторических московских деятелей. Это властная, крутая рука по отношению ко всякому провинциализму: все для Москвы, то есть в данном случае для исторически сложившейся поэзии традиционного языка государственника. Футуризм весь в провинциализмах, в удельном буйстве, в фольклорной и этнографической разноголосице. Поищите-ка ее у Блока! Поэтически его работа шла вразрез с историей и служит доказательством тому, что государство языка живет своей особой жизнью.

В сущности, футуризм должен был направить свое острие не против бумажной крепости символизма, а против живого и действительно опасного Блока. И если он этого не сделал, то лишь благодаря внутренне свойственным ему пиетету и литературной корректности.

Блоку футуризм противопоставил Хлебникова. Что им сказать друг другу? Их битва продолжается и в наши дни, когда нет в живых ни того, ни другого. Подобно Блоку, Хлебников мыслил язык как государство, но отнюдь не в пространстве, не географически, а во времени. Блок – современник до мозга костей, время его рухнет и забудется, а все-таки он останется в сознании поколений современником своего времени. Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или «Слово о полку Игореве». Поэзия Хлебникова идиотична – в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова.

Современники не могли и не могут ему простить отсутствия у него всякого намека на аффект своей эпохи. Каков же должен был быть ужас, когда этот человек, совершенно не видящий собеседника, ничем не выделяющий своего времени из

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru тысячелетий, оказался к тому же необычайно общительным и в высокой степени наделенным чисто пушкинским даром поэтической беседы-болтовни. Хлебников шутит – никто не смеется. Хлебников делает легкие изящные намеки – никто не понимает.

Огромная доля написанного Хлебниковым – не что иное, как легкая поэтическая болтовня, как он ее понимал, соответствующая отступлениям из «Евгения Онегина» или пушкинскому: «Закажи себе в Твери с пармезаном макарони и яичницу свари». Он писал шуточные драмы – «Мир с конца» и трагические буффонады – «Барышня-смерть». Он дал образцы чудесной прозы – девственной и невразумительной, как рассказ ребенка, от наплыва образов и понятий, вытесняющих друг друга из сознания. Каждая его строчка – начало новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень.

Как бы для контраста, рядом с Хлебниковым насмешливый гений судьбы поставил Маяковского с его поэзией здравого смысла. Здравый смысл есть во всякой поэзии. Но специальный здравый смысл – не что иное, как педагогический прием. Школьное преподавание, внедряющее заранее известные истины в детские головы, пользуется наглядностью, то есть поэтическим орудием. Патетика здравого смысла есть часть школьного преподавания. Заслуга Маяковского в поэтическом усовершенствовании школьного преподавания – в применении могучих средств наглядного обучения для просвещения масс. Подобно школьному учителю, Маяковский ходит с глобусом, изображающим земной шар, и прочими эмблемами наглядного метода. Отвратительную газету недавней современности, в которой никто ничего не мог понять, он заменил простой здоровой школой. Великий реформатор газеты, он оставил глубокий след в поэтическом языке, донельзя упростив синтаксис и указав существительному почетное и первенствующее место в предложении. Сила и меткость языка сближают Маяковского с традиционным балаганным раешником.

И Хлебников, и Маяковский настолько народны, что, казалось бы, народничеству, то есть грубо подслащенному фольклору, рядом с ними нет места. Однако он продолжает существовать в поэзии Есенина и отчасти Клюева. Значение этих поэтов – в их богатых провинциализмах, сближающих их с одним из основных устремлений эпохи.

Совершенно в стороне от Маяковского стоит Асеев. Он создал словарь квалифицированного техника. Это поэт-инженер, специалист, организатор труда. На Западе таковые, то есть инженеры, радиотехники, изобретатели машин, поэтически безмолвствуют или читают франсуа Коппе. Для Асеева характерно, что машина, как целесообразный снаряд, кладется им в основу стиха, вовсе не говорящего о машине. Смыкание и размыкание лирического тока дает впечатление быстрого перегорания и сильного эмоционального разряда. Асеев исключительно лиричен и трезв в отношении к слову. Он никогда не поэтизирует, а просто прокладывает лирический ток, как хороший монтер, пользуясь нужным материалом.

Сейчас плотины, искусственно задерживающие развитие поэтического языка, уже рухнули, и всякое вылощенное и мундирное новаторство является ненужным и даже реакционным.

Собственно творческой в поэзии является не эпоха изобретения, а эпоха подражания. Когда требники написаны, тогда-то и служить обедню. Последним выпущенным для всеобщего обихода и пользования российским поэтическим требником была «Сестра моя – жизнь» Пастернака. Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии.

Пастернак не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой языком. Этой новой гармонией можно высказать все, что угодно, – ею будут пользоваться все, хотя бы они того или не хотят, потому что отныне она – общее достояние всех русских поэтов.

До сих пор логический строй предложения изживался вместе с самим стихотворением, то есть был лишь кратчайшим способом выражения поэтической мысли. Привычный логический ход от частого поэтического употребления стирается и становится незаметным как таковой. Синтаксис, то есть система кровеносных сосудов стиха, поражается склерозом. Тогда приходит поэт, воскрешающий девственную силу логического строя предложения. Именно этому удивлялся в Батюшкове Пушкин, и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
своего Пушкина ждет Пастернак.

Андрей Белый. Записки чудака
Т. II. Издание «Геликон». Берлин, 1922 г.

Русский символизм жив. Русский символизм не умер. Пифон клубится. Андрей Белый продолжает славные традиции литературной эпохи, когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана «Прага», воспринимался как мистическое явление, двойник, и порядочный литератор стеснялся лечь спать, не накопив за день пяти или шести «ужасиков».

В послесловии к «Запискам чудака» Белый оговаривается, что он написал заведомо плохую книгу: признание в устах автора почти всегда не искреннее; и действительно, тут же следует – «но зато книга моя необыкновенно правдива». Искренность книги Белого – вопрос, лежащий вне литературы и вне чего бы то ни было общезначимого. Плохая книга – всегда литературное и социальное преступление, всегда ложь. Приемы, которыми написана книга «Записки чудака», далеко не новые и не представляют собой откровения: это последовательное и карикатурное развитие худших качеств ранней прозы Андрея Белого, грубой, отвратительной для слуха музыкальности стихотворения в прозе (вся книга написана почти гекзаметром), напыщенный, апокалиптический тон, трескучая декламация, перегруженная астральной терминологией вперемежку с стертыми в пяточок красотами поэтического языка девятисотых годов.

В книге можно вылущить фабулу, разгребая кучу словесного мусора: русский турист, застигнутый войной в Швейцарии, строит Иоаннов храм теософской мудрости, швейцарцы, обратив внимание на подозрительного иностранца, высылают его, и, преследуемый шпиономанией, он вполне благополучно возвращается через Англию и Норвегию в Россию. Но фабула в этой книге просто заморыш, о ней и говорить не стоило бы; хотя жадно отдыхаешь на всякой конкретности, будь то описание британского шлика, пароходного табль-д'ота или просто человеческое слово, верно записанное. Книга хочет поведать о каких-то огромных событиях душевной жизни, а вовсе не рассказать о путешествии. Получается приблизительно такая картина: человек, переходя улицу, расшибся о фонарь и написал целую книгу о том, как у него искры посыпались из глаз. Книжка Белого – в полном согласии с немецкими учебниками теософии, и бунтарство ее пахнет ячменным кофе и здоровым вегетарианством. Теософия – вязаная фуфайка вырождающейся религии. Издали разит от нее духом псевдонаучного шарлатанства. От этой дамской ерунды с одинаковым презрением отшатываются и профессиональные почтенные мистики, и представители науки.

Что за безвкусная нелепая идея строить «храм всемирной мудрости» на таком неподходящем месте? Со всех сторон швейцарцы, пансионеры и отели; люди живут на чеки и поправляют здоровье. Самое благополучное место в мире. Чистенький нейтральный кусочек земли и в то же время в сытом своем международном благополучии самый нечистый угол Европы. И на этом-то месте, среди фамильных пансионеров и санаторий, строится какая-то новая София. Ведь нужно было потерять всякое чутье значительности, всякий такт, всякое чувство истории, чтобы додуматься до такой нелепицы. Отсутствие меры и такта, отсутствие вкуса – есть ложь, первый признак лжи. У Данта одного душевного события хватило на всю жизнь. Если у человека три раза в день происходят колоссальные душевные катастрофы, мы перестаем ему верить, мы вправе ему не верить – он для нас смешон. А над Белым смеяться не хочется и грех: он написал «Петербург». Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и сильнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого. И если он обратил свое мышление, свою тревогу, свой человеческий и литературный стиль в нелепый и безвкусный танец, тем хуже для него. Танцующая проза «Записок чудака» – высшая школа литературной самовлюбленности. Рассказать о себе, вывернуть себя наизнанку, показать себя в четвертом, пятом, шестом измерении. Другие символисты были осторожнее, но в общем русский символизм так много и громко кричал о «несказанном», что это «несказанное» пошло по рукам, как бумажные деньги. Необычайная свобода и легкость мысли у Белого, когда он в буквальном смысле слова пытается рассказать, что думает его селезенка, или: «событие неопишуемой важности заключалось в том, каким образом я убедился, что этот младенец есть я» (младенец, разумеется, совершенно иносказательный и отвлеченный). Основной нерв прозы Белого – своеобразное стремление к изяществу, к танцу, к пируэту, стремление, танцующая, объять необъятное. Но отсутствие всякой стилистической мысли в его новой прозе делает ее чрезвычайно элементарной, управляемой двумя или тремя законами. Проза

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
асимметрична: ее движения – движения словесной массы – движение стада, сложное и ритмичное в своей неправильности; настоящая проза – разноречивой, разлад, многоголосие, контрапункт; а «Записки чудака» – как дневник гимназиста, написанный полустихами.

В то время как в России ломают головы, как вывести на живую дорогу освобожденную от лирических пут независимую прозаическую речь, в Берлине в 1922 году появляется в издании «Геликона» какой-то прозаический недомерок, возвращающий к «Симфониям». «Записки чудака» свидетельствуют о культурной отсталости и запущенности берлинской провинции и художественном одичании даже лучших ее представителей.

Холодное лето

Четверка коней Большого театра... Толстые дорические колонны... Площадь оперы – асфальтовое озеро, с соломенными всплывками трамваев, – уже в три часа утра разбуженное цоканьем скромных городских коней...

Узнаю тебя, площадь Большой Оперы, – ты пуповина городов Европы, – и в Москве не лучше и не хуже своих сестер.

Когда из пыльного урочища «Метрополя» – мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, – я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен.

Маленькие продавщицы духов стоят на Петровке, против Мюр-Мерилиза, – прижавшись к стенке, целым выводком, лоток к лотку. Этот маленький отряд продавщиц – только стайка. Воробынная, курносая армия московских девушек: милых трудящихся машинисток, цветочниц, голоножек – живущих крохами и расцветающих летом...

В ливень они снимают башмачки и бегут через желтые ручьи, по красноватой глине размытых бульваров, прижимая к груди драгоценные туфельки-лодочки – без них пропасть: холодное лето. Слово мешок со льдом, который никак не может растаять, спрятан в густой зелени Нескучного и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве...

Вспоминаю ямб Барбье: «Когда тяжелый зной прожог большие камни». В дни, когда рождалась свобода – «эта грубая девка, бастильская касатка», – Париж бесновался от жары – но жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробыным холодком в июле...

А я люблю выбежать утром на омытую светлую улицу, через сад, где за ночь намело сугробы летнего снега, перины пуховых одуванчиков, – прямо в киоск, за «Правдой».

Люблю, постукивая пустым жестяным бидоном, как мальчишка, путешествовать за керосином – не в лавку, а в трущобу. О ней стоит рассказать: подворотня, потом налево, грубая, почти монастырская лестница, две открытые каменные террасы; гулкие шаги, потолок давит, плиты разворочены; двери забиты войлоком; протянуты снасти бечевки; лукавые заморенные дети в длинных платьях бросаются под ноги – настоящий итальянский двор. А в одно из окошек из-за кучи барахла всегда глядит гречанка красоты неопишуемой, из тех лиц, для которых Гоголь не щадил трескучих и великолепных сравнений.

Тот не любит города, кто не ценит его рубища, его скромных и жалких адресов, кто не задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек, кто не заглядывался в каторжном дворе Вхутемаса на занозу в лазури, на живую, животную прелесть аэроплана...

Тот не любит города, кто не знает его мелких привычек: например, когда пролетка взбирается на горб Камергерского, обязательно, куда лошадь идет шагом, за вами следуют нищие и продавцы цветов...

На большой трамвайной передышке, что на Арбате, – нищие бросаются на неподвижный вагон и собирают свою дань, – но если вагон идет пустой – они не двигаются с места, а, как звери, греются на солнце под навесом трамвайных уборных, и я

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
видел, как слепцы играли со своими поводьями.

А продавцы цветов, отойдя в сторонку, поплеывают на свои розы.

Вечером начинается игрище и гульбище на густом, зеленом Тверском бульваре – от Пушкина до тимирязевского пустыря. Но до чего много неожиданностей таят эти зеленые ворота Москвы!

Мимо вечных, несменяемых бутылок на лотерейных столиках, мимо трех слепеньких, в унисон поющих «Талисман», к темной куче народа, сгрудившейся под деревом...

На дереве сидит человек, одной рукой поднимает на длинном шесте соломенную кошелку, а другой отчаянно трясет ствол. Что-то вьется вокруг макушки. Да это пчелы! Откуда-то слетел целый улей с маткой и сел на дерево. Упрямый улей коричневой губкой висит на ветке, а странный пасечник с Тверского бульвара все трясет и трясет свое дерево и подставляет пчелам кошелку.

Хорошо в грозу в трамвае «А» промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу. Город раздается у Спасителя ступенчатыми меловыми террасами, меловые горы врываются в город вместе с речными пространствами. Здесь сердце города раздувает мехи. И дальше Москва пишет мелом. Все чаще и чаще выпадает белая кость домов. На свинцовых досках грозы сначала белые скворешники Кремля и, наконец, безумный каменный пасьянс Воспитательного дома, это опьянение штукатуркой и окнами; правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величья.

Это в Москве смертная скука прикидывалась то просвещеньем, то оспопрививаньем, – и как начнет строиться, уже не может остановиться и всходит опарой этажей.

Но не ищу следов старины в потрясенном и горячем городе: разве свадьба проедет на четырех извозчиках – жених мрачным именинником, невеста – белым куколом, разве на середину пивной, где к трехгорному подают на блюдечке моченый горох с соленой корочкой, выйдет запевала, как дюжий диакон, – и запоет вместе с хором черт знает какую обедню.

Сейчас лето – и дорогие шубы в ломбарде – рыжий, как пожар, енот и свежая, словно только что выкупанная, куница рядом лежат на столах, как большие рыбы, убитые острогой...

Люблю банки – эти зверинцы менял, где бухгалтеры сидят за решеткой, как опасные звери...

Меня радует крепкая обувь горожан и то, что у мужчин серые английские рубашки и грудь красноармейца просвечивает, как рентгеном, малиновыми ребрами.

Сухаревка

Сухаревка начинается не сразу. Подступы к ней широки и плавны и постепенно втягивают в буйный торг, в свою свирепую воронку. Шершавее мостовая, буграми и ухабами вскипает улица. Видно, невтерпеж румяной бабище-торговле – еще не привела к себе, а уже раскидала свои манатки прямо на крупной мостовой: книжки веерами, игрушки, деревянные ложки – что полегче и в руках не горит: пустяки, равнодушный товар.

На отлете базара сидят на кочках цирюльники, бредут двужильных страстотерпцев. Табуретки что каленые уголья, – а не вскочишь, не убежишь!

Под самой Сухаревой башней, под башней-барыней, из нежного и розового кирпича, под башней-индюшкой, дородной, как сорокапятилетняя императрица, привязанная к чахлому деревцу холмогорская корова. Когда строили башню, кончался «огородный» XVII век. Построил ее Петр с перепугу, после дурного сна, вывел на огородной земле диковинную гражданскую постройку: не цейхгауз, не каланчу, а нечто сухопутное до мозга костей, где обучали морскому делу.

Сухаревка – земля огородная. Ничего, что ее затянуло камнем, под ним чувствуется скупой и злой московский суглинок, и торговля бьет из-под земли, как порождение самой почвы.

Дикое зрелище базар посередине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, – до кровавой пены;

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
здесь люди – тесто, а дрожжи – вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить
чьи-то загребистые руки.

Как широкая баба, навалится на тебя Сухаревка – недаром славится Москва «своих базаров бабьей шириной»; плещется злой, мелководный торг в зелено-желтых трактирных берегах; слева же подковой разбежался пустой шереметевский двор, здание легкое, крылатое, как белая девическая ступня.

Базар, как поле, засеянное вразбивку то рожью, то овсом, то гречью, – размежеван, разлинован, изрезан тропинками, и, закрыв глаза, по запахам, по испарениям можно сказать, какие грядки ты проходишь.

То запах свежей убоины мускусом и здоровьем ударяет в голову – запах животных трупов, – не страшный, потому что мы не хотим понимать его значение; то квадратный запах дубленой кожи, запах ярма и труда, – и тот же, но смягченный и плутоватый запах сапожного товара; то метелочками петрушки и сельдерея щекочущий невинный запах зеленых рядов, сытый и круглый запах рядов молочных.

Я видел тифлисский майдан и черные базары Баку, разгоряченные, лукавые, но в подвижной и страстной выразительности всегда человеческие лица грузинских, армянских и тюркских купцов, – но нигде никогда не видел ничего похожего на ничтожество и однообразие лиц сухаревских торгашей. Это какая-то помесь хорька и человека, подлинно «убогая» славянина. Слово эти хитрые глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы, этот кустарный румянец на щеку выдавались им всем поровну в свертках оберточной бумаги.

Муж от долгого сожительства становится похожим на жену. Если присмотреться – и купец похож на свой товар: всех спокойней и благообразней лабазники: все текуче – один хлеб остается.

Лица мясников говорят о сметке первобытного хирурга. Они сложнее, подвижнее, добродушнее: мускульная игра, неизбежно сопровождающая их работу свежевания туш, и рубка сплеча, на глазомер, – наложили на них свой отпечаток.

Женщины-мануфактурщицы, торгующие булавочной мелочью, заострили лица и поджали тонкие губы.

Тут же шныряют какие-то кавказские чертенята, с блаженным смехом ковыряющие ваксу.

Медленно раскачивается Сухаревка, входит в раж, пьянеет от выкриков, от хлыстовского ритуала купли-продажи. Уже кидает человека из стороны в сторону – только выбрался он из ручного торга, преследуемый сомнительными двуногими лавками, как понесло его одним из порожистых, говорливых ручейков и прибило к тупику, – оглушенный граммофонами, он уже шагает через горячие примусы, через рассыпанный на земле скобяной товар, через книги.

Книги. Какие книги, какие заглавия: «Глаза карие, хорошие...», «Талмуд и евреи», неудачные сборники стихов, чей детский плач раздался пятнадцать лет тому назад...

Тут же – уголок, напоминающий пожарище, – мебель, как бы выброшенная из горящего жилья на мостовую, дубовые, с шахматным отливом столы, ореховые буфеты, похожие на женщин в чепцах и наколках, ядовито-зеленые турецкие диваны, оттоманки, рассчитанные на верблюда, мещанские стулья с прямыми чахоточными спинками.

Удивленный человек метнулся обратно – чуть не наступил на белую пену кружевных оборок, взбитых, как сливки, и, сам не зная как, очутился среди улья гармонистов, словно подыгрывающих к чьей-то свадьбе вежливым извиняющимся движением, разворачивающим воркующие лады...

Есть что-то дикое в зрелище базара. Базар всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием.

Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место... Если дать базару волю, он перекинется в город и город обрстет шерстью.

Но русские базары, как Сухаревка, особенно жестоки и печальны в своем свирепом многолюдстве.

Русского человека тянет на базар не только купить и продать, – а еще вывалиться в народе, дать работу локтям, подставить спину под веник ласковой брани, божбы и матерщины; он любит торговые петушинные бои и крепкое слово, пущенное вдогонку. В городе говорят лениво. Здесь – речь, говорок – средство острой защиты и нападения, – ручной хорек, шныряющий под лавками; базарная речь, как хищный зверек, сверкает маленькими белыми зубками.

Такие базары, как Сухаревка, – возможны лишь на материке – на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, к которой привыкли, которую топчут, как мат, которую не с чем сравнить, – возможен этот расплывшийся торг, кроющий матом эту самую землю.

Несколько пронзительных свистков – и все прячется, упаковывается, уволокивается – и площадь пустеет с той истерической поспешностью, с какой пустыли бревенчатые мосты, когда по ним проходила колючая метла страха.

Возвращение

В августе девятнадцатого года ветхая плоскодонная баржа, которая раньше плавала только по Азову, тащила нас из Феодосии в Батум. Хитрый полковник дал нам визы и отпустил к веселым грузинам, твердо рассчитывая получить нас обратно, ибо, как потом оказалось, были сделаны самые хозяйственные распоряжения на этот счет. Чистенькая морская контрразведка благословила наш отъезд. Мы сидели на палубе вместе с купцами и подозрительными дагестанцами в бурках, пароход уже отчалил, обогнул феодосийский мол, но забыл свою подорожную и вернулся обратно. Никогда больше мне не встречалось, чтобы пароход что-нибудь забывал, как рассеянный человек.

Пять суток плыла азовская скорлупа по теплому соленому Понту, пять суток на карачках ползали мы через палубу за кипятком, пять суток косились на нас свирепые дагестанцы: «Ты зачем едешь?» – «У меня в Тифлисе родные». – «А зачем они в Тифлисе?» – «У них там дом». – «Ну, ничего, поезжай, всяк человек свой дом имеет. На, пей», – и протягивал стаканчик с каким-то зверобоем, от которого делались судороги и молния раздирала желудок.

Вечером на пятый день пришли в Батум, стали на рейде. Город казался расплавленным и раскаленным массой электрического света, словно гигантское казино, горящее электрическими дугами, светящийся улей, где живет чужой и праздный народ. Это после облупленной полутемной Феодосии, где старенькая Итальянская улица, некогда утеха южных салоппниц, где Гостиный двор с колоннадкой времен Александра I и по ночам освещены только аптеки и гробовщики. Утром рассеялось наваждение казино и открылся берег удивительной нежности холмистых очертаний, словно японская прическа, чистенький и волнистый, с прозрачными деталями, карликовыми деревцами, которые купались в стеклянном воздухе и, оживленно жестикулируя, карабкались с перевала на перевал. Вот она, Грузия! Сейчас будут пускать на берег.

На берег сойти не мешают, только какие-то студенты, совсем такие, как у нас распорядители благотворительных вечеров, почему-то всегда это были грузины, отобрали на сходнях паспорта: дескать, всегда успеете их получить, а нам так удобнее. Без паспортов в Батуме было ничуть не плохо. Зачем паспорта в свободной стране?

Нигде человек не окажется бездомным. Мы опекали в дороге двух почтенных старушек, выгружали их замысловатый многоместный багаж, и вот мы в кругу уютной батумской семьи, душой которой является «дядя». Этот дядя, собственно, живет в Лондоне и едет сейчас в Константинополь, – он такой кругленький и приятный, от него так пахнет английским мылом и табаком «Capstain», будто сам биржевой курс принял образ человека и сошел на землю сеять радость и благоволение между людьми. После обеда симпатичное семейство отпустило нас в город. Ничто не сравнится с радостным ощущением, когда после долгого морского пути земля еще плывет под ногами, но все-таки это земля, и смеешься над обманом своих чувств и топчешь ее, торжествуя.

Как иностранцы, мы, конечно, сразу попали впросак: долго спрашивали у прохожих, где кафе «Маццони», между тем так называется там по-итальянски простокваша и вывешена на каждой кофейне. Наконец мы нашли свое «Маццони» – дворик, усыпанный щепнем, с зонтиками-грибами по столикам, и увенчали свой день чашечкой турецкого

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru кофе с рюмкой жидкого золота – горячего мартеля. Здесь приключилась встреча. Долговязый А., закованный в чудовищный серебряный браслет. Он спяну полез целоваться, но, узнав, что мы едем в Москву, сразу помрачнел и исчез.

На другой день отправились получать паспорта, чтобы все было в порядке. На самой чистенькой улице, где пахнет порядочностью, где остролистые тропические деревья стесняются, что они растут не в кадках, нас принял любезный комиссар и осведомился о наших намереньях. Мне показалось, что мы очаровали друг друга непринужденной искренностью и доброжелательством. Он вникал во все, беспокоился, не потеряюсь ли я без друзей в чужой стране. Я старался его успокоить – у меня есть в Грузии друзья: называю простодушно Сергея Городецкого – он очень обрадовался, как же, как же, мы его знаем, мы его недавно выслали из Грузии; называю еще одно имя, кажется Рюрика Ивнева, – он опять радуется: оказывается, они его тоже знают и тоже выслали. Теперь, говорит, вам осталась одна маленькая формальность – получить визу генерал-губернатора, это совсем близко, вам сейчас покажут дорогу.

Пошли к губернатору, а у проводника карман оттопырен, – кто из нас был поопытнее, сразу оценил эту подробность, – этот карман означал как бы инкубационный период лишения свободы, но мы шли навстречу неизвестности с чистым и невинным сердцем. К генерал-губернатору нас провели без очереди, и это был дурной знак. Он похож на итальянского генерала: высокий и сухопарый, в мундире с стоячим воротником, расшитым какими-то лаврами. Вокруг него тотчас забегали, закудахтали, залопотали люди неприятной наружности. И в этом птичьей клетке все время повторялось одно понятное слово, сопровождаемое энергичным жестом и выпученными глазами: «большевик», «большевик».

Генерал объявил: «Вам придется ехать обратно». – «Почему?» – «У нас хлеба мало». – «Но мы здесь не остаемся, мы едем в Москву». – «Нет, нельзя, – у нас такой порядок: раз вы приехали из Крыма, значит, и поезжайте в Крым».

Дальнейшие разговоры были бесполезны. Аудиенция окончилась. Решение относилось к целой группе лиц, не знакомых друг с другом. Видимо, не доверяли, что мы сами поедem в Крым. Мы перешли на явно полицейское попечение. Полицейские же считали нас группой заговорщиков, связанных круговой порукой, и, когда один в суматохе убежал, с ножом к горлу приставали, куда скрылся наш товарищ.

В самой гуще батумского порта, около таможни, там, где грязные турецкие кофейни, попыхивая угольками, выбросили на улицу табуретки с кальянами и дымящимися чашками, там, где контора «Ллойд-Триестино», там, где персы спят на своих сарпинках в прохладных лавках, где качаются фелюги и горят маки турецких флагов, где муши с лицами евангельских разбойников тащат на спине чудовищные туки с коврами и мучные мешки, где молодые коммерсанты нюхают воздух, там возвышается ящик портового участка: внутри пассаж, бывшее торговое помещение, с одной только единственной камерой, на разведку, для всех высылаемых – «откуда и зачем приехал».

О тюрьмы, тюрьмы! Узилища с дубовыми дверями, громяющими замками, где узник кормит и дрессирует паука и карабкается на амбразуру окна, чтобы выпить воздуха и света в маленьком крепком окошке; романтические тюрьмы Сильвио Пеллико, любезные хрестоматиям, с переодеванием, кинжалом в хлебе, дочерью тюремщика и визитами священника; милые упадочно-феодалные тюрьмы Франсуа Виллона, – тюрьмы, тюрьмы, все вы нахлынули на меня, когда захлопнулась гремучая дверь и я увидел следующую картину: в пустой и грязной камере по каменному полу ползал молодой турок, сосредоточенно чистил все щели и углы зубной щеткой. Ему очень не понравилось, что мы пришли и помешали ему, и он пробовал нас выгнать, хотя это было совершенно невозможно. Здесь мы должны были ждать парохода, который доставит нас в Крым. Из окошка были видны нежные «японские» холмы, целый лес моторных парусников и пре...

...вооруженным спутником я пошел в русскую газету, но газета, как на грех, оказалась врангелевской, и там сказали: «Если вы не сделали ничего дурного, почему бы вам не поехать в Крым?» После долгих мытарств мы нашли другую, более подходящую газету. Редактор, увидев меня, всплеснул руками и позвонил по телефону какому-то «Веньямину Соломоновичу». Этот-то Веньямин Соломонович и оказался настоящим гражданским генерал-губернатором Чиквишвили, я же попал в лапы к его военному заместителю Мдивани. Человек с иконописным интеллигентским лицом и патриархальной длинной козлиной бородой усадил меня в кресло, прогнал

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru часового лаконическим «Пошел вон» и тотчас, протягивая мне какую-то тетрадку, заговорил: «Ради бога, что вы думаете об этом произведении, этот человек нас буквально компрометирует». Тетрадка оказалась альбомом стихотворений поэта Мазуркевича, посвященных грузинским меньшевистским правителям. Каждое начиналось приблизительно так:

О ты, великий Чиквишвили,
О ты, Жордания, надежда всего мира...
«Скажите, – продолжал Чиквишвили, – неужели он у вас считается хорошим поэтом? Ведь он получил Суриковскую премию...»

Художественный театр и слово
Художественный театр – дитя русской интеллигенции, плоть от плоти ее, кость от кости.

Театр русской интеллигенции! Это уже внутреннее противоречие! Такого театра быть не может! А между тем он был! Больше – он еще есть. С детства я помню благоговейную атмосферу» которой был окружен этот театр.

Сходить в «Художественный» для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь.

Здесь русская интеллигенция отправляла свой самый высокий и нужный для нее культ, облекая его в форму театрального представления. Общество, которое всем своим складом было враждебно всякому театру, строило свой театр из всего, что ему было дорого; но если сложить в одно место все, что любишь, даже самое дорогое, все-таки театра не получится, и любовь русской интеллигенции не стала театром.

Для всего поколения характерна была литература, а не театр. Это было типично литературное, даже «литераторское» поколение. Театр понимали исключительно как истолкование литературы. В театре видели толмача литературы, как бы переводчика ее на другой, более понятный и уже совершенно свой язык.

Источником этого театра было своеобразное стремление прикоснуться к литературе, как к живому телу, осязать ее и вложить в нее персты.

Пафосом поколения – и с ним Художественного театра – был пафос фомы неверующего. У них был Чехов, но Фома-интеллигент ему не верил. Он хотел прикоснуться к Чехову, осязать его, увериться в нем. В сущности это было недоверие к реальности даже любимых авторов, к самому бытию русской литературы.

Когда художественники привезли «Вишневый сад» в один большой русский провинциальный город, по городу распространилась весть, что труппа не захватила с собой «пузатого комода». С искренним огорчением передавали друг другу обыватели эту подробность. Без комода ведь уже не то. Пальцам «фомы» уже нельзя будет к нему прикоснуться.

Что такое знаменитые «паузы» «Чайки» и других чеховских постановок?

Не что иное, как праздник чистого осязания. Все умолкает, остается одно безмолвное осязание.

Путь к театру шел от литературы, но в литературу не верили как в бытие, слова не слышали и не осязали.

К литературе требовался толмач, переводчик. Эту роль навязали театру.

Вся деятельность Художественного театра прошла под знаком недоверия к слову и жажды внешнего осязания литературы.

Начиная от «Федора Иоанновича», кончая «Лизистратой», это один цельный путь. Доходило до курьезов: елизаветинский Шекспир на античный лад.

По-настоящему буйствовал народ, по-настоящему плакали и пели, и стрелялись. Но я помню «На дне». Ведь все-таки это был ситцевый и трущобный маскарад. Чистенький притон. Прилизанная трущоба. Осязать смрад и грязь им не удалось, как и многое другое. По-настоящему они осязали только себя.

Я говорю о Художественном театре без враждебности и с уважением: он не мог быть иным. Он был расплатой целого поколения за словесную его немоту, за врожденное косноязычие, за недоверие к слову. Вместо того, чтобы читать в слове, искали, что просвечивает за ним (теория сквозного действия). Уж не проще ли было заменить текст «Горе от ума» собственными «психологическими» ремарками и домыслами?

Никогда не читали текст. Всегда свои домыслы. Истинный и праведный путь к театральному осязанию лежит через слово, в слове скрыта режиссура. В строении речи, стиха или прозы дана высшая выразительность.

Они этого не знали. Они исправляли слово, помогали ему. Они ошибались, запинаясь и путаясь в пушкинских стихах, беспомощно размахивая костылями декламации – выразительного чтения.

Несколько раз переделывали актерскую «азбуку чувств» и все-таки играли не правду, а актерский шифр.

Бытовой театр, М.Х.Т. всегда был условным, театром-толмачом, переводчиком текста на актерскую азбуку чувств.

Вспоминаю «Месяц в деревне». Кажется, пустяк. Легкая безделушка. А как неестественно, развязно звучали голоса Верочки и других, с растяжкой, с истерическим смехом.

В «Лизистрате» все женщины читают по-старому, по актерской азбуке.

Почти все мужчины освободились от нее, и не случайно движения всех женщин плохи, будто сошли с картины Семирадского, а движения мужчин превосходны.

В театре для того, чтобы двигаться, нужно говорить, потому что он весь дан в слове.

К юбилею Ф. К. Сологуба

Сегодня Ленинград, а с ним вся литературная Россия, празднует сорокалетие литературной деятельности Федора Кузьмича Сологуба (Тетерникова). Поэзия Сологуба связана с глухим старческим временем – восьмидесятыми и девяностыми годами в истоках своих, и с отдаленнейшим будущим связана она своей природой.

Среди всех стихов, какие печатали сверстники молодого Сологуба, стихи его сразу выделились особой твердостью, уверенной гармонией, высокой и человеческой ясностью.

Может быть, впервые после долгого, долгого перерыва в русских стихах прозвучало волевое начало – воля к жизни, воля к бытию.

Среди полусуществований, среди ублюдков литературы и жизни появилась личность цельная, жаждущая полноты бытия, трепещущая от сознания своей связи с миром.

В те печальные годы ничто не называлось своим именем: проза называлась «беллетристикой» и жалкое поэтизирование называлось поэзией. Не было недостатка в писателях обличительного склада, кругом раздавалось лирическое нытье. Казалось, в этой обстановке не может быть места не только величию, но даже значительности. Но Сологуб поднял на плечи свои огромную работу, обобщающей силой человеческого духа он поднял современность до значенья эпохи и той же обобщающей силой беспомощный лепет современников возвысил до выразительности вечных, классических формул.

В наследство от прошлого он получил горсточку слов, скудный словарь и немного образов. Но как дитя, играющее камушками, он научил нас играть и этими скудными дарами времени с ясной свободой и вдохновеньем.

Для людей моего поколения Сологуб был легендой уже двадцать лет назад. Мы спрашивали себя: кто этот человек, чей старческий голос звучит с такой бессмертной силой? Сколько ему лет? Где черпает он свою свободу, это бесстрашие, эту нежность и утешительную сладость, эту ясность духа и в самом отчаяньи?

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Сначала, по юношеской своей незрелости, мы видели в Сологубе только утешителя, бормочущего сонные слова, только искусного колыбельщика, который учит забытью, – но чем дальше, тем больше мы понимали, что поэзия Сологуба есть наука действия, наука воли, наука мужества и любви.

Прозрачными горными ручьями текли сологубовские стихи с альпийской тютчевской вершины. Ручейки эти журчали так близко от нашего жилья, от нашего дома. Но где-то тают в розоватом холоде альпийском вечные снега Тютчева. Стихи Сологуба предполагают существование и таяние вечного льда. Там, наверху, в тютчевских Альпах, их причина, их зарождение. Это нисхождение в долину, спуск к жилью и житью снеговых, эфирно-холодных залежей русской поэзии, может быть слишком неподвижных и эгоистических в ледяном своем равнодушии и доступных лишь для отважного читателя. Тают, тают тютчевские снега, через полвека Тютчев спускается к нашим домам: это второй акт, необходимый, как выдыхание после вдыхания, как гласная в слог после согласной, это не переключка и даже не продолжение, а кругооборот вещества, великий оборот естества в русской поэзии с ее Альпами и равнинами.

Не понимаю, отчего
В природе мертвенной и скудной
Воссоздается властью чудной
Единой жизни торжество.

Есть голоса эпох, которые нуждаются в переводчике. Есть косноязычные времена, лишённые голоса. Из косноязычья рождается самый прозрачный голос. От прозрачного отчаяния один шаг до радости. К будущему обращена вся поэзия Сологуба. Он родился в безвременьи и медленно насыщался временем, учился дышать и учил любить.

Внуки и правнуки поймут Сологуба, и поймут по-своему, и для них «Пламенный круг» будет книгой, сжигающей уныние, превращающей нашу косную природу в легкий и чистый пепел.

Федор Кузьмич Сологуб – как немногие – любит все подлинно новое в русской поэзии. Не к перепевам и к застывшим формам он нас зовет. И лучший урок из его поэзии: если можешь, если умеешь, делай новое, если нет, то прощайся с прошлым, но так прощайся, чтобы сжечь это прошлое своим прощанием.

Михоэльс

По деревянным мосткам невзрачного белорусского местечка – большой деревни с кирпичным заводом, пивной, палисадниками и журавлями – пробиралась долгополая странная фигура, сделанная совсем из другого теста, чем весь этот ландшафт. Я смотрел в окно вагона, как этот единственный пешеход черным жуком пробирался между домишками через хлюпающую грязь, с растопыренными руками, и золотисто-рыжим отливали черные полы его сюртука. В движениях его была такая отрешенность от всей обстановки и в то же время такое знание пути, словно он должен пробежать «от» и «до», как заводная кукла.

Эка, подумаешь, невидаль: долгополый еврей на деревенской улице. Однако я крепко запомнил фигуру бегущего реббе потому, что без него весь этот скромный ландшафт лишился оправдания. Случай, толкнувший в эту минуту на улицу этого сумасшедшего, очаровательно нелепого, бесконечно изящного, фарфорового пешехода, помог мне осмыслить впечатление от Государственного еврейского театра, который я видел незадолго в первый раз.

Да, незадолго перед этим на киевской улице я готов был подойти к такому же почтенному бородачу и спросить его: «Не Альтман ли делал вам костюм?» Я спросил бы так без всякой насмешки, очень искренне: у меня перепутались планы...

Какой счастливый Грановский! Достаточно ему собрать двух-трех синагогальных служек с кантором, позвать свата-шатхена, поймать на улице пожилого комиссионера – и вот уже готова постановка, и даже Альтмана, в сущности, не надо.

Так ли это просто? Конечно, не так. Еврейский театр исповедует и оправдывает уверенность, что еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотвореннейшего лапсердака.

Этот парадоксальный театр, по мнению некоторых добролюбовски глубокомысленных критиков объявивший войну еврейскому мещанству и только и существующий для

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru искоренения предрассудков и суеверий, теряет голову, пьянеет, как женщина, при виде любого еврея и сейчас же тянет его к себе в мастерскую, на фарфоровый завод, обжигает и закаляет в чудесный бисквит, раскрашенную статуэтку зеленого шатхена-кузнечика, коричневых музыкантов еврейской свадьбы Радичева, банкиров с бритыми накладными затылками, танцующих, как целомудренные девушки, взявшись за руку, в кружок.

Пластическая слава и сила еврейства в том, что оно выработало и пронесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды, непреходящей, тысячелетней. Я говорю не о покрое одежды, который меняется, которым незачем дорожить, мне и в голову не приходит эстетически оправдывать гетто или местечковый стиль: я говорю о внутренней пластике гетто, об этой огромной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено.

Скрипки подыгрывают свадебному танцу. Михоэльс подходит к рампе и, крадучись, с осторожными движениями фавна, прислушивается к минорной музыке. Это фавн, попавший на еврейскую свадьбу, в нерешительности, еще не охмелевший, но уже раздраженный кошачьей музыкой еврейского менюэта. Эта минута нерешительности, быть может, выразительнее всей дальнейшей пляски. Дробь на месте, и вот уже пришло опьянение, легкое опьянение от двух-трех глотков изюмного вина, но этого уже достаточно, чтобы закружилась голова еврея: еврейский Дионис нетребователен и сразу дарит весельем.

Во время пляски лицо Михоэльса принимает выражение мудрой усталости и грустного восторга, – как бы маска еврейского народа, приближающаяся к античности, почти неотличимая от нее.

Здесь пляшущий еврей подобен водителю античного хора. Вся сила юдаизма, весь ритм отвлеченной пляшущей мысли, вся гордость пляски, единственным побуждением которой, в конечном счете, является сострадание к земле, – все это уходит в дрожание рук, в вибрацию мыслящих пальцев, одухотворенных, как членораздельная речь.

Михоэльс – вершина национального еврейского дендизма – пляшущий Михоэльс, портной Сорокер, сорокалетнее дитя, блаженный неудачник, мудрый и ласковый портной.

А вчера – на этой же сцене англазированные жокейские лапсердаки на стройных девушках-танцовщицах, патриархи, пьющие чай в облаках, как старики на балконе в Гомеле.

ЯХОНТОВ

Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это – «гадкий утенок». Он сам по себе.

Работает Яхонтов почти как фокусник: театр одного актера, человек-театр.

Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, – это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой, словно увязанным в носовой платок портного Петровича, или вынимает его, как фокусник яйцо из цилиндра.

Не случайно Яхонтов и его режиссер Владимирский облюбовали Гоголя и Достоевского, то есть таких писателей, у которых больше всего вкуса к событию, происшествию.

Игра Яхонтова, доведенная Владимирским до высокого графического совершенства, вся проникнута тревогой и ожиданием катастрофы, предчувствием события и грозы.

Наши классики – это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни.

На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Манделштам mandel'shtamjoseph.ru отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова.

Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает циркача на трапеции. Это работа без «сетки». Упасть и сорваться некуда.

Чудаковатый портной Петрович кроит ножницами воздух так, что видишь обрезки материи, чиновничек в ветхой шинелишке семенит по тротуару так, что слышишь щелканье мороза, кучера у костров хлопают в рукавицы, а вдруг на тебя медведем навалится николаевский будочник с алебардой или промаячит с зонтиком ситцевая Машенька из «Белых ночей» у гранитного парапета Фонтанки.

И все это могло быть показано одним человеком, все это течет непрерывно и органически, без мелькания кино, потому что спаяно словом и держится на нем. Слово для Яхонтова – это второе пространство.

В поисках словесной основы для своих постановок Яхонтов и Владимирский вынуждены были прибегнуть к литературному монтажу, то есть искусственному соединению разнородного материала. В некоторых случаях это был монтаж эпохи («Ленин»), где впечатление грандиозности достигается соединением политических речей, отрывков из Коммунистического манифеста, газетной хроники и так далее. В других случаях монтаж Яхонтова – это стройное литературное целое, точно воспроизводящее внутренний мир читателя, где рядом существуют, набега друг на друга и заслоня друг друга, различные литературные произведения. Таков «Петербург» – лучшая работа Яхонтова, сплетенная из обрывков «Шинели» Гоголя, «Белых ночей» Достоевского и «Медного всадника».

Основная тема «Петербурга» – это страх «маленьких людей» перед великим и враждебным городом. В движениях актера все время чувствуется страх пространства, стремление заслониться от набегающей пустоты.

На большой площадке Яхонтов играет в простом пиджаке, пользуясь уже указанными аксессуарами (плед, вешалка и проч.).

Показывая, как портной Петрович облачает Акакия Акакиевича в новую шинель, Яхонтов читает балльные стихи Пушкина – «Я черным соболем одел ее блистающие плечи», подчеркивая этим убожество лирической минуты. В тексте еще рукоплещет раек, но Яхонтов уже показывает гайдуков с шубами или мерзнущих кучеров, раздвигая картину до цельного театра, с площадью и морозной ночью. В каждую данную минуту он дает широко раздвинутый перспективный образ. Редкому актерскому ансамблю удается так наполнить и населить пустую сцену.

Яхонтов при своем необыкновенном чутье к рисунку прозаической фразы ведет совершенно самостоятельно партию чтеца в то время, как режиссер Владимирский зорко следит за игрой вещами, подсказывая Яхонтову рисунок игры – до такой степени четкий и математически строгий, словно он сделан углем.

Яхонтов – единственный из современных русских актеров – движется в слове, как в пространстве. Он играет «читателя».

Но Яхонтов – не чтец, не истолкователь текста. Он – живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся.

В работе Яхонтова и Владимирского есть нечто обязательное для всего русского театра. Это возвращение к слову, воскрешение его самобытной силы и гибкости.

Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово в театре. И все же ее оказалось мало... Яхонтов – один из актеров будущего, и работа его должна быть показана широким массам.

Поэт о себе

Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту... Подобно многим другим, чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается.

Вопрос о том, каким должен быть писатель, – для меня совершенно непонятен: ответить на него то же самое, что выдумать писателя, а это равносильно тому, чтобы написать за него его произведения.

Кроме того, я глубоко убежден, что, при всей зависимости и обусловленности писателя соотношением общественных сил, современная наука не обладает никакими средствами, чтобы вызвать появление тех или иных желательных писателей. При зачаточном состоянии евгеники, всякого рода культурные скрещивания и прививки могут дать самые неожиданные результаты. Скорее возможна заготовка читателей; для этого есть прямое средство: школа.

Адалис. «Власть»
«Советский писатель». Москва, 1934 г.

Пишет Адалис так легко и лихорадочно, как будто карандашом на открытках, начав на одной и продолжая на другой. Кажется, она стоит в зале телеграфа, дожидаясь, пока освободится расщепленное перо на веревочке, или же из междугородней будки, задыхаясь, передает лирическую телефонограмму:

– Достать стихи. Узнать, отчего происходят стихи. Подойти как можно ближе к тем людям и делам, ради которых и благодаря которым пишутся стихи.

Прежде всего необходимо дышать не для себя, не для своей грудной клетки, а для других, для многих, в пределе – для всех. Воздух, который мы в себя вобрали, нам уже не принадлежит, и меньше всего тогда, когда он находится в наших легких.

Второе – и это второе, очевидно, первее первого – это то, что я назвал бы убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать.

И вот мы получили книжечку стихов – сестрински нежных и матерински гордых, товарищески открытых и в то же время деловитых, служебных, озабоченных, командировочно спешных стихов, которые требуют помощи и сами хотят помочь.

Мы должны быть благодарны Адалис за то, что у нее нет собственнического отношения к теме.

Лирическое себялюбие мертво даже в лучших своих проявлениях. Оно всегда обедняет поэта.

Когда я читал книжку Адалис, у меня было ощущение, будто я одновременно нахожусь и в степи, где по жесткой смете «на базе бурого угля» строится новый город, и в Армении на голубых рудниках Арагаца, и на улице Архангельска, где «рабочая ночь» пахнет озоном и северолесом, и в совхозе «Бурное», где сидят в полумраке на соломенных тюфячках за удивительной беседой о социализме и скрипке Гварнери. Адалис говорит:

Так дико я близок с чужими людьми и делами.
Что часто мне кажется, мир есть мое продолженье.
Прелесть стихов Адалис – почти осязаемая, почти зрительная – в том, что на них видно, как действительность, только проектируемая, только задуманная, только начертанная, только начерченная, набегаем, наплывает на действительность уже материальную.

В литературе и в кино это соответствует сквозному плану, когда через контур сюжета или картины уже просвечивает то, что должно наступить.

В лирике это соответствует состоянию человека, который набрел на правильную мысль, уверен, что ее выскажет, именно поэтому боится ее потерять и всех окружающих убедил и заразил своим волнением.

Море приобретает глубокий цвет синей кальки чертежника.

Граница, отделяющая страну от хищных соседей, отмечена и характеризуется мирными новостройками.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Сады, гитары и моря Италии идут на описание шахтерского городка, который
возникает чуть южнее завода.

Сон, виданный в раннем детстве, запах бузины, жары и орехов, красные шары на
спинах выгнутых мостов – вытряхивается из памяти через десятки лет и
продолжается как свежая работа: населяется каменщиками из Тамбова и Торжка,
получает прививку мичуринского винограда, оглашается «безбрежным влажным пением»
во время обеда и отдыха трудящихся.

Дитя не вернется в утробу,
И хлеб не вместится в зерно,
Как слива не втянется в завязь, –
И в этом их тайная честь.
Мы больше не можем обратно
В звериные норы пролезть.
Даже мысль о том, что лирическая работа совершается только поэтами, дика и чужда
для Адалис. Это – тоже звериная нора, куда нельзя залезать обратно.

И вот Адалис всеми силами старается доказать, что за нее лирически думают и
чувствуют все те, кого она называет товарищами, друзьями. Как заводы для
обогащения руды – руды социального переживания, – поставлены у Адалис встречи, и
в еще более глубоком ряду стоят рассказы встреченных о тех других, с кем
сталкивались они. Трое товарищей, которых кто-то приволок к себе в комнату
читать бюллетени о взятии южанами Шанхая, и мимоза, бросавшая в этой комнате
тени на крутящийся потолок, – потолок крутящийся потому, что на улице в это
время пробегали фары первых автомобилей «АМО», и купленный на радостях для
четверых литр столового, чей вкус запомнился вместе с мимозой и Шанхаем, – все
эти элементы не составляют никакой цепи, никакого искусственного сцепления и
могут рассыпаться в любую минуту, потому что сейчас же соберутся в другом месте,
в другом густке, в других сочетаниях, потому что ничто социально пережитое не
пропадет.

И это качество новой лирики, избавляющее ее от необходимости дрожать за то, что
порвется хрупкая нить ассоциаций, что выпадет петелька из кружева, что в
развитие темы проникнет что-нибудь чужеродное, нарушающее строй, – это качество
выступает у Адалис как доверие к жизни во всей ее перекатной полноте.

Цель поэта не только создать и поставить перед читателями образ, но также
соединить впечатления, кровно принадлежащие читателю, но о связи которых он,
читатель, живой носитель этой связи, еще не догадывается, хотя чувствует ее...

Дорога в Балаклаву на автобусе, столы, накрытые в саду (быть может, на курорте,
а быть может, и в совхозе), стеклянные шары нагретого степного воздуха, радость
волейбола, радость футбола и радость яблока – получают у Адалис эмоциональную
округлость, единство – внутреннюю форму, социальную спайку.

Адалис рассказывает о неумении своих современников бросать начатую работу –
единственном из неумений, которое составляет наше богатство и наше счастье.

Книжка ее одновременно и гордая, и робкая – одна из первых ласточек
социалистической лирики, избавляющей поэта, то есть лирически работающего
конкретного человека, от хищнической эксплуатации собственных чувств, снимающей
с него ревнивую заботу о поддержании своей исключительности.

Стихи заняты, стихи озабочены. Им некогда любоваться собой...

А мастерство?

Послушайте, что говорит Адалис о Багрицком.

Нам голос умершего друга
В глубокую полночь звучал...
По радио передавалась
Былая повадка сполна.
Едва выносимая жалость
Шатала меня, как волна...
Сердитый, смешной и знакомый,
Он громко дышал и хрипел,

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Он громко о жизни зеленой,
О воинской свежести пел...
Это и есть мастерство.

Комментарии

Ранние стихи (1906)

Юношеские стихотворения Осипа Мандельштама отразили его романтическое увлечение русской революцией 1905 – 1906 годов. Воспитанный в атмосфере имперского Петербурга («С миром державным я был лишь ребячески связан...»), он еще школьником разделил и идеалы революционной борьбы, которыми в то время была повально заражена столичная молодежь. «...шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары», – вспоминал он о «мальчишках 905 года». Сблизившись в 1906 году с народнической семьей эсера Б.Н. Синани, Мандельштам в следующем году едет в Финляндию в городок Райвола с намерением войти в боевую организацию с.-р. Однако революционные увлечения поэта быстро проходят. С конца 1907 года он живет и учится за границей.

Камень (1908 – 1915)

Первое издание книги стихов «Камень» вышло в Санкт-Петербурге в 1913 году. Название книги принадлежит Николаю Гумилеву, с которым поэт сближается в эти годы через журнал «Аполлон», где появилась первая подборка его стихов, и возглавляемый Гумилевым «Цех поэтов», куда Мандельштам вступил в декабре 1911 года. Мандельштам первоначально думал назвать книгу «Раковина» по названию одного из стихотворений сборника.

«Сусальным золотом горят...»

О, вещая моя печаль – перефразировка стиха Ф.И. Тютчева «О, вещая душа моя!..».

«Есть целомудренные чары...»

Лары и пенаты – в римской мифологии боги-покровители домашнего очага.

Silentium

В переводе с латинского – «Молчание». Название стихотворения повторяет название стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!», но без восклицательного знака. То, что у Тютчева носило характер философско-поэтической декларации, жесткого императива («Молчи, скрывайся и таи...»), у Мандельштама, скорее, имеет оттенок поэтической мольбы: «Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись...»

«Отчего душа – так певуча...»

Аквилон – в римской мифологии северный или северо-восточный ветер.

Орфей – в греческой мифологии поэт и музыкант, песням которого внимали животные, леса, горы. Чтобы выручить из подземного царства мертвых свою жену Эвридику, Орфей спускался в него. Увести жену было разрешено при условии, что он взглянет на нее только по возвращении на землю, но Орфей нарушил это условие.

«Нет, не луна, а светлый циферблат...»

А он ответил любопытным: «вечность»... – Согласно воспоминаниям современников, лишившийся в конце жизни рассудка поэт К.Н. Батюшков спрашивал: «Который час?» – и отвечал сам себе: «Вечность».

Айя-София

Айя-София – храм Святой Софии в Константинополе, который после завоевания столицы Византии турками был превращен в мечеть.

Юстиниан – византийский император, во время царствования которого был построен храм Святой Софии (532 – 537 годы н. э.).

Эфесская Диана – храм богини Дианы (Артемиды) в г. Эфесе. По повелению Юстиниана колонны из храма Дианы Эфесской были поставлены в храме Святой Софии.

Апсиды и экседры – алтарные выступы в церковной архитектуре.

Паруса – в церковной архитектуре треугольные сферические своды, на которые опирается кольцо купола, похожие на надутый ветром парус. Впервые были применены при строительстве храма Святой Софии.

Notre Dame

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Программное стихотворение Мандельштама периода его увлечения акмеизмом. Попытка сблизить архитектуру и стихосложение. Отчасти отсюда и название книги – «Камень».

Notre Dame – собор Парижской Богоматери.

Где римский судья судил чужой народ. – Речь о временах римского владычества над Галлией (Францией).

Петербургские строфы
Чудак Евгений бедности стыдится – герой стихотворной повести А. С. Пушкина «Медный всадник».

Бах
А ты ликуешь, как Исайя. – «Исайя, ликуй» – слова из церковного песнопения при венчании.

«Мы напряженного молчанья не выносим...»
Кошмарный человек читает «Улялюм» – друг Мандельштама, поэт Владимир Пяст.
«Улялюм» – название стихотворения Эдгара По.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа – имеется в виду новелла Эдгара По «Падение дома Эшеров».

«В таверне воровская шайка...»
Химеры – фантастические чудовища на балюстраде собора Парижской Богоматери.

Кинематограф
Гитана – цыганка.

Американка
«Титаник» – английский пароход, погибший в 1912 году от столкновения с айсбергом в Атлантическом океане.

Крипт – подземные ходы, служившие местом погребения в ранние времена христианства.

Акрополь – возвышенная и укрепленная часть Афин.

Людовик – имя нескольких французских королей.

Домби и сын
Название и строки стихотворения связаны с романами Чарльза Диккенса «Домби и сын» и «Оливер Твист».

«Летают валькирии, поют смычки...»
Валькирии – в скандинавской мифологии девы-воительницы.

Ахматова
Федра – героиня одноименной трагедии французского драматурга Ж. Расина.

Рашель – Элиза Рашель (1821 – 1858), французская трагическая актриса, исполнительница роли Федры.

«Я не слыхал рассказов Оссиана...»
Оссиан – легендарный кельтский поэт III века н. э.

Европа
Меттерних – Клеменс Меттерних (1773 – 1859), глава австрийского правительства, вдохновитель Священного союза – коалиции Австрии, Пруссии и России.

Ода Бетховену
Ритурнель – инструментальный эпизод, исполняющийся в начале и в конце каждой строфы вокального произведения.

«И поныне на Афоне...»
Афон – полуостров в Греции, известный своими монастырями.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Имябожцы – русская религиозная секта, возникшая на Афоне в 1910 году.

«Здесь я стою – я не могу иначе...»

Эпиграф и первая строка – слова церковного реформатора Мартина Лютера.

Витает дух над куполом Петра. – Имеется в виду римский собор Святого Петра, главный храм католицизма.

Аббат

Тонзура – выбритый кружок на макушке у католических священников.

Цицерон – римский оратор (106 – 43 гг. до н. э.).

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»

Список кораблей – перечень кораблей, участвовавших в походе против Трои в «Илиаде» Гомера.

Троя – древний город в Малой Азии.

Ахейские мужи – ахейцы, древнегреческое племя.

«С веселым ржанием пасутся табуны...»

Цезарь – римский император и полководец.

Капитолий – священный холм в Риме.

Форум – площадь в Древнем Риме.

Печаль моя светла – цитата из стихотворения А. С. Пушкина.

Мне осень добрая волчицею была – намек на легендарных основателей Рима Ромула и Рема, вскормленных волчицей.

Месяц цезарей – шестой месяц римского года, названный августом в честь императора Августа.

«Я не увижу знаменитой «Федры»...»

«Федра» – см. комментарий к стихотворению «Ахматова».

«Как эти покрывала мне постылы...» – цитата из трагедии Расина «Федра».

Мельпомена – в греческой мифологии муза трагедии.

Из других редакций «Камня»

«Поговорим о Риме – дивный град...»

Авентин – один из семи холмов, на которых расположен Рим.

Дванадцатые праздники – двенадцать праздников в году, посвященных Христу и Богородице.

Канонические луны – лунный календарь.

«Есть ценностей незыблемая скала...»

Сумароков – А.П. Сумароков (1717 – 1777) – русский поэт и драматург.

Скиния – шатер, походный храм у древних евреев.

«Ни триумфа, ни войны!..»

Недоносок – Виктор-Эммануил III, король Италии (1900 – 1946), отличался малым ростом.

Encyclīca

Encyclīca – в переводе с латинского «папское послание».

«Обиженно уходят на холмы...»

Халдеи – народ, живший на побережье Персидского залива в XI – VII вв. до н. э.

« – Я потеряла нежную камею...»

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Тинатина – грузинское имя, имеется в виду Тинатина Джорджадзе, знакомая Мандельштама.

Tristia (1916 – 1920)

Книга стихов «Tristia» («книга скорбей») вышла в Берлине в 1922 году; под названием «Вторая книга» в ином составе – в 1923 году в Москве – Петрограде. В нее вошли стихи периода времени Первой мировой войны и революции.

« – Как этих покрывал и этого убора...»
Трезена – город в Древней Греции.

Федра, Ипполит, Тезей. – Жена афинского царя Тезея Федра воспылала страстью к своему пасынку Иполлиту и, будучи отвергнутой, погубила его и сама покончила жизнь самоубийством.

«На розвальнях, уложенных соломой...»
Царевича везут – имеется в виду царевич Алексей, сын Петра I, в 1718 году вывезенный отцом из Москвы в Петербург и там казненный.

«В Петрополе прозрачном мы умрем...»
Петрополь – Петербург, Петроград.

Прозерпина – то же, что Персефона, жена Аида, хозяйка царства мертвых.

«Собирались эллины войною...»
Саламин – остров близ берегов Греции.

Соломинка

Стихотворение обращено к Саломее Николаевне Андрониковой, знакомой Мандельштама.

Лигейя – героиня одноименной новеллы Эдгара По.

Ленор – героиня одноименного стихотворения Эдгара По.

Серафита – героиня одноименного романа Оноре де Бальзака.

«Золотистого меда струя из бутылки текла...»
Елена – героиня «Илиады», царица Спарты, похищенная сыном троянского царя Парисом.

Как долго она вышивала. – Имеется в виду жена Одиссея Пенелопа. Чтобы сохранить верность мужу во время его странствий, она обещала женихам выйти замуж, когда закончит холст, но все сделанное днем распускала ночью.

Золотое руно – греческие герои, возглавляемые Язоном, отправились на корабле «Арго» в Колхиду, чтобы овладеть золотым руном волшебного барана, которого охранял дракон.

«Еще далёко асфоделей...»
Асфоделели – лилии.

Меганон – Меганом, мыс на южном берегу Крыма.

«Когда на площадях и в тишине келейной...»
Валгалла – в скандинавской мифологии загробное царство воинов, павших на поле битвы.

Скальд – поэт-певец в древней Скандинавии.

«Когда в теплой ночи замирает...»
Геркуланум – город на берегу Неаполитанского залива, погибший во время извержения Везувия.

Tristia

Виргилии – ночные караулы в Древнем Риме.

Делия – возлюбленная Тибулла.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Эреб – в греческой мифологии подземное царство мертвых.

«На каменных отрогах Пиэрии...»
Пиэрия – область во Фракии, где был культ Диониса.

Ионийский мед – древнегреческая поэзия.

Сафо – древнегреческая поэтесса.

Черепаша-лира – согласно греческой мифологии, первую лиру сделал Гермес из панциря черепахи.

Эпир – берег Македонии.

Терпандр – греческий поэт (VII в. до н. э.).

«Вернись в смесительное лоно...»
Лия – в Библии сестра Рахили и жена Иакова.

Илион – Троя.

«Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...»
Словно голубь залетел в ковчег. – В Библии голубь, выпущенный Ноем из ковчега, вернулся обратно с ветвью в клюве, возвестив об окончании Потопа.

Веспер – звезда Венера.

Сусанна старцев ждать должна. – В Библии девушку Сусанну оклеветали старцы, пытавшиеся ее соблазнить. Приговоренная к смерти, она была спасена пророком Даниилом.

Феодосия
Месмерический утюг – имеется в виду изображение утюгов на вывесках прачечных в дореволюционной России.

«Я слово позабыл, что я хотел сказать...»
Антигона – в греческой мифологии дочь царя Эдипа, за которым она последовала в изгнание.

Аониды – музы.

«Чуть мерцает призрачная сцена...»
Мельпомена – муза трагедии.

Эвридика – жена Орфея.

«Мне Тифлис горбатый снится...»
Сазандари – грузинские народные певцы и музыканты.

Телиани – сорт грузинского вина.

«Возьми на радость из моих ладоней...»
Тайгет – горный хребет в Греции.

«За то, что я руки твои не сумел удержать...»
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня – троянский конь, построенный греками, чтобы овладеть Троей.

Приам – троянский царь.

Стихи 1921 – 1925 годов
Цикл стихов «1921 – 1925» не стал отдельной книгой, но вошел в последний прижизненный сборник «Стихотворения» (1928).

Концерт на вокзале
И ни одна звезда не говорит – ср. стих М.Ю. Лермонтова «И звезда с звездой говорит...».

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный – парк и вокзал в Павловске, где Мандельштам жил в детстве.

Элизиум – в греческой мифологии загробная страна блаженства.

«Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»
Арак – виноградная водка.

«С розовой пеной усталости у мягких губ...»
Европа – здесь: дочь финикийского царя, похищенная Зевсом, принявшим образ быка.

«Я по лесенке приставной...»
Эолийцы – греческое племя, колонизировавшее остров Лесбос и прославившееся своими поэтами.

«Ветер нам утешенье принес...»
Азраил – ангел смерти у мусульман.

Нашедший подкову
Вифлеемский плотник – в Библии Иосиф, муж Марии, матери Христа.

Неера – в греческой мифологии жена Гипериона (Гелиоса).

Сыновья Аймона
Переложение французского эпоса.

Меуза – река во Франции, Бельгии и Голландии.

Арденны – область Франции.

Роланд – герой старофранцузской поэмы.

Грифельная ода
Грифельная ода – последнее стихотворение Г.Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...» было написано на грифельной доске.

Кремнистый путь из старой песни – имеется в виду стихотворение М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

Стрепет – резкий шум.

«Язык булыжника мне голубя понятней...»
фригийская бабушка – символ французской революции 1789 года.

1 января 1924

Аптечная малина – в старой России в витринах аптек выставлялись шары, наполненные разноцветной водой.

Сонатина – упрощенная соната.

Четвертое сословье – пролетариат.

Стихи 1930 – 1934 годов

Стихи 1930 – 1934 гг. («Московские стихи» или «Новые стихи») написаны после пятилетнего молчания поэта во время его путешествия по Армении и в Москве.

Армения

Эчмиадзин – армяно-грегорианский монастырь близ Еревана.

Окарина – итальянский народный инструмент.

«С миром державным я был лишь ребячески связан...»
Годива – по английской легенде, леди Годива избавила народ от тяжелых налогов, согласившись на требование своего мужа выехать из замка на лошади нагая.

Рояль

Не идет гора на Жиронду. – Имеется в виду борьба монтаньяров с жирондистами во время французской революции 1789 г.

Голиаф – в Библии воин-великан.

Мирабо – Оноре Мирабо (1749 – 1791), вождь либеральной французской партии, знаменитый оратор.

Мастер Генрих – Генрих Нейгауз (1888 – 1964), пианист, профессор Московской консерватории.

«Еще далёко мне до патриарха...»
Дзенькуе – в переводе с польского: благодарю.

Асти – итальянские мускатные вина.

«На высоком перевале...»
Чумный председатель – имеется в виду герой трагедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы».

Сорок тысяч мертвых окон. – в 1920 году население армянского города Шуши было истреблено турецкими войсками.

Ламарк
Ламарк – Жан Ламарк (1744 – 1829), французский эволюционист, предшественник Дарвина.

К немецкой речи
Я вспоминаю немца-офицера. – Имеется в виду немецкий поэт Эдвальд Кристиан фон Клейст (1715 – 1759).

Церера – в римской мифологии богиня земледелия и плодородия.

я дружбой был, как выстрелом, разбужен. – Имеется в виду биолог Борис Кузин.

Нахтигаль – в переводе с немецкого: соловей.

Пилад – в греческой мифологии друг Ореста.

Ариост
Ариост – Лодовико Ариосто (1474 – 1533), итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Орланд».

Феррара черствая и на цепи держала. – Имеется в виду итальянский поэт Торквато Тассо, семь лет просидевший на цепи в темнице герцога в Ферраре.

«Голубые глаза и горячая лобная кость...»
Посвящено поэту-символисту Андрею Белому.

Воронежские тетради (1935 – 1937)
Последний цикл стихов Мандельштама, написанный во время трехлетней ссылки в Воронеже, куда он был сослан за стихотворение, направленное лично против Сталина («Мы живем, под собою не чуя страны...»). Всего написано три «тетради».

«Я должен жить, хотя я дважды умер...»
Буонаротти – Микеланджело Буонаротти (1475 – 1564), итальянский скульптор времен Возрождения.

Стансы («Я не хочу среди юношей тепличных...»)
Лорелея – русалка, с образом которой связан ряд произведений немецкой классической поэзии.

Садовник и палач – имеется в виду Гитлер, на досуге увлекавшийся садоводством.

«От сырой простыни говорящая...»
Стихотворение навеяно фильмом «Чапаев» (1934).

«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»
Написано под впечатлением смерти О.А. Ваксель, покончившей с собой в Осло в 1932 году.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru

И прадеда скрипкой гордился твой род. – Имеется в виду композитор и скрипач А.Ф. Львов (1798 – 1870).

Миньона – героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

«На мертвых ресницах Исаакий замерз...»
Исаакий – Исаакиевский собор в Петербурге.

Шарманщика смерть. – Имеется в виду песня Шуберта «Шарманщик».

Выжлятник – старший псарь в псовой охоте.

Движенье, движенье, движенье. – Имеется в виду песня Шуберта «В путь».

«Пластинкой тоненькой жиллета...»
Честь Рюисдалевых картин – имеются в виду картины голландского художника Я. Рейсдаля (1628 – 1682).

«Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...»
Ягненок гневный – имеется в виду младенец Христос («агнец») на картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна».

«Еще он помнит башмаков износ...»
Давид-гора – гора Мтацминда в Тбилиси, на которой находится монастырь Святого Давида.

«Я в львиный ров и в крепость погружён...»
Стихотворение посвящено американской певице Марион Андерсон.

«Я молю, как жалости и милости...»
На шарнирах он куражится с цветочницею. – Имеется в виду фильм Чарли Чаплина «Огни большого города» (1931).

В двухбашенной испарине. – Имеются в виду двухбашенные готические соборы Франции.

«Заблудился я в небе – что делать?..»
Дантовых девять / Атлетических дисков. – В поэме Данте «Божественная комедия» ад разделен на девять кругов.

Рим
Мост Ангела – находится в Риме.

Ночь, Давид и Моисей – статуи Микеланджело.

Диктатор-выродок – Муссолини.

«Как по улицам Киева-Вия...»
Вий – фантастический образ из одноименной повести Н.В. Гоголя.

Купеческий – Купеческий сад в Киеве.

Господские Липки – богатый район в дореволюционном Киеве.

Проза
Шум времени

Написано в 1923 году, опубликовано в 1925 году. В очерке отразились воспоминания Мандельштама о детстве и отрочестве в Павловске, Петербурге и Финляндии.

Феодосия
Написано в 1923 – 1924 гг. Феодосия стала последним пристанищем Добровольческой армии в России в конце Гражданской войны 1917 – 1921 гг.

Египетская марка
Написано в 1927 году, опубликовано в 1928 году. Написанная ассоциативным стилем повесть «Египетская марка» – о судьбе маленького человека между двух эпох.

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Четвертая проза
Написано в 1930 году. «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком», – так написала Марина Цветаева о прозе, которая написана поэтами.

Путешествие в Армению
Написано в 1931 – 1932 гг. Армения сыграла очень важную роль в поэтической судьбе Мандельштама. Именно здесь в 1930 году после пятилетнего молчания он вновь начинает писать стихи.

Примечания

1
Долина, что жалобами моими полна... Петрарка (итал.). – Ред.

2
Тот соловей, что так нежно оплакивает... Петрарка (итал.). – Ред.

3
Когда небо, и земля, и ветер умолкают... Петрарка (итал.). – Ред.

4
Дни мои легче любого оленя... Петрарка (итал.). – Ред.

5
«Опечатано» (фр.)

6
Лавка колониальных товаров (фин.).

7
Елочка, елочка! (нем.)

8
Зал для игры в мяч (фр.) Здесь: актовый зал.

9
Скажи мне, отец (нем.).

10
К оружию! (фр.)

11
Теплицы (фр.) – намек на сборник стихов М. Метерлинка «Теплицы» (1889).

12
«Неужели вы бросите здесь бедного вийона?» (фр.) – из стихотворения Ф. Вийона «Послание к друзьям».

13
Бздех (фр.) – простонародное выражение.

14
Букв.: «Пуканье дьяволу» (фр.).

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru

15

«Раковина» (фр.) – название известной шайки разбойников. Ряд стихотворений Ф. Вийона написан на воровском жаргоне.

16

Коллеж де Наварр (фр.) – название учебного заведения.

17

«Малое завещание» (фр.).

18

«Большое завещание» (фр.) – основное произведение Ф. Вийона (впервые издано в 1489 г.).

19

«Баллада о толстой Марго» (фр.)

20

«Движение – прежде всего» (фр.) (У П. Верлена в «Art poétique»: «Музыка – прежде всего!»)

21

Букв: «Приют Божества» (фр.) – определение Богородицы («Большое завещание», LXXXV).

22

«От реального к реальнейшему» – лозунг, выдвинутый Вяч. Ивановым в его книге «По звездам. Опыт философии, эстетической и критической». СПб., 1909, с. 305.

23

Отец Мартин (фр.)

24

Частное лицо (фр.)

25

Истина, Свобода, Природа, Божество (фр.).

26

Добродетель (фр.).

27

«Римская доблесть» (фр.) – выражение, обозначающее доблесть, мужество, силу духа, достойные древнего римлянина.

28

«Игра в мяч» (фр.) – стихотв. Шенье, посвященное художнику Луи Давиду, автору картины «Клятва в Зале для игры в мяч». (В этом зале 20 июня 1789 г. депутаты третьего сословия поклялись не расходиться до тех пор, пока не получат конституции для Франции.)

29

Отцы народа, созидатели законов!
Вы, кому дано основать рукой твердой и уверенной

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
Величественный кодекс поведения для человека...
(Здесь и далее подстрочный перевод с французского)

30

Словно беременная Латона, уже почти ставшая матерью,
жертва ревнивой власти,
Плавала, скиталась она, не находя пристанища,
по всему свету...

31

Узда (фр.).

32

...Угнетатель никогда не бывает свободным...

33

Буколики, идиллии (фр.).

34

«К Камилле» (фр.)

35

...И далее в очаровательном тоне письмо задает мне

вопрос:

Чего я хочу от тебя, чего я от тебя требую!
Чего я хочу? – говоришь ты. Я хочу, чтобы твое
возвращение
Показалось тебе слишком долгим; я хочу, чтобы ночью
и днем
Ты любила меня. (Ночью и днем, увы, я терзаюсь.)
Находясь среди людей, будь среди них одинокой;
Спи с мыслью обо мне; мечтай увидеть меня рядом
с собой;
Не знай никого, кроме меня, и будь вся со мной.

36

Едва представлю этой ночи скорбный образ,
которая в Граде была последней моей ночью,
Едва вспомню, как я расставался со всем что любил, –
Слезы бегут из очей у меня даже теперь.
(лат.; П у б л и й О в и д и й Н а з о н. Скорбные элегии, кн. I, элегия 3,
стихи 1 – 4).

37

Букв.: «Полетим мы к славным городам Азии» (лат.; К а т у л л, стихотв. XLVI,
стих 6).

38

«Падаль» (фр.) «Падаль» – название стихотворения Ш. Бодлера.

39

Мученик (фр.) «Мученик» – название стихотворения Ш. Бодлера.

40

Букв.: «Возьми красноречие и сверни ему шею!» (фр.) – строка из стихотв. П.
Верлена «Art poétique».

41

«Послушайте эту простую песенку...» (фр.) – контаминация строк двух стихотворений
Страница 277

Стихотворения. Проза. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
П. Верлена – «Ecoutez la chanson bien douce» (букв.: «Послушайте нежную песенку...») и «Art poétique» («Rien de plus cher que la chanson grise» – «Нет ничего дороже простой песенки...»).

42

«Новая жизнь» (ит.) – название автобиографической прозы Данте.

43

Третье сословье (фр.) – буржуазия.

44

«Сто новых новелл» (фр.) – памятник французской повествовательной прозы (ок. 1455).

45

«Красное и черное» (фр.).

46

Дом, жилище (англ.).

47

Уют (нем.).

48

Так я закричал, запрокинувши голову... (ит.). (Здесь и далее перевод с итальянского.)

49

Стремление, вождение.

50

Баюкая ребенка песней, которая тешит в первую очередь отцов и матерей... рассказывала в своей семье о троянцах, о Фьезоле и о Риме.

51

Соответствие, созвучие.

52

«Ад».

53

«Чистилище».

54

Аверроэс, великий толкователь...

55

«...Оборотись: что делаешь?» – обращение Вергилия к Данте, испугавшемуся встающей из горячей гробницы тени Фаринаты.

56

Форма прошедшего времени от вспомогательного глагола «иметь».

57

«И если, – продолжая то, что уже сказано, сказал он, – если этим искусством они плохо овладели, то для меня это ужасней, чем лежать на этом ложе». (Искусством возвращения в родной город после неудачи и изгнания. – Гибеллин Фарината говорит о судьбе своей партии.)

58

«Божественная комедия».

59

Сладчайший отец.

60

«Как если бы уничижал ад великим презрением». (Перевод О. Мандельштама.)

61

Глаза их, бывшие влажными внутри, сочились на губы...

62

Я был уже там, где слышался гул воды, падавшей в другой круг, гул, подобный гудению пчел.

63

Две его лапы заросли шерстью до плеч; спина, и грудь, и оба бока были разукрашены узлами и пятнами. Больше цветов в основу и уток никогда не пускали ни татары, ни турки, и Арахна такой ткани не натягивала на свой станок.

64

Полагал Чимабуе, что в живописи (он – победитель)...

65

Так я закричал, запрокинув голову.

66

«Мы видим, как подслеповатые».

67

И если бы уже пришло, то было б впору; раз должно прийти, пусть бы уже пришло! поскольку чем я старше становлюсь, тем тяжелее мне будет. (О наказании, которое должно постичь Флоренцию.)

68

«Рая».

69

С какой (доверчивостью) малыш бежит к матери.

70

От оболочки к оболочке.

71

«История дирижирования» (нем.).

72

Карс А. История оркестровки. Музгиз, 1932. (Примеч. О. Мандельштама.)

73

Узкая щель в темной клетке (для линьки ловчих птиц).

74

«Лесной царь» (нем.) – баллада Гете.

75

Не укрывался на своем ложе таким толстым покровом зимой ни Дунай в Австрии, ни Танаис (Дон) там, под холодным небом, каков был тут; пусть бы даже (гора) Тамберник или Пьетрапана рухнула на него – не выщербился бы и край.

76

«О вы, двое в одном огне, если я прославил вас, пока жил, если я прославил вас хоть немножко (– остановитесь!)».

77

Все говорили: «Благословен ты, грядущий, – разбрасывая цветы. – Несите лилий полные горсти!»

78

Поверх белоснежного покрова повитая масличными ветвями, явилась мне Донна, в огненноцветном платье под зеленой мантией.

79

И подобно тому, как птицы, поднявшись с берега, словно бы радуясь своим лугам, выстраиваются то в круг, то в другую фигуру, так (живущие) в светочах святые создания пели в полете и слагали в своих перестроениях то D, то I, то L

80

Толпа, стая.

81

«Пусть фьезольские скоты пожрут себя, как подстилку, но не тронут ростка, если что-то еще может вырасти в их навозе».

82

«Он вывел тень прародителя, его сына Авеля и тень Ноя, послушливого законодателя Моисея; патриарха Авраама и царя Давида, Израиля с отцом, и с его отпрысками, и с Рахилью, ради которой он столько всего совершил».

83 «Черный и белый» (англ.) – скетч П. П. Потемкина и К. Э. Гибшмана.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://mandelshamjoseph.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Башки buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!